НЁМАН

1/2017
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 12.01.2017. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,37. Тираж 1577. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



Олег ЖДАН-ПУШКИН

Приключения человека, похожего на еврея[*]

Повесть

Я не знал об этом, пока не женился. Точнее, пока Катя однажды не поинтересовалась: а почему ты не обрезан? Что? Не обрезан? Я? Ты что? С какой стати?

Она молчала. Пошутила? Но особенной склонности к юмору за ней не наблюдалось. Я даже приподнялся, чтобы взглянуть на нее. Но ничего не отражалось на лице. Я рассмеялся.

— Ну ты и придумала.

Светало. Ночь была с субботы на воскресенье, торопиться незачем, и мы провалялись, то обнимаясь, то опять засыпая, почти до полудня, пока невыносимый голод не поднял с постели. Катя начала делать блинчики, я помчался в магазин за сметаной, а когда вернулся, первый блинчик, сдобренный маслом, накрытый полотенцем лежал, на столе.

— Твой, — сказала она и улыбнулась.

Смысл ее улыбки мне был понятен. Блинчики наше дежурное блюдо по субботам и воскресеньям, и она всегда говорила: «Твой». — «Почему?» — уже догадываясь, однажды спросил я. «У тебя больший расход энергии», — сказала она и покраснела. Да, в те благословенные времена она краснела. Ну а я, действительно, энергии не жалел. Теперь не то, не то… Но первый блинчик все равно мой.

Ну а тогда я мазнул его сметаной и, разорвав на две части, подал ей.

— А у тебя... у тебя… — ничего не придумывалось, я мычал, тянул время, а она даже перестала жевать, ждала. — Нежность и есть энергия, — наконец пробормотал я. — Особый вид. Может быть, самый продуктивный. Точнее, ее истечение. Еще неизвестно, когда и от чего расход больший. — Не знаю, понравилось ей или не понравилось, но кивнула и плеснула на сковородку тесто.

В те времена мы были весьма охочие к таким разговорам, намекам и шуткам.

Больше о моей необрезанности она не вспоминала, я тоже, как говорится, не возбуждал эту тему, но и не забывал.

Неплохое было времечко, что ни говори. Оно и сейчас неплохое, но… Теперь оно совсем другое.

У нас была однокомнатная квартирка на шестом этаже с видом на озеро и яблоневый сад, и мы могли обниматься и целоваться, не зашторивая окно. Могли делать все, что подскажет и потребует нежность. Но вот интересно: делали все что хотели, но если говорили об этом, Катя краснела.

Недели через две, и тоже, разумеется, на рассвете, я не выдержал:

---

[*] По идее писателя И. А. Шахрая.

— Так что ты тогда говорила о моей… о моем…

Интересно, что она сразу поняла, о чем я. Нет, интересное было время!

— Ну как же, ты ведь еврей? — спросила, утверждая.

— Я? С чего ты взяла? Разве я похож на еврея?

— Конечно.

— Чем?

— Ну… кудрявый… опять же, нос с горбинкой…

— Славяне не бывают кудрявыми? Кстати, нос у меня римский.

— Нет, — сказала она.

Тоже характерно для нее. Нет — и все. Можешь долго говорить о чем-либо, убеждать, доказывать, она будет внимательно слушать, кивать, а в результате — нет и все. До свидания, до новой встречи. Так что тема была как бы закрыта. Да и какая мне разница? Еврей, белорус, русский… Да хоть крымский татарин. Нежность, и только она, которую мы испытывали друг к другу, вот что имело значение.

Разговор этот забылся или подзабылся, как вдруг Катя спросила: «У тебя мама или отец еврей?» От такого вопроса я, как говорится, впал в ступор. Три минуты ничего не мог ответить. «Ты это серьезно?» — спросил и посмотрел в ее лицо: шутит или… Или что? Может, в нашей жизни возникла проблема, а я ее не заметил, не почувствовал? Может быть, я как-то обидел, задел самолюбие и теперь она ищет способ отплатить мне? Известно ведь, национальность — бесспорная ценность, и отказать или усомниться в твоей принадлежности к определенному роду-племени — обидеть или даже оскорбить человека. Я пытался заглянуть ей в глаза, но разговор происходил на кухне, она смотрела на разделочную доску, а не на меня, и понять что-либо было нельзя.

— Ладно, — сказал я мирно, словно признавая поражение. — Но какая тебе разница?

— Да нет… Никакой разницы.

— Тогда почему спрашиваешь?.

— Так… Просто интересно. Все же евреи, они…

— Ну?

Она пожала плечами.

— Друзья у тебя евреи.

— А русских и белорусов среди моих друзей нет?

Она не отозвалась.

Между прочим, в Тбилиси ко мне обращаются на грузинском, в Ташкенте на узбекском, в Душанбе на фарси, — в общем, этакая евро-азиатская внешность.

Короче, она своего добилась: я начал сомневаться. Больше того, я начал чувствовать в себе еврейство. Что это такое, не представляю, — возможно, то, что и вовсе не существует, есть только слово, термин без определенного содержания. Однако здесь проходила черта оседлости, и в нашем роду вполне могла быть растворена еврейская кровь.

Милая моя мама тогда была еще жива, и я решился:

— Мама, в нашем роду не было евреев?

Она очень удивилась.

— Нет, не было. Только белорусы и русские. А что такое?

— Кое-кто считает меня евреем.

— Тебя? Странно… Что ж, это неплохо. Евреи умные. И своих не бросают в беде.

— А русские бросают?

— Да уж всякое было.

Размышляя обо всем этом, я вспомнил квартирную хозяйку моего друга Рудика, тетю Меру. Она без причины мне симпатизировала, а как-то пригласила в свою комнатку и показала семейный альбом, в котором хранились снимки нескольких поколений, были там и раввины, и учителя медресе, и военные, а главное — фотографии двух внучек тети Меры, Марты и Нели.

— Ого, — сказал я. — Хорошенькие!

Взглянул на тетю Меру и увидел, что она уже просто с любовью смотрит на меня. Как же, будущий зятек! Впрочем, я ошибался.

— Приходи в воскресенье, — сказала она, — я вас познакомлю. Девочки — чудо!

И я пришел — было любопытно. Что ж, и в самом деле, девочки оказались — красотки. Особенно понравилась мне Марточка, чем-то похожая на Ахматову на известном портрете Натана Альтмана, такая же горбоносенькая, тонкая. Да и Неля — в порядке. Думаю, и они отнеслись ко мне благосклонно, по крайней мере, как только я предложил пойти прогуляться, согласились тотчас. Стояла осень, бабье лето, мы ходили по набережной Свислочи, кормили уток, собирали облетевшие листья, я острил как никогда раньше, девочки охотно смеялись, а я время от времени гадал: какая из них мне больше нравится? Может, все же пышка Неля?

Однако выяснить это мне не довелось. На другой день, когда я опять заглянул к Рудику, тетя Мера спросила: «Ну, как мои девочки?» — «Красавицы», — ответил я. Она с сожалением поцокала языком. «Жалко, что ты не еврей, — сказала. — Жениться надо на своих. В семейной жизни вообще хватает проблем, а тут еще эта…» Больше она меня не приглашала: похвалилась и хватит.

Есть у меня довольно близкий приятель еврей. С ним я и решил поделиться.

— Знаешь, — сказал, — меня, оказывается, принимают за еврея.

Он быстро взглянул на меня и рассмеялся.

— Не нахожу, — сказал. — Хотя… Я был в Израиле, там евреи и черные, и белые… Какие хочешь. Есть вполне славянские лица… Ну и как тебе быть евреем?

— Ну… С одной стороны, зачем мне это? С другой, даже интересно. Они считают меня умнее, чем я есть.

— Понятно. Но это сказка, что евреи умнее. Есть, конечно, отличительные национальные черты: активность, может быть, тревожность… Многие считают — хитрость. Но это неправда. Есть, конечно, евреи хитрые, но есть и простодушные. Вспомни Исава, Иакова и чечевичную похлебку… Конечно, отличие от других наций есть. Не знаю… Но не ум. Интеллект у всех наций одинаков. Да и вообще судить о нациях в целом невозможно, разве только хочешь сказать комплимент или оскорбить… А хочешь, свожу тебя в синагогу?

— Зачем?

— Ну… Ты же пишешь рассказы. Может, пригодится.

И в ближайшую субботу отправились.

У моего друга здесь оказалось немало приятелей: радовались встрече, разговаривали, и он знакомил меня. Причем, представляя, говорил: писатель, и все с любопытством поглядывали на нас. До сей поры меня так не пред-

ставляли, и мне это нравилось. Говорили о событиях в Израиле — последнем теракте в Нетании, а я помалкивал. Друзей или хотя бы знакомых на тот момент у меня там не было, что я мог сказать? День оказался учебный, молодежь учила иврит, и мы скоро ушли.

— Как понравилось? — спросил он по дороге. — Иврит не заинтересовал? Можешь записаться, они только начинают курс.

— Зачем мне иврит?

— Ну как же… Кто знает? Если захочешь в Израиль…

— Что мне там делать?

— Пройдешь гиюр, найдем тебе красивую евреечку, если жена откажется ехать… Легализуем.

— Что такое гиюр?

— Превращение нееврея в еврея. Но дело это серьезное. К примеру, нарушишь шаббат — субботу, седьмой день Творения, — будешь бит камнями.

— Ты это серьезно?

Я, конечно, не поверил, но… гм…. Мы тогда очень мало знали о жизни в Израиле. Камнями, разумеется, не побьют, но… В общем, интересно получится.

— А ты думал! Когда это я шутил?

Тут дело в том, что он шутил всегда. По крайней мере, глаза всегда смеялись.

Я уже знал, что он собирался на ПМЖ в Израиль. И очень скоро мне довелось провожать его. Думаю, стало не до шуток.

О, это было что-то. Происходило сие в те годы, когда отъезд за границу еще считался поступком антиобщественным, даже антигосударственным, когда репатриантов осуждали на общих собраниях и увольняли с работы, как только узнавали о намерении, — но не о том речь. Перед отъездом все они распродавали нажитое, но многое и везли с собой, сдавали в багаж, и багажи, конечно, были огромные. И как же рвали у них деньги наши люди, от которых зависели отъезжающие! От грузчиков до чиновников. Бесцеремонно, нагло. К примеру, приемщики багажа то исчезали без причины, то объявляли перерыв, то вообще угрожали концом рабочего дня… Как унижали!.. Однако никто ничего не требовал, не возмущался, словно жили уже в чужой стране и не имели никаких гражданских прав. Собственно, так и было: уже в чужой, уже без прав. Терпение — вот что запечатлелось в их лицах. Терпение, терпение и терпение. То же и на лице моего друга. Никакого юмора, только терпение. Как хорошо, что я не еврей, — подумалось мне тогда, — и мне не надо в Израиль на ПМЖ.

Мой друг был заядлый книжник, все шкафы и антресоли были забиты хорошими изданиями, но с собой все это безнадежное богатство не повезешь, и перед отъездом я помогал ему сдавать книги в букинистический. Постоять пришлось долго: очередь. Уже тогда я заметил это выражение на лицах: терпение. А что делать? Не надо было приобретать правдами и неправдами собрания сочинений, энциклопедии, справочники, альбомы… Что вы, все это прочитали? Смешно. Теперь вот расхлебываете. Хотя, конечно, и русские с белорусами хороши, тоже занимали с вечера очереди. Как же, Пастернак, Солженицын, Булгаков. Или хотя бы Трифонов… В очереди мы заметили двух знакомых писателей, один молодой, другой старый, кажется, родственники. Старый писал стихи на идиш («Смотрю я в зеркало порой: что птица Хайм, ты все еще живой?»), молодой «городскую» прозу на русском — оба

довольно известные. Молодой — я не раз читал его рассказы, и они нравились мне — собирался уезжать, старый сопровождал его. «Хорошие писатели уезжают — жалко», — произнес я дружеский комплимент. «Бог с ними, с писателями, — отозвался старый. — Читатели уезжают — вот беда. Кто будет покупать наши книжки?» Наши — значит также и мои, то есть он знал о моих рассказах и сейчас дал знать об этом. Я был, конечно, польщен, хотя книжек у меня пока не имелось. Этот писатель, видно, на ПМЖ не собирался. И то верно: по слухам, писатели, музыканты и художники в Израиле были не нужны, тем более старые, с избытком хватало молодых и местных.

Вскоре начался распад Советского Союза. Газета, в которой я работал, прекратила существование одной из первых. Коллектив у нас был небольшой, человек пятнадцать-двадцать, всем выплатили зарплату за три месяца, и мы почти весело, по крайней мере, беззаботно простились. Были уверены, что работу найдем. Однако на ладан дышали многие газеты и журналы, и устроиться даже в самую захудалую не удавалось. А деньги кончились очень скоро: начиналась гиперинфляция. Некоторое время я зарабатывал извозом, мотаясь по городу на своих «Жигулях», безотказно ездил в любой конец города, но однажды некая пьяноватая компания попросила отвезти к черту на кулички — в Шабаны, и я отказался.

— Мы тебе хорошо заплатим, жидок, — вполне доброжелательно произнес один из них.

Я удивился, рассмеялся и от удивления согласился ехать. Они оказались словоохотливыми и тему продолжили. Даже заспорили между собой: можно говорить «жид» или нельзя. Причем эрудированные утверждали — можно, дескать, в какие-то времена только так и называли евреев, а деликатные — нет, нельзя, это обидно, и мало ли как кого называли когда-то.

— Тебе, друг, обидно? — взывали ко мне.

— Да нет, я… Хотя… — я оказался в легком затруднении. Заявить, что я не еврей, — но какая мне разница? Согласиться — вроде как самозванство. Но было интересно.

— Обидно, — сказал я. — Если бы не было слова «еврей», это одно… А если есть…

— Ну, что я говорил? — возликовал деликатный. — Человек поедет в Израиль и скажет там! Друг, поедешь?

— Поеду, — я вошел в роль. Значит, такой у меня фенотип. — Там хорошо.

— И я бы поехал, — заявил эрудированный. — У них порядок, не то что у нас. Опять же, американцы помогают.

— Американцы! Да что американцы! На американцах где сядешь, там и слезешь!

Начиналась новая тема, даже кричать стали друг на друга, понятно: политика — дело принципиальное.

Наконец добрались до Шабанов, стали прощаться. Сидевший сзади эрудит перевалился через спинку сиденья и стал целовать меня в ухо. Расстались друзьями. Хорошие рабочие парни. И заплатили неплохо.

Вернувшись домой, я рассказал об этом Кате. Она выслушала с интересом.

— Ну вот, — сказала. — А я что говорила?

Между прочим, произошел еще один интересный случай, когда из Шабанов возвращался домой. Проголосовал парень в районе автозавода. Сел, приказал ехать в Юго-Запад. «Нет, не могу, — возразил я. — Мне в другую

сторону». — «Не можешь? Ты, жидок, делай, как говорят. А то — вот», — и показал мне нож. «Нож? Это другое дело, — согласился я. — Тогда поедем. А выпить будет?» — «Найдем». — «Тогда годится. Какая улица? — Он назвал. — Вот только хорошо бы девок взять», — сказал я. «Возьмем», — уверенно заявил он. Тут показалась остановка автобуса и на ней несколько девчат. «Вот хорошие девки, — сказал я. — Иди поговори с ними». А как только вышел, ударил, как говорится, по газам… И долго смеялся, представляя его возмущение и разочарование. Рассказал об этом случае Кате, дескать, вот я какой находчивый, но Катя нахмурилась: она протестовала против моих поездок. Но ведь как-то я должен зарабатывать?

Вообще, скажу вам, пренеприятное это чувство и состояние — безденежье. Меняется все: поведение в семье, отношение к друзьям, если у них все более-менее благополучно, к прошлому и будущему, даже к самому себе. Не говоря уже о таких деталях семейной жизни, как периодическое желание близости с родной женой. Чувство такое, будто вот этого-то удовольствия ты и не заслужил. Да и роль в семейной жизни меняется. Еще вчера ты был успешным человеком, творческой личностью, работал в газете, на досуге пописывал рассказики, а сегодня чистишь картошку и испытываешь нечто вроде удовлетворения: пригодился. Хорошо бы сделать еще что-то, более важное, например, косметический ремонт квартиры, поскольку есть время, но… Хорошо бы сделать подарок жене, например, купить билеты в Оперу, но… Хорошо бы, хорошо бы, хорошо… Оказалось, вся жизнь упирается в деньги. Нет, не презренный, а ненавистный металл. И горячо любимый. Говорят, что жара, сытость и сексуальное насыщение препятствуют творчеству. Да уж! А как насчет холода и голода? Или хотя бы недоедания? И вообще: нельзя ли творческие порывы отложить до лучших времен?

Очень скоро убедился я и в том, что деньги меняют отношения с друзьями. Сломалась моя машина, на ремонт требовались немалые — для меня — деньги. И я решил попросить в долг. У меня три друга разной степени близости. Начать я решил с менее близкого, Николая. Тут и встретил его у продовольственного магазина. «Не одолжишь ли мне на месяц полторы сотни долларов?» — спросил легко и небрежно, словно — закурить. И точно так он ответил: «Да что ты! Какие доллары? Вчера жена порвала колготки — купить не на что». И ушел, не взглянув на меня. Слава богу, что не взглянул, потому что вид у меня был жалкий. Вторым в приятельской пирамиде был Александр. Рассчитывать на случайную встречу не приходилось, поскольку жил он в другом районе, и я позвонил. До сих пор мы разговаривали редко, от случая к случаю, и он сразу насторожился. Поговорили об общих знакомых, о ситуации в стране, и я все время искал момент, когда удобно попросить денег. Но, похоже, он уже догадался, чего я хочу от него, и от такой темы уходил. Так я и не решился, поняв, что все равно не даст.

Но деньги были нужны позарез. Машину я в ремонт все же сдал, пора было забирать, но идти в СТО не с чем. Между тем мастер звонил уже два раза. Может быть, попросить у жены? Вдруг у нее что-нибудь припрятано на черный день. А если нет, ей проще попросить под будущую зарплату. Однако, как вам нравится мужчина, который просит денег у жены? Конечно, не на пиво или сигареты, но… «Нет, — покачала головой Катя. — Кто же мне теперь даст сто пятьдесят долларов? Это две, а то и три наших зарплаты...» В банке мне, безработному, кредит тоже не получить.

Можно было бы попросить у мамы, но дело в том, что я не признался ей, что стал безработным, хотя позже стало ясно, что она давно знает, сказала

или как бы проговорилась Катя. Недаром же подкидывала время от времени сотню-другую. В конце концов, решил просить у самого близкого моего друга, у Вани. Не звонить, а идти к нему домой, не предупредив о приходе.

Конечно, он удивился. Были на то особые причины. Жена его, Стеша, удивилась еще больше и сразу заподозрила что-то неладное. Тем не менее, пригласила меня, как близкого человека, в кухню, заварила чай, поставила на стол хорошие конфеты, печенье, а Ваня достал бутылку водки. Выпьем? Отчего же. И выпили по рюмке, другой, а там и третьей.

Далеко не все наши сокурсники после окончания университета стали работать по специальности. Как бы не наоборот. Ваня, например, почти сразу устроился в некое рекламное агентство, неплохо зарабатывал сравнительно с другими однокашниками и пока был удовлетворен.

«Чем ты там занимаешься?» — спросил я как-то. Ваня махнул рукой: «Глупостями». — «Но все же». — «Придумываю слоганы». — «Ну, например». Он рассмеялся и, кажется, смутился. «Не скажу». — «Почему?» Он помолчал. «На бигборды обращаешь внимание? Ну вот… Самый дурацкий — мой».

Стеша, увидев, что мы начали пьянствовать, успокоилась и ушла к телевизору. И тогда Ваня сразу спросил: «У тебя дело?» — «Да. Мне надо сто пятьдесят долларов. Примерно на месяц. Газета наша приказала долго жить, и я теперь безработный». И далее — про автомобиль, про СТО. Просьба моя прозвучала требовательно, почти агрессивно. Он тотчас нахмурился, заглянул в зальчик, где смотрела телевизор Стеша, и сказал мне: «Идем». Мы вошли в его маленький кабинетик, Ваня поставил стремянку к книжному шкафу, достал какую-то книгу с верхней полки, кажется, что-то из классики, а в ней сто долларов. Переставил стремянку, снова поднялся и у другого классика занял еще пятьдесят. Приложил палец к губам. Мы оба поулыбались: понятные мужские секреты. «Спасибо, — сказал я, прощаясь. — Дело в том, что…» — «Да ладно», — он улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Дескать, объяснение — это извинение, а ему это ни к чему.

Я уже говорил, почему к Ване обратился в последнюю очередь. Но если откровенно, наши отношения совсем не просты, больше того, они зашли в тупик. Они были просты до определенного времени, если точно — расстрела в Москве Белого дома.

Мы редко говорили о политике — только вскользь касались тех или иных вопросов, не углубляясь, и потому не знали толком уровня разногласий. Или так: чувствуя глубину разногласий, уходили от них, чтобы сохранить дружбу.

Ваня родился в деревне. Его дед-бабка сполна хлебнули колхозного счастья, матери и отцу тоже досталось. Ваня до сих пор помнил их обиды и слезы, и слово *власть* для него было определенно ругательным, символом несправедливости, но то — местная, колхозная и районная власть, а вот *власть советская* — это надежда и правда. Отсюда и уважение к большевизму и партии. Он был активным комсомольцем, постоянным членом каких-то комитетов и бюро, намеревался вступить в партию, но — не успел: в Москве коммунисты начали принародно жечь партийные билеты.

Мою мать, теток и дядьев, деда с бабкой советская власть тоже не обошла стороной, впаяла и влила полной мерой, но тут для меня утешение было простым: наконец-то и она получила по заслугам.

В общем, этих тем мы старались избегать, Ваня терпеливо молчал, если я начинал осторожно посмеиваться над его идеей, я — когда он иронизировал над понятием демократии. Когда коммунисты на митингах стали рвать и жечь

партбилеты, мы вполне сошлись в мнении: стыдно. И тем, кто выступает с речами, и тем, кто смотрит на все это и слушает. Со временем стало казаться, что разногласия наши поверхностны, что точек соприкосновения у нас больше, нежели разногласий, и видно, потому он пришел ко мне, когда танки Ельцина стали бить по Белому дому.

— Как тебе это нравится? — с порога злобно заговорил он. — Как это возможно? Где это видано? Что это, черт вас всех возьми?

Да, теперь всем — тоже и мне — ясно: преступление. Не все было ясно тогда. А как иначе *их* оттуда выкурить и вытурить? Они могут поднять полстраны!

Имелся и личностный фактор: Ельцин. Опять же, теперь — ясно, а тогда… Слегка стесняясь, многие — я в том числе — с симпатией глядели на него: смелый, рисковый, уверенный. Кроме того, извечное обаяние физической силы и власти…

— Что ты молчишь? По-твоему, все хорошо? Так и должно?

Все это он произнес в прихожей, даже не сняв ботинки. Таким требовательным голосом никогда прежде не говорил со мной. Я почувствовал сильнейший укол агрессии и, чтобы не подчиниться порыву, сказал спокойно:

— Пошли на кухню, чаю попьем.

Если бы я в ответ ему заорал, выругался — все было бы нормально, получился бы хороший, более-менее принципиальный спор о том, кто виноват и что делать, но мой спокойный голос резко изменил его состояние. Он опустил голову и, будто из него выпустили воздух, обмяк:

— Да нет… какой чай… Я пойду…

И до сегодняшнего дня мы не встречались.

Стыд и с ним ручеек пота по спине я почувствовал уже на улице. Но и облегчение, радость. Вполне представлял его разговор со Стешей. «Чего он приходил?» — «Да выпить захотелось, а не за что». Вполне удовлетворительный ответ.

Машину я забрал, вертелся по городу по пять-шесть часов, но отдать долг не получалось. Я уже собрал большую половину суммы, как вдруг Катя захотела купить платье, — почти все и улетело. Наряды она покупает довольно дорогие, но редко, так что причины возражать у меня не было.

С Ваней мы живем недалеко друг от друга, ходим в один магазин — в общем, я стал ходить в другой, дальний.

— А знаешь, я не хотела бы жить в Израиле, — вдруг как-то особенно задумчиво произнесла Катя.

Есть у нее такая особенность: вдруг заговорит о том, о чем и речи не было. То есть что-то происходит в ее маленькой красивой головке, рассматриваются какие-то жизненные варианты, вполне фантастические, или выносятся решения по поводу людей и событий. Она не хотела бы жить в Израиле!

— Тебя туда пригласили?

— Нет, я к примеру. Летом там слишком жарко, зимой дома не отапливаются… Нет, не хочу.

— А в Арабских Эмиратах? В Таиланде? Бразилии? Где еще ты не хотела бы? Надо заранее сообщить, чтобы не надеялись.

— Все-таки нет ничего лучше родины.

О! Патриотическая тема нам по душе.

— Конечно, съездить туда было бы интересно.

— Съездим. Обязательно съездим, — согласился я, будучи рад, что не на ПМЖ, то есть не надо разводиться. Все ж таки я люблю ее. А тысячу — или во сколько может обойтись такая поездка? — как-нибудь насобираем. Хотя…

Тысяча! Даже сто пятьдесят долга не могу отдать. Больше пятидесяти не получается собрать. Тут еще дело в гиперинфляции. То, что вчера было сто, сегодня пятьдесят, а завтра десять. Даже самые малые деньги люди несут в обменники, бабули занимают очередь едва не с ночи, чтобы утром продать — тоже за гроши и копейки. Тысяча!

Вдруг принесли извещение, что на мое имя через Western Union пришел перевод — сто долларов — из Израиля. Сто долларов? Сто долларов! О Боже, что за чудо! Это, конечно, Арнольд, больше некому. А ведь мы были не так уж близки с ним, чтобы делать такие подарки. Катя обрадовалась и удивилась больше моего.

— Вот что значит еврей, — сказала и одобрительно посмотрела на меня.

Что ж, я этот незаслуженный комплимент принял.

— То-то и оно, — сказал я. — Вот именно. А ты думала. Это ты о чем? А, ну да. Само собой.

Вот как неожиданно просто решился вопрос. А полсотни мы уж как-нибудь наскребем. Тотчас помчался в Western Union. Ах, какая красивая купюрка попалась! Надежно запрятал во внутренний карман, чтобы, не дай бог, не потерять. Три раза ощупывал по дороге домой и радовался: хрустит!

Между прочим, приближалась зима. В тот же день Катя достала с антресолей свои сапоги, долго рассматривала их, чистила, опять рассматривала и, наконец, сказала: может, ползимы и проношу.

Я понял. И сделал вид, что не расслышал.

Но не такова Катя, чтобы остаться непонятой.

— Я недавно заходила в ГУМ… Думаю, твой Ваня может и подождать. У них наверняка еще есть. Не последние же он отдал тебе.

Я промолчал. Может, и запротестовал бы, если бы не случай в универмаге, в который мы зашли неизвестно зачем, денег у нас было только на овсянку. Побродив бесцельно по этажам и отделам, Катя направилась в отдел дамских платьев. Сказать, что выбор был большой, не скажешь, но несколько платьев ее заинтересовали. Она пошла в примерочную и позвала меня. И тут началось некое действо, театр мимики и жеста. Она одевалась-переодевалась, что-то невнятное проговаривала, улыбалась, изгибалась, чтобы увидеть себя в зеркале, губы ее шевелились, и наконец, вспомнила обо мне: «Ну как?» Я, конечно, кивнул: «Хорошо». И этого, как оказалось, довольно. Платье она возвратила на место и о каких-либо покупках не вспоминала до нынешнего дня.

На следующий день она позвонила мне из ГУМа.

— Ох, какие сапоги, — сообщила. — Плохо то, что осталась одна пара. Может, приедешь? Посмотрим вместе. Если тебе не понравятся, то и не надо.

Короче, обнимала она меня той ночью, как после долгой разлуки. Все ж таки женщины иные существа. Разве можно вообразить меня или иного мужчину, который бы особенно нежно обнимал жену в благодарность за новые ботинки?

Да, нежность женщины — это здорово. Нет ничего важнее, милее и прекраснее. Но как отдать долг? Прошло уже два месяца… Получается, что я, извините, протрахал сто долларов. Не много ли для безработного мужчины? Как-то грустно стало мне утром после счастливого пробуждения.

Вдруг я нашел простой выход: нужно перезанять у кого-нибудь. Хотя бы и под проценты. Почему нет? Время такое, все занимают, все платят. Но у кого? Может, у Васи Морозова? Мы с ним когда-то на четвертом курсе были на практике в многотиражке тракторного завода. На факультете Вася был человек тихий и незаметный, но в многотиражке неожиданно стал общим другом — веселым, общительным, и сразу, так сказать, затмил меня, хотя писал, на мой взгляд, неважно. Тупо. Но так ли это существенно на четвертом курсе?.. Существенно, что его пригласили в штат, он согласился, но в газете проработал недолго — год-два, и там же, на заводе, начал двигать по профсоюзной линии. Где он обретался нынче, я не знал, но телефон в записной книжке сохранился. Звонить, конечно, не хотелось. Я нарезал круги около телефона, не решаясь поднять трубку. Наконец решился. К телефону долго никто не подходил, и я уже чувствовал облегчение, — ну и не надо, но тут услышал: «У телефона». Если бы послышалось обычное «алло», наверно, и разговор сложился бы по-иному. Но «у телефона» меня сбило с толку, я засуетился, заторопился, стал весело спрашивать о делах и жизни — и вместо ответа услышал: «А кто это говорит?» Это меня, как говорится, добило. Тем не менее, я сказал, что хотел бы встретиться. Дескать, имеется дельце. Не важное, но существенное. Или наоборот, не существенное, но важное. Нет, не так, и не важное, и не существенное, но…

— Если речь о деньгах, — услышал спокойный голос, — то у меня нет.

— Ну и прекрасно! — возликовал я, чтобы сохранить лицо. — У тебя нет и у меня нет, будем на равных! Разве деньги связывают однокурсников? Отнюдь, только однокурсницы! — Это я послал намек: все мы тогда были влюблены в наших — или не наших — сокурсниц. Это было предложение открыть старую тему и на этом завершить разговор. Глупость, конечно, но все же стоящая того, чтобы ее списать на мой не слишком удачный юмор. А вот чувства юмора у Васи было плюс-минус ноль, то есть на точке замерзания.

— Да… — озадаченно произнес он. — Конечно, деньги — это… угу… деньги… угу…

Зачем я звонил ему? Мы никогда не были настоящими приятелями, и телефон его оказался у меня по случаю. Впрочем, понятно: Василий стоял внизу приятельской лестницы, от него не слишком обидно было получить отказ. Даст денег — зауважаю, не даст — значит, жлоб, с наслаждением вычеркну в записной книжке. Я и не сомневался, что получу отказ. Тем не менее, было тошно.

Несколько дней я и думать не мог, чтобы опять кому-то звонить.

В то время в городе начались большие проблемы с бензином. По нескольку часов стояли в очереди, чтобы заправиться, да и то — с ограничением, отпускали по двадцать литров, а то и по десять. Малолетние спекулянты предлагали канистры в два-три раза дороже. Приходилось, принимая пассажира, сразу же спрашивать, куда и за сколько, очень огорчительно было возвращаться порожним. Тогда и сел ко мне Роман Ткач, сокурсник, с которым я не виделся несколько лет, но узнали мы друг друга сразу. Помнится, он был легок в общении, говорлив и смешлив. Вообще-то я всегда опасался знакомых, не хотелось представать в роли бомбилы, но Роман иное дело, я сам позвал его, завидев на остановке. Узнав меня, он заулыбался, рассмеялся, от него пахнуло водочкой, что меня даже обрадовало: проще сказать о своей проблеме. Я теперь всех друзей, бывших и настоящих, оценивал именно с такой точки зрения: есть у него деньги или нет, точнее — даст или не даст. Жил Роман в Серебрянке, то есть довольно далеко, но ехали мы весело,

вспоминая общих знакомых, кто где и кто как, а я тем временем подбирался к главному, к деньгам. Вот только Роман был всегда словоохотлив, а теперь под градусом слова не давал вставить. Рассказал, что круто поменял профессию, жену, квартиру, занимается бизнесом, в общем, жизнь складывается удачно. Тут-то я и поймал его. «Знаешь, почему я кручусь на машине по городу? Зарабатываю. Денег нет. Одолжи мне сто долларов на один месяц». — «Ты с ума сошел! — вскричал он. — Откуда у меня деньги? Не было и не будет! Бизнес — дело такое, только заработаешь — сразу отдаешь».

Кстати, мы уже и приехали. Не дав больше мне сказать и слова, он протянул руку для прощания и вылез. Нет, в этот раз я не расстроился. Жалко только времени и бензина. Километров десять проехал зря, плюс десять обратно. Надо было предложить ему рассчитаться.

А еще я заметил однажды на остановке Верочку Пылаеву, красавицу, точнее, красотку, в которую многие были влюблены, особенно на первом-втором курсах, в том числе и я. Самое примечательное в ней было — глазки: они постреливали-посверкивали вперед и по сторонам, но никогда не смотрели в лицо собеседнику. Она первой из наших девочек вышла замуж за какого-то лейтенанта и, казалось, сделала очень правильный выбор, даже по внешности была типичной женой молодого офицера, но — первой же и развелась с мужем: послали служить на Дальний Восток, на «сопку», а на это Верочка была не согласна: замужество она понимала как удовольствие, а не как испытание на прочность. Сперва я проехал мимо: не хотелось бы рассказывать ей о своем жалком положении, но тут же развернулся и через минуту притормозил рядом с ней. «Вера!» — позвал, опустив стекло. Она тотчас, стрельнув глазками, показалось даже, мимо меня, впорхнула в машину, счастливо рассмеялась и чмокнула меня в щеку. «Ты меня отвезешь? Я так спешу, так устала, я так рада!» — «Конечно, отвезу, где ты живешь?» — «Ох, как я рада! В Зеленом Луге живу, на Калиновского. Расскажи о себе!» — «Нет, ты расскажи». — «Ох, что мне рассказывать? Я опять развелась». — «В который раз, Вера?» — «Да в третий. Полгода пожили вместе. Больше не пойду замуж. Если что — только в гражданский брак, надоело. Перед мамой стыдно. Ну, а вы с Катей? Мы с девочками часто вспоминаем вас. Мы считали, что вы уехали в Израиль». Я даже притормозил: мы? В Израиль? Почему?.. Верочка, похоже, смутилась. «Ну, как же… Здесь такой развал… Все, кто может, уезжают… Вон Аркаша Губерман уехал в Штаты, Дина Раскина в Израиль… Все довольны. Я бы тоже уехала, если б хоть бабушка была еврейкой… Или Катя не хочет?» Я с любопытством взглянул на нее. Профиль у нее был птичий, но по-прежнему хорошенький. «Так ты считаешь, что я еврей?.. Все твои подруги так считают?..» Она как-то неопределенно пожала плечиками. Все-таки она была хороша, жаль, что не ответила мне взаимностью. «Даже Стрепетова Галя эмигрировала, хотя нисколько на еврейку не похожа, — продолжала она, — скорее, на узбечку. Нашла в архивах документы, что бабушка была еврейка. Интересное время, да? Раньше скрывали свое еврейство, теперь доказывают…» На вопрос мой Верочка не ответила. А я подумал: ну и ладно! Буду евреем. Интересно, что ни в школьные годы, ни в студенческие меня евреем не считали, то есть не находили похожести, а вот теперь... Может быть, это результат безденежья? Правильнее, психологического унижения из-за безденежья?

Как я уже говорил, городок, в котором жил в детстве, входил когда-то в черту оседлости, и тема любви-не любви к евреям имела место. Порой возникали даже споры — чаще всего ленивые. Однажды такой разговор возник

в нашем доме. Не люблю евреев, заявил наш сосед Н. Н. Они хитрые и себе на уме. А я люблю евреев, ответил ему другой знакомый, назову его М. М. Они надежные и верные друзья. Вот, например, Яша Борейша… Хватит, надоело, говорил третий. Все хороши, и они, и мы. Я помалкивал, так как не достиг уважаемого возраста совершеннолетия, но присутствовать при разговоре старших и умных уже право имел. Не надо любить, говорила моя мать, поскольку именно ее провоцировали высказать мнение. Надо просто относиться к ним по-человечески. Такие слова, к сожалению, погашали запал спорщиков, а мне хотелось продолжения темы.

Между прочим, в те времена, да и сегодня, деликатные люди избегали произносить слово «еврей». Говорили — *по национальности еврей*. Вроде как смягчали сложный факт, чтобы не обидеть его представителя.

Евреи жили в основном по улице, которая так и называлась: Еврейская Слобода. Ребята как ребята. В городе было три школы, в одной из них, Третьей, традиционно учились ребята евреи. Отношения у нас были самыми обычными, но некая тайна их жизни присутствовала.

Катя училась в школе, как тогда говорили, с музыкальным уклоном. Учились музыке в основном девочки, и в большинстве — еврейки. Но Катя долго не знала, что «есть такие люди» — евреи. Тем более, что они чем-то отличаются от нас. И отношение к ним немного иное. Поначалу она не верила таким слухам, а вполне убедилась, когда пришла пора поступать в институты: три ее подруги-еврейки поступали в иняз — поступила только одна, в паспорте которой было записано — «русская». Евреев не брали, и те, кто хотел овладеть языком, шли на платные курсы при Доме офицеров.

Между прочим, она чуть не вышла замуж за еврея, а именно за Арнольда, о котором я уже говорил, который прислал нам денег. Как же он ухлестывал за Катей и как был мне отвратителен! «Любовь — пещь огненная», — тогда я и понял смысл этой фразы. Вполне мог бы стать антисемитом, если бы знал, что — еврей. Но он вовсе не был похож, в нашем понимании, на еврея. Я увел Катю у него, как говорится, из-под носа, и порой мне кажется, что вот этого-то она и не может мне простить. Ого, в каких теплых краях она, мерзлячка, сейчас обреталась бы! Пусть и в неотапливаемых зимой. Между прочим, если напомнить ей об этой истории, она обязательно покраснеет. Конечно, она краснеет по любому случаю, касающемуся ее личной жизни, такая у нее особенность, даже если речь пойдет о мальчике, с которым рука в руку ходила в детский сад, но если речь об Арнольде — загадочно косит глазом, и неуверенная улыбочка дрожит на губах. Думаю, что и те сто долларов она поняла не как вспомоществование бедным советским людям, а как романтический привет. Я тогда тотчас поблагодарил Арнольда, но и написал, чтобы больше не присылал. Не хватало! То-то она вдруг стала мечтать о путешествиях, для прикрытия — в Турцию, Египет, а на самом деле в Израиль. Так ей хочется увидеть Стену Плача, искупаться в Мертвом море!? Тьфу. А в Арабские Эмираты не хочешь? Нет. Почему? Да как-то так…То-то и оно!

А может быть, я неосознанный антисемит? Ухлестывали за Катей и другие ребята, однако возненавидел я только Арнольда. Хотя, конечно, и тех не полюбил.

Но когда стало ясно, что она — моя, я всем посочувствовал и всех простил. До сих пор гляжу на нее и радуюсь: моя! Красавица — вот причина. Ну и конечно, умница, хотя, если честно, это не имеет никакого значения. Кажется, даже будь круглой дурой, все равно любил бы ее. Она приходила с работы

раньше меня, и когда я открывал дверь, выглядывала из кухни: «Привет!» — и снова исчезала. Жизнь тотчас расцветала всеми возможными красками. Мне постоянно хочется смотреть на нее, а когда толчемся в кухне, готовя ужин, каждое случайное прикосновение приносит удовольствие. Кажется, в психологии это называется тактильный голод: хочется обнимать ее, прижимать к себе, тискать, мять… Что еще надо для счастья? Ничего. Да и счастья не надо. Вполне достаточно вот этой молодой женщины. Что такое счастье — неясно, а женщина — вот она: след муки на щеке, локон у глаз, мочка уха, словно награжденная за идеальный рисунок дорогой сережкой. Нет, не дождаться мне урочного часа, когда мы выключим свет!

Катя была на втором курсе, когда я взялся ухаживать за ней. Все бросил на карту, от своих скромных спортивных достижений до жалкой стипендии, которую пускал на регулярные походы в кафе. Торчал и в комнатке ее общежития. Однажды вошел — спит поверх постели: ночь провела без сна перед экзаменом и теперь, ожидая меня, прикорнула. Надо бы подать голос, но так покойно было ее лицо!.. Я тогда увлекался Буниным, «…и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне», тотчас вспомнил. Проснется — произнесу. То есть, тщеславился перед Катей как мог. Дыхание ее было ровным, почти неслышным, но заметно, что она все глубже погружается в сон. И вдруг проснулась, увидела меня, вздрогнула — испуг, почти паника отразились на лице. Этот ужас, страх неконтролируемости живет в ней по сей день: войди в кухню, когда она сосредоточенно готовит некое блюдо, — вздрогнет, ужаснется, будто увидев преступника. И сама же долго смеется. Такая вот у меня замечательная девушка. Так что Арнольд много потерял.

Первый год нашей совместной жизни мы всегда спали голые, но не потому, что провоцировали сексуальность друг друга, а потому что любое прикосновение приносило удовольствие. Между прочим, Ваня как-то сказал, что они со Стешей и днем, по крайней мере в выходные, ходят по квартире нагишом, наслаждаясь совершенством тел друг друга, но мы с Катей до такого уровня откровенности недотягиваем… Кстати, когда я шел к нему за деньгами, подумал: открою дверь, а они голые. Привет!.. Ну, не знаю. Разве что Стеша набросила халат, а Ваня успел застегнуть пуговицы. Но, скорее всего, тот период у них миновал.

Арнольд, когда жил в Советском Союзе, работал в проектном бюро, однако в Израиле работы по специальности не нашлось, и он стал заниматься трудом физическим, а именно подряжаться на малярно-штукатурные работы. Наверно, получалось у него неплохо, по крайней мере, приглашали его охотно, и таким образом, положение его стабилизировалось. Он всегда был, как говорят, рукастым, даже столярные работы в доме делал сам, всякие там полки, табуретки, даже шкафы. Его такие работы вдохновляли. Я бы тоже согласился белить-строить, но эти занятия требуют особого таланта или основательной подготовки, а этого у меня нет. Больше того, всякие хозяйственные задачи не только не вдохновляют, они вызывают у меня тоску. Когда-то мама, словно предчувствуя нынешние дела, договорилась с известным в городе столяром, что возьмет меня на лето, на каникулах, в обучение. Не рассказать, какая печаль одолела меня. Закончилось все едва не слезами и истерикой: не хочу, не хочу, не хочу! А что я хотел? Хотел бездельничать. Все летние месяцы я хотел гулять, гулять и гулять. Что ж, отбился… А сегодня единственно работа таксистом была мне более-менее по душе, но чтобы устроиться в таксопарк, надо пересдать экзамен на 2-й класс, это первое. А главное, таким

образом я отрезал себе путь к своей основной профессии, которую, кстати, любил, которая у меня получалась. В общем, я надеялся, что кризис вот-вот закончится, работа появится, ну а пока продолжал жить как прежде.

Я, конечно, был рад и вдохновлен крушением Советской власти, которая сильно припекла мою мать, ее сестер и братьев — всю большую семью, и, как большинство, надеялся на скорые перемены к лучшему. Новостные программы телевидения стали основным содержанием дня и, казалось, жизни. Разговоры на улицах о свободе — главными. О, свобода! Хотя, что это такое, никто не знал. Ощущение было такое же, как тогда: гулять, гулять и гулять! Все образуется само собой. И даже то, что заводы стали работать три дня в неделю, что поувольнялись дворники и ветер гонял по улицам обрывки газет и гремящие консервные банки, еще не казалось катастрофой. Вот-вот все наладится! Старики говорили, что на заре Советской власти, когда объявили НЭП, то есть новую экономическую политику, в голодной стране появилось все! Все наладилось! Чудо? Ну и ладно, чудеса тоже нужны. И как в те времена, тотчас появились совбуры, то есть советские буржуи, так нынче я не раз видел молодых людей, ловко пересчитывающих пачки купюр.

Вот и теперь... Даже когда нам два раза кряду не выплатили зарплату, казалось — наладится! Нет, тут, пожалуй, впервые все, и я в том числе, задумались: как же так? Ладно — заводы и дворники, но мы-то, мы… Мы, журналисты, элита интеллигенции… Что-то не так. А все же — хотел ли бы я вернуться назад, в те времена? Ха-ха, извините, господа советские патриоты, нет. В СССР — хотел бы, но под советскую власть — нет. Такая вот странная логика. Нравится ли мне сегодняшний день? Но как и кому такое существование может нравиться?

Время было не просто скудное, а подчас и голодное, оно было отвратительное, мерзкое. Паскудное. Если об иных трудных временах люди вспоминают по-разному — с печалью, тоской, с гордостью — мы пережили, выдержали, — о перестройке будут вспоминать с отвращением. Личности, которых выдвинула она, оказались малыми, незначительными. Люди с недоверием смотрели на них. Недоверие — вот главное чувство, которое царило в умах и чувствах людей. Эйфория тоже может быть созидательным состоянием, но она промелькнула слишком быстро, не оставив после себя героев.

Постепенно те красивые лица, что мелькали на экранах телевизоров, ставшие для многих — и для меня тоже — если не кумирами, то, по меньшей мере, поводырями в тогдашней кутерьме, стали терять внешнюю привлекательность, а слова их убедительность, и однажды, сидя перед экраном, я почувствовал сильный душевный толчок, и этот толчок был — ненависть. Пассионарность их показалась корыстной, и потому энергия, которую спровоцировали во мне, была злобной.

Когда появился и более-менее определился в правительстве Горбачев, я с восхищением глядел на него. Катя тоже поглядывала с интересом, хотя обычно политикой не сильно интересовалась. «Что за чудо? — почти восторженно сказал я однажды. — Как он там появился?» — «Болтун», — как бы с сожалением сказала Катя. «Что ты говоришь? — возмутился я. — Это руководитель новой формации, реформатор!» — «Болтун», — с той же интонацией повторила она.

Потребовалось время, чтобы понять: Катя права.

Когда случилось ГКЧП (для молодых читателей: попытка политического переворота, отстранения М. С. Горбачева от власти), единственное, что мы

почувствовали, — беспомощность и зависимость: все это — в Москве, а до нее 700 километров, и там — танки! Можно вообразить, что чувствовало российское Зауралье. А Дальний Восток?! Ждали — так ждут вынесения приговора арестованные по навету.

Взбунтовалась и наша тихая республика. Многие помнят трехсоттысячный митинг на площади Ленина, когда все триста тысяч поворачивались к ораторам из власти спиной, но бурно приветствовали своих, а у памятника Ленину голодал один из оппозиционеров. Все это было внове для большинства, и перед голодающим толпились, как перед приземлившимся космонавтом. Лежали цветы — не понять кому, ему или Ленину, мнения и отношение тоже были разные: герой, говорили одни, кафкианский голодарь — другие. У меня не было политического темперамента, и я лишь только поворачивался вместе со всеми и вместе со всеми кричал: «Жыве Беларусь!» Теперь с грустью вспоминаю то время: было ли? Может, привиделось? Совсем уж не похожи нынешний день и люди на тех, что стояли на площади в ожидании перемен.

Незадолго до начала той «перестройки» я успел купить — выхватить — «Жигуленок», в очереди за которым стоял несколько лет. Как раз в это время начались очереди — за любым товаром, причем по талонам. Близился Новый год, особенно длинные очереди образовывались за спиртными напитками. Я простоял в злобной толпе полтора часа, отоварился, купил две бутылки водки и бутылку шампанского. Потом поехал искать колбасу или сосиски — что-нибудь. Мне повезло: вот не столь уж длинный хвост в знакомом универсаме. Через час я, счастливый, — как же, добытчик! — вышел из магазина. Катя будет рада. Но где мое авто?.. Нету! Естественно, холодный пот прошиб меня в одно мгновение. Сколько историй я слышал в последнее время об угонах! Вот фонарный столб, вот «Газель», возле которых я поставил машину… Нету!.. Как же они, угонщики, повеселятся, подумал я, когда найдут в багажнике водку и шампанское! Как жаль, что я не успел положить еще и сосиски! Они бы им пригодились! Пускай был бы у них, подлецов, маленький праздник!.. Пускай бы выпили за здоровье растяпы!

Я бессмысленно топтался на одном месте и вдруг… Вот он, мой «Жигуленок». Стоит, хороший, славный, сверкающий, у следующего фонарного столба, у другой «Газели», и терпеливо ждет меня с сосисками. Вот тогда я и понял, что есть счастье. Счастье — это автомобиль, водка, шампанское и килограмм сосисок. И ты со всем этим новогодним богатством не торопясь едешь домой, к нежной и любимой жене. А в салоне звучит музыка — все равно какая, только бы звучала.

Вечером мне позвонил некто. Похоже, был сильно выпивши, по крайней мере, как-то подозрительно шумно дышал в трубку да и говорил сбивчиво, правильнее — азартно и бестолково. «Ага, получили? — заговорил не здороваясь, словно продолжая прерванный разговор. — Ну и как вам эта свобода? Радуйтесь! Это еще цветочки, ягодки будут потом. Долго ждать не придется. Скоро!..» — «Подожди, — сказал я, — кто ты? Не узнаю». Голос был чем-то знаком, но… «Может, ты ошибся номером?..» — «Ага, ошибся! Теперь все ошибаются, кроме вас». — «Да подожди ты! — вскричал я. — Ничего не понимаю! Назовись сперва!..» — «Пошел ты!» — был ответ, и он положил трубку.

Как ни странно этот бестолковый разговор взволновал меня. Как будто я в самом деле в чем-то оказался виноват перед обществом, хотя я такой же

пострадавший, как мой оппонент. А то, что он пострадал, было понятно. Но кто он? Нет, голос не знаком. Некто из многолюдной толпы. Ясно, ошибся человек, а жизнь, как говорится, достала. И, по-видимому, есть у него неприятель, если не враг, который виновен в его проблемах. Или он считает — виновен. Я так взволновался, что ходил взад-вперед по комнате и поругивался. Почему-то хотелось оправдаться. И тут опять раздался звонок — послышался тот же захлебывающийся голос: «…хотя такие, как вы, не тонут! Вы — тихой сапой! На цыпочках!.. Один за другим и все вместе… Гады, гады…»

Значит, звонок не случайный. Глупости говорит человек, а все же противно, что кто-то — а значит, не он один — думает о тебе так же. Весь вечер я ждал третьего звонка — не дождался. Не позвонил он и в следующие дни, видно, проспался. Жаль только, что я так и не понял — кто. Мне уже хотелось с ним познакомиться и как следует объясниться. Даже некую непонятную вину я почувствовал. Может, будь мы, журналисты, умнее, честнее, активнее, такой беды не случилось бы? Глупости. Так обвинить можно и учителей, врачей, инженеров…

Ссоримся ли мы с Катей? Разумеется. Это ведь главное развлечение мужа и жены. Признаюсь, период примирения у меня короток, я сразу же раскаиваюсь, а Катя начинает петь на кухне арии из популярных опер, чем окончательно убивает меня. Арий знает много, может петь долго, и день, и два. Может быть, даже месяц, если бы выдержал я. Голос у нее красивый, нежный, тотчас проникающий и в подкорку, и в сердце, а если и этого мало, надевает свой голубенький девичий халатик, который и держит, похоже, для таких случаев, то есть, чтобы терзать меня. Ну и, думаю, всем понятно, чем заканчиваются такие ссоры: большой любовью.

О, Катька! Прекрасное отродье восхитительной Евы. Или наоборот: восхитительное прекрасной. До сих пор я не могу прийти в себя от того, что ты моя собственность. Не могу дождаться, когда ты, наконец, примешь душ, намажешься какими-то благовониями, сбросишь в лунном свете ночнушку и торопливо нырнешь под наше одеяло. Длинная шея как раз помещается на моей руке. Хорошо! Разве ты человек? Нет, нисколько, ты существо иное, неземное, раз приносишь столько удовольствия и страданий.

Прошу прощения у моралистов, близость у нас с Катериной случалась по средам и субботам, но, конечно, порой такой неписаный график, или, если вам не нравится, очередность, нарушался. Тогда субботняя любовь переносилась на воскресенье, а порой и среда, и суббота была нашей, и воскресенье. Хотя, конечно, в этом случае воскресный энтузиазм был менее выраженным. Вот и тогда мы как-то перестарались на неделе, однако график есть график, я потянулся к Кате, а она сделала движение, сообщавшее, что особенного желания нет. У меня, признаться, тоже, но дело ведь не только в желании. В близости есть еще кое-какое содержание. Близость говорит о том, что все в семье благополучно, жизнь продолжается. Тем более, это было важно для меня в том моем морально и материально зависимом положении. То есть, я должен был добиться своего, мужчины (да и женщины) знают, как это делается. Однако была у Кати одна странность: на нее нападал безудержный смех, если в это время ответного желания не чувствовала. Сперва это обескураживало меня, позже злило, а в тот день, правильнее, ночь, оскорбило. «Ты что? — сердито спросил я. — Что с тобой?» А Катя смеялась все сильней и сильней, захлебывалась от смеха. Что было делать? Конечно, лучше всего — рассмеяться вместе с ней, а потом повернуться на другой бок и уснуть. Но

я рассердился, обиделся и решил взять ее силой. Однако Катя сильная и ловкая, она вырвалась. «Не хочу!» — крикнула. Может быть, я сделал ей больно. «А я хочу», — заявил я. «Не заслужил! — равнодушно сказала она. — Ты вообще ничего не заслуживаешь последнее время». А вот это уже был намек на то, что не могу найти работу. «Дура!» — сказал я ей.

В общем, ночь мы провели в разных комнатах.

Думаю, со временем станет заметно, что в этот период сильно увеличилось количество семейных разрывов и разводов. Как странно, что события в государстве, политика и идеология, так влияют на близость между мужчиной и женщиной.

Интересно, как выживают мои одноклассники и однокурсники? Что, я самый невезучий? Прощаясь, на выпускных вечерах мы обещали друг другу перезваниваться, переписываться, встречаться… Но вот прошло несколько лет — где они? С одноклассниками у меня связаны, конечно, более нежные воспоминания, но с ними-то совсем уж разошлись наши пути. Где вы, Соня, Света, Лида, Ира, Тамара? Миша, Эдик, Аркадий, Толик? Вспоминаете ли меня? Нет лиц красивее ваших, нет больше в унисон с моим звучащих голосов. С каждым годом все дальше мы уплываем, улетаем друг от друга, а может быть, и от самих себя.

Конечно, надо бы пойти на биржу, то есть в отдел занятости, зарегистрироваться и получить пособие… Но как это я, журналист с хорошими публикациями, стану жить на пособие?!.. Кроме того, я мечтал стать писателем и уже опубликовал несколько, по общему мнению, неплохих рассказов. Отдел занятости!.. Нет, это невозможно. И все же сходил, не признавшись в этом Кате. Регистрироваться, однако, не стал, походил по коридору, опасаясь увидеть какого-нибудь знакомого, даже заглянул в дверь, перед которой молчаливо и униженно — так мне показалось — толпились и мужчины, и женщины. Постоял у стенда с вакансиями. Вакансий было немало: требовались сантехники, слесари, грузчики, формовщики, обрубщики… Согласен, любой труд почетен, но как это я, журналист, автор ряда заметных материалов… С облегчением вышел на улицу. Буду таксовать, пока не поймает налоговая инспекция. А чтобы подальше от инспекции, я решил меньше кататься по городу, а ездить в ближние города республики. Приезжал на автобусную станцию, ставил машину и шел искать пассажиров. Много не запрашивал — всего лишь стоимость автобусного билета, так что пассажиры находились всегда. Как правило, находились и в обратный путь. Но скоро такие поездки прекратились. Однажды приостановился какой-то молодой парень, с любопытством поглядел на меня. Я в тот день собирал пассажиров до Слуцка. «Сколько берешь?» — спросил он. «Стоимость билета», — сказал я. «Дороговато!» — «Дороговато? Езжай на автобусе, будет дешевле». — «Ладно, поеду с тобой. Скоро?» — «Надо еще два человека». — «Договорились. Подожду около машины. Где стоит?» — «У въезда. АХ-7 68-30». — «Понял».

Попутчиков я нашел скоро. А когда подошел к машине, увидел, что пробиты два передних колеса. Ну, слава богу, не все четыре. Я, конечно, и раньше слышал, что таксисты таким образом мстят нелегальным извозчикам, а вот убедился и сам.

Городок, в котором я родился и где жила моя мать, находится довольно далеко, километрах в трехстах. Я ездил к матери раз в месяц. Во-первых, проведать, во-вторых, всегда получал от нее денежек и на дорогу, и на прожитье. Кроме того, если запастись водкой, можно было с некоторой выгодой

обменять на бензин. Тогда это было просто: ставишь на капот бутылку, держишь в руках канистру и шланг. Иногда ездит со мной и Катя. Отношения у них сложились неплохие, но… «Я не позволю себе конфликтовать с твоей женой», — сказала как-то мама. А Катя, когда позже я с гордостью передал ее слова, отреагировала мгновенно: «Ох-ох-ох!» Какие-то неявные разнонаправленные движения в их душах происходили. Что-то протестное они друг другу сообщали самим фактом своего существования. Конечно, у Кати возможностей было больше: ночная кукушка. Например, обычно во время нашей близости она никогда никаких сладострастных стонов не издавала, все у нас совершалось довольно тихо, но здесь Катю как подменяли. Я клал ладонь на ее рот или закрывал губами, шептал: «Тише, тише!» — но все это словно еще и возбуждало ее. Разумеется, таким образом она давала знать моей маме, которая спала за стеной, о своей роли в нашей жизни.

Родители Кати живут далеко — в России, в небольшом городке Воронежской области. Катя ездит к ним раз в год. Однажды побывал и я. Встретили они меня с большим интересом: как это такой охламон охмурил их принцессу? Но Катя молодец, во-первых, раз за разом обнимала меня, чтобы показать уровень отношений, во-вторых, не призналась, что я — безработный. Ну а поскольку приехали мы не на поезде, а на своем авто — тогда еще не рядовой случай, — мнение обо мне сложилось вполне удовлетворительное.

Впрочем, знакомы мы уже были: они приезжали на нашу свадьбу. Но свадьба дело нервное, суетливое, да и жить им пришлось в гостинице, — они не поняли меня, я их, а вот теперь — да, можно жить, хотя, конечно, и автомобиль мог быть получше, и квартира просторнее, и… Ну а то, что еврей, — так это, может, и хорошо. Есть же среди них хорошие люди?! Впрочем, это я придумываю, речь о национальности не возникала.

Там есть такая небольшая речка, Хопер называется, а тесть мой, Андрей Афанасьевич, оказалось, заядлый рыбак, и мы разок сходили с ним с удочками. Вот там он несколько раз пытался начать демократический разговор о равноправии наций, вопросительно поглядывал на меня, но когда я заявил, что не еврей и не русский, а белорус, обрадовался: с белорусами в России все ясно — свои. Нашим выходом на реку он остался удовлетворен: в два раза обловил меня, показал, на что в этом деле способен. Ну и опять же, белорус!.. Алена Кондратьевна тоже была довольна: вволю наговорилась с дочкой, пока нас не было, а еще показала свое кулинарное искусство, — в общем, проводили они нас через два дня с надеждой, что все у Кати будет хорошо.

Есть у Кати и старший брат Сергей, он тогда работал в Воронеже на экскаваторном заводе, приезжал познакомиться на машине с шофером, мы с ним и тестем крепко выпили и в тот же день простились, производственные дела требовали его возвращения. И то, что мы так дружно, хотя и с излишествами, посидели за столом, тоже всем было по душе. То, что я молодой успешный журналист и Катька со мной не пропадет, предполагалось само собой. Так выглядело. Ну а то, о чем они думали и говорили между собой, конечно, осталось тайной, ненужной ни мне, ни Кате. Думаю, она не сказала, что я потерял работу. Кому хочется огорчать близких?

Мне оставалось собрать пятьдесят долларов, чтобы возвратить Ване долг, и потому очень кисло стало на душе, когда он позвонил мне. Дождался, черт возьми!.. «Знаешь, какие у меня новости? — весело спросил он. — Со вчерашнего дня я тоже безработный». — «Как так?» — ахнул я. «Да вот так. Закрылась наша контора».

Так я и не понял, что это за контора. Он молчал, и я молчал. Он, как я понимаю, еще не привык к такому своему положению, осмысливал его и вопреки ситуации чувствовал некий беспричинный душевный подъем, а я уже давно прошел этот этап, и мне нечего было сказать. Посочувствовать? Глупо. Выругаться? Разве что. «Слушай, Ваня, — сказал я. — Сто долларов у меня есть, могу отдать хоть завтра». — «Да я не об этом, — он вдруг потерял веселость. — Пока деньги у меня есть. Знаешь что… Приходи, напьемся». — «А, вот это дело! — я и в самом деле обрадовался. — Может, завтра? Я тебе позвоню».

Однако назавтра кое-что изменилось, и я не попал к нему. Ладно, решил, вот соберу еще полсотни, тогда и встретимся.

Это кое-что, случившееся на следующий день, оказалось чрезвычайно важным: Катя объявила о беременности. По этому случаю я купил коробку конфет, мы открыли шампанское и просидели весь вечер, и раньше обычного нетерпеливо легли в постель, словно начальная беременность вызвала у нас усиление сексуальности.

Жизнь после такого сообщения заметно изменилась. Во-первых, надо было заработать денег, во-вторых, больше уделять Кате внимания, в-третьих… Я сам себя и свою роль стал понимать иначе, нежели прежде. И както между прочим решил, что теперь отдавать долг не время. Тем более что деньги, как обронил Ваня, у него пока есть.

Всем известна фраза: к хорошему привыкаем быстро. Но быстро приспосабливаемся и к плохому… Уже будто так и надо — стоим в очередях с талонами и продуктовыми книжками, по несколько часов проводим в обменниках, чтобы хоть как-то отбить заработанное, покупаем то, что подешевле, а женщины достают из шкафов девичьи платья и радуются, демонстрируя сохранившиеся фигуры. Старики, пережившие Отечественную войну или много знающие о ней, уверенно закупали соль и сахар, запасались также крупами, макаронами. Наш сосед по лестничной площадке дядя Петя, матерщинник и выпивоха, увидев меня, весело крикнул в раскрытое окно: «Все! Теперь эти гады меня не возьмут! Все антресоли перловкой и макаронами забил!» Эти закупки оказались ошибкой: в крупах быстро расплодилась пищевая моль. Впрочем, дядя Петя нашел выход: завез в деревню родственникам на корм поросятам, а привез несколько хороших кусков соленого сала и вволю попьянствовал «на халяву». Мы никаких таких запасов не делали, но когда я был у матери, она попросила купить побольше соли. Оказалось, мы опоздали: соли в городе уже не было. Правда, в следующий приезд удалось купить пятидесятикилограммовый мешок соли неочищенной, серой, видимо, кормовой, для животных. Так она и лежит там до сих пор.

В прежние времена, стоя в очереди за каким-либо товаром, мы молчали, разговаривали в основном знакомые между собой люди, теперь — совсем иная звуковая картина, очереди словно ожили, каждому есть что сказать, о чем поговорить!

Скоро выяснилось, что самая необходимая профессия в городе — дворник. Похоже было, что все дворники города или забастовали, или уволились. Забитые доверху мусоропроводы, горы возле контейнеров. Быстро расплодились крысы и спокойно перебегали улицы, словно в гости друг к дружке. Утром туда, вечером оттуда. В один из дней над городом нависла туча, потянуло холодом, начался ураган, и вся эта дрянь — газеты, тряпки, полиэтиленовые мешки — поднялись в воздух и, как диковинные птицы, понеслись

в небе и мимо окон, будто произошла катастрофа, и мы почувствовали себя маленькими человечками, то есть такими, каковы мы и есть.

Но ведь не может продолжаться такое вечно! Любое общество, попав в подобную историю, пережив шок и растерянность, начинает приходить в себя, самонастраивается, не особенно надеясь на какие-либо решения правительства. Признаков такого процесса я ждал каждый день. Прекратились забастовки на автомобильном заводе — хороший признак! Правда, начались на тракторном… А вместе с тем вокруг города стали появляться роскошные коттеджи. Что это значит? Пир во время чумы? Или наоборот, заканчивается эпидемия, будем жить?..

Катя человечек хороший, но хитренький. В словах ее часто имеется второй смысл. Что она хотела? Похвалить или уязвить? Хорошо, в ее представлении, быть евреем или плохо? Вполне может быть, что и то, и другое. В зависимости от конкретной ситуации. А может быть, не хитрая она, а умная. Сообразительная. Догадливая. Предусмотрительная.

Когда мы познакомились, понравились друг другу, и только-только начали обниматься и целоваться, я залез ей под кофточку, а потом и под лифчик. Впрочем, этому действию предшествовало еще кое-что. По воскресеньям мы отправлялись с ней на пляж. Фигурка у Кати хорошая, и я наслаждался, глядя на нее. Плавала она плохо, но и это мне было по душе, давало дополнительные возможности, например, брать на руки под видом обучения плаванию. Я все поглядывал на ее грудь, она заметила это и не против была показать красоту. Но как сделать это? Очень просто. Однажды, когда я держал ее на руках, у нее как бы вдруг сорвалась с плеча бретелька, и я, наконец, увидел всю красоту, точнее, ее половину. Естественно, это сильно меня взволновало. В тот же вечер, хорошенько наобнимавшись и нацеловавшись, я и залез под лифчик. Она не уклонялась, мы оба прислушивались к приятным своим ощущениям, — так, за этим хорошим занятием, прошло, не знаю сколько, может, минут десять, двадцать, но появилось чувство — не знаю, возможно, однообразия или нетерпения, пора было развивать успех, — тут-то она и уронила на асфальт как бы ненароком ключи от комнаты. Ключи зазвенели, процесс, как бы нечаянно, прервался и на сегодня закончился. То есть, она и ушла от развития событий, и меня не обидела. А поскольку я был влюблен, все это сообщало мне ни больше ни меньше как весточку о целомудрии моей избранницы, о чем она и хотела дать знать. В общем, как хотите, так и считайте: то ли умненькая, то ли хитренькая. Что ж, недаром сказано: наука страсти нежной. У мужчин своя, у женщин своя.

Когда я ухаживал за Катькой, очень много говорил и, конечно, острил как никогда в жизни. Таким образом поддерживал ее интерес к себе. После свадьбы я, разумеется, успокоился, пришло равновесие. Больше того, теперь я с удовольствием помалкивал, а говорила Катька… И вот опять — она замолчала, а я разговорился…

Водочку в нашей республике продают, а точнее, выдают, по талонам — таким образом этот продукт для таксистов и для нас, бомбил, становится еще одной статьей маленького дохода. Поскольку я пью мало и редко, образовался и у меня некий запас. Две-три бутылки вожу с собой и цену прошу двойную. Судя по реакции покупателей — весьма умеренную.

На вокзале сели ко мне двое, один молодой, моего возраста, в джинсе, второй постарше, в костюмчике и под галстуком, аккуратные. Оперный театр,

сказал молодой. Что ж, можно и Оперный. Близко, конечно, но выбирать не приходится. Поехали. От одного из пассажиров веяло каким-то дезодорантом, я этого не люблю, но — не мое дело. Катя, например, любит. Хуже, если прет перегаром. Но тоже — почувствуешь, уже когда сядет в машину, не выгонять же? Иной раз они, с похмелья, хорошо платят. Между прочим, женщины рассчитываются щедрее, нежели мужчины, и уж совсем плохо платят, если заранее не договориться, кавказцы, приехавшие торговать фруктами, и цыгане. На краю города, перед кольцевой, есть цыганский поселок. Туда я и отвез как-то группу цыган — рассчитались, как милостыню поднесли, а требовать я пока не научился.

Сперва пассажиры мои ехали молча. Потом тот, в джинсе, спросил: как машина, не подводит? А все бывает, отвечаю. На той неделе на буксире тащили домой. Я люблю поговорить в дороге, а еще лучше — послушать. Особенно-то болтать языком бомбиле не следует. Встречаются интересные люди, кроме того, по разговору становится ясно, сколько запросить за проезд.

— Наверно, много крутишься по городу, — говорит джинсовый.

— Да нет, — пожимаю плечами. — Это я вас по пути домой подхватил.

— Правильно, чего порожняком гонять. А где далеко живешь?

— Да там, в районе Оперного.

Молчу и поглядываю в зеркало заднего вида.

— После работы выходишь на трассу или с утра?

— Нет, я на трассе не работаю.

— Ну и зря. Время такое, что можно коттедж за лето построить.

— Какие коттеджи!? — смеюсь я. Что-то мне не нравится в этих разговорах. — Дай бог как-нибудь прокормиться.

— Да ладно, — говорит джинсовый, а костюмчик помалкивает. — Слышали, как вы, бомбилы, зашибаете. А как по мне, так и слава богу. Ты, вообще, где работаешь?

— Да есть тут одна контора… А вы?

— Мы на стройке.

Ага, на стройке. Вот так — один в джинсовой курточке, другой в галстучке, в облачке одеколона — прямо с объекта.

— Слышь, командир, — говорит джинсовый, вдруг сильно понизив голос. — Выручай. Идем в гости с пустыми руками. Надо бутылек. Горько надо.

Я даже оглянулся: так стало все ясно.

— Опоздали вы, — говорю. — Я уже все продал. Был полный багажник. Это теперь такой товар… Алкаши аж под колеса кидаются.

— Да ладно, — говорит джинсовый. — Мы серьезно. Не пожалеешь.

— И я серьезно. Какие шутки? Алкаши тоже люди, а мне заработок.

— Ладно, ладно… Мы хохмить тоже умеем, все понимаем... А где травки купить, не знаешь?

Травки? Интересный, как говорится, вопрос. Больше ничего не надо? А может, героинчика?

— Нет, друзья, водку не продаю, на травке не зарабатываю и сам не балуюсь.

— Жалко, мы бы хорошо заплатили. Очень хорошо.

— Это сколько? — я опять оглянулся: интересно, с каким лицом предлагает сделку.

— Не пожалеешь.

— Нет, братцы, — говорю. — Я гражданин законопослушный.

— Это хорошо, но законами сыт не будешь. Главное, бабки.

Замолчали. Тут и Оперный показался.

— Приехали, остановись за углом.

Остановился.

— Сколько с нас? — А я молчу. — Полсотни хватит?— показывает новенькую купюру. Конечно, за такую поездку полсотни совсем неплохо. Но что-то мне давно не нравилось, и чувство это нарастало.

— Что молчишь? Добавить десятку?

— Мало, — говорю.

— Двадцать?

— Еще полсотни давай.

— Ладно, — соглашается, — держи. — Он-то не видит, что я смотрю на него в зеркало и уже все понимаю. Зеркало у меня широкоугольное, все видно.

— Спасибо, — говорю. — Премного благодарен, гражданин начальник. Я у милиции денег не беру. Извозом не занимаюсь, травкой не балуюсь, с барыгами не знаком. Просто люблю кататься по городу. Простите, если сильно разочаровал.

— Дурак! — это вдруг у того, что под галстуком, вырвалось.

Может, и дурак, но если я дурак, то положите, умники, свою хрустящую полусотенную на сиденье.

В общем, разочаровал их. Между прочим, походка у разочарованного человека отличается от походки очарованного. Чап-чап, никого и ничего не поймали, не заработали, промахнулись.

В ту новогоднюю ночь я не стал пить шампанское, а, прослушав речи президентов, отправился к машине, решив, что заработок будет хороший. Однако раз на раз не приходится. В основном пришлось возить веселые компании, которые мало внимания обращали на водителя и рассчитывались, скупо отсчитывая рубли. Были, конечно, и шутники, которые, усевшись, командовали: Питер! Киев! Воронеж! Москву никто не заказывал, видно, не были уверены, что там хорошо встретят. Уже под утро, на площади Энгельса, у главной елки города, сел ко мне парень моего же возраста — улыбчивый, разговорчивый, а кроме того — трезв как стеклышко, что для новогодней ночи какое-то исключение. Попросил отвезти на Каменную Горку — не слишком далеко, но и не близко, там взять девушку и далее в Зеленый Луг. Сразу же инициативу светского общения взял он в свои руки. «Хороша новогодняя ночь, верно? Удалась, как по заказу. Что ж, люди такую радость заслужили. Жизнь нынче трудна, хоть раз в году должен быть у человека праздник. Вот у меня золовка, молодая еще женщина, а о жизни говорит неохотно, не верит в лучшее будущее. А я верю. Как не верить, если…» И далее в таком же духе, будто из депутатского корпуса. А когда подъехали, сказал: «Подожди, друг. Две минуты — и мы на месте. Самое большое — три». Больше я его не видел. Что ж, такие пассажиры — не впервой, я выругался на прощанье и поехал домой.

И тут проголосовала девушка, попросила отвезти на Юго-Запад. Далековато… У мужчин я обычно спрашиваю: «Сколько это будет стоить?» Но — девушка. Ладно, поехали. Вытащила платочек, стала шумно сморкаться. Дыхание у нее было прерывистое, как у ребенка после рыданий. Я взглянул — лет восемнадцати-двадцати, не больше, шубка дорогая и модная. «Тебя обидели?» — спросил. «Не… — тяжко вздохнула. — Они… они… Прогнали

они меня». — «Как это?» — «Очень просто. Вытолкали за дверь и закрылись…» — «Почему?» — «А потому, что я красивее. Пацаны их на мне повисли». — «Так это девчата?» — «Какие девчата? Шлюхи ихние. А пацаны видят и помалкивают. Весь год мне испортили». — И она, отвернувшись к двери, заплакала. «Да ладно, — сказал я. — Год длинный. Все наладится. — Она не ответила. — А вообще ты чем занимаешься? Учишься?» — «Да нет…» — «Работаешь?» — «Не, я так…» Опять замолчали. Дороги в новогоднюю ночь свободные, ехали быстро. «Я в этом году на журналистику поступать буду, — вдруг сказала она. — Или в театральный. Чтоб они знали!.. А еще есть такой конкурс, «Телевершина» называется, там телеведущих набирают. Меня возьмут, я красивая. Разве нет?» — «Конечно, красивая». — «Я им всем докажу!» — «Конечно, докажешь. Главное, не сдаваться». — «А еще можно в какой-нибудь танцевальный коллектив, — мечтала она. — Я хорошо танцую, все пацаны в отпад. А эти… Ох, как они меня ненавидят!» Настроение у девушки улучшилось, но все равно она шмыгала носом. «Ну вот, приехали, вон твой дом. Не переживай». Но она не выходила. «Ты хороший, — сказала. — Знаешь, у меня нет денег. Хочешь, я… Можем пойти ко мне, можем здесь». Честно говоря, я не тотчас понял суть предложения. Наверно, тупой. «Да ладно, — ответил. — Спи спокойно».

На улице потягивало ветерком, и шла она кособочась, прятала носик в дорогую шубку.

Не скажу, что такая история приключилась со мной впервые. Как-то остановила девушка около Комаровского рынка. «Отдохнем?» — предложила звонко и весело. Я-то ожидал услышать адрес поездки. «Не понял», — сказал я. «Ну и дурак», — был ответ. Однако красоткой ее не назовешь, как и юницей. Красотки у Комаровки не дежурят, они — у хороших гостиниц или на «стометровке» через Свислочский мост. Сами не навязываются, ждут конкретного приглашения, но торг, конечно, возможен. А ведь еще пару лет назад, когда мы стали влюбляться с Катей, столь откровенных блудодеиц на наших улицах не было. Как замечательно быстро мы начали двигаться куда-то туда. Возможно, там хорошо. В прежние времена, чтобы добиться близости с девушкой, нужно было как-то соблазнить ее, может быть, даже приневолить, а теперь все это ни к чему, торгуйся и получай.

Катя рассердилась, когда я рассказал о том новогоднем приглашении. «Почему бы тебе не задержаться на полчаса? — проворчала она. Наверно, была разочарована моим сегодняшним заработком. — Покрыл бы расход на бензин».

Я вдруг почувствовал ее будущее бессмысленное старушечье ворчание.

Как-то вечером, закончив кататься, я припарковался у дома и тут увидел на заднем сиденье портмоне, а в нем сто зеленых американских рублей и несчитано наших белорусских. Вообще забытые вещи не редкость. Чаще всего забывают зонтики, сотовые телефоны, барсетки. Установить владельца телефона несложно, два-три звонка — и человек рассыпается в благодарностях, мчится — с улыбками, если женщина, с коньяком — мужчина. А вот с зонтиками и барсетками проблема. Несколько раз давал объявления о находке в газету «Из рук в руки», никто, однако, не откликнулся. Обеспечил зонтиками всех соседей и начинаю предлагать по второму разу. Но портмоне с долларами — впервые. Кроме денег были в портмоне какие-то бумажки, я рассмотрел их и с облегчением убедился, что ни адреса, ни визитки нет. Непростую нравственную проблемку пришлось бы решать.

Катя долго разглядывала портмоне, тщательно пересчитывала деньги, и никаких чувств на ее красивом личике нельзя было прочитать. И все же удовольствие проступило. Да, сказала она. И замолчала, как бы раздумывая. С таким же значением и содержанием могла бы сказать — нет. Или — ох. Спустя несколько минут, когда уже вполне привыкла к этим деньгам, как к своим, произнесла неуверенно, в порядке постановки проблемы: «Хорошо бы возвратить человеку». Интересно, что бы она сказала, если бы я вдруг заявил, что адрес есть… А вообще-то знаю что: растяпа. Богатенький, наверно. Что ему сто долларов?.. «Наконец-то отдам долг», — сказал я. «Угу, — сказала она. И опять замолчала. Однако на этот раз ненадолго. — Подожди, — произнесла задумчиво. — Коляску надо будет купить… Кроватку…»

Ну вот, чужой кошелек я уже присвоил, и это шаг к тому, чтобы теперь уже просто у кого-то украсть. Вот, например, стоит у двери сытенький такой, розовощекий чиновник с оттопыренным карманом. Ясно, что в кармане кошелек — толстенький и на кнопочке. Почему он улыбается? О чем думает? Может, о жене? Вряд ли. Жене в троллейбусе не улыбаются. Скорее всего, любовнице. Да-да, к любовнице едет с полным кошельком. Подойти, стать рядом. Слышал, хорошему карманнику нужны музыкальные пальцы… как у пианиста… скрипача… виолончелиста… Так, два пальца в карман… или три?.. Нет, два… Вот он, толстячок… Как его подцепить?..

— Караул! Грабят!

Нет, особые качества нужны, чтобы украсть, даже при мысли об этом испуганно бьется сердце. Интересно, среди евреев есть карманники? Или это славянская профессия? Нет, из меня карманника не получится.

Вдруг позвонила жена Вани, позвала Катю. Поначалу я прислушивался к их разговору, но скоро занялся своими делами. Необычным было лишь то, что перезванивались они обыкновенно накануне праздников, а тут праздника не предвиделось. Говорили долго, ахали-охали, порой смеялись. Особенно близкими подругами они не были и перезванивались, скорее, поддерживая нас с Ваней. Прощаясь, говорили такими сладкими голосами, будто для того, чтобы хватило ее, сладости, на полгода, до следующего звонка. Обычно мне о содержании разговора не говорила — какое такое содержание? Обычная женская болтовня, но в этот раз Катя вошла ко мне явно озадаченной и, судя по округлившимся глазам и загадочной улыбке, с некой необычной информацией.

— Знаешь, что она сообщила?.. Она тоже беременна! На третьем месяце…

Новость, конечно, была впечатляющей и затрагивала нашу с Катей жизнь: нужно отдавать долг.

«Хорошо бы купить швейную машинку, — сказала как-то Катя. — Я бы и себе что-то пошила, и маленькому». Почему-то она давно решила, что будет мальчик. «Ты умеешь шить?» — «Каждая женщина умеет». — «А знаешь, сколько стоит хорошая машинка? Лучше купить что надо». Но по глазам понял — не лучше. Ей хотелось заниматься всем этим. Нынче это была ее жизнь, которая сильно отличалась от моей. Машинка стоила, если перевести в доллары, больше сотни. Где их взять? Девяносто я уже накопил, но это не мои деньги, это — долг. «А что если попросить у кого-нибудь на пару месяцев? — предложил я. — У кого-нибудь из твоих подруг наверняка есть». — «Ты что, — отозвалась Катя. — Машинка — это… Ну что ты… Невозможно… Если ее нет, то и ладно, а если есть… Ну что ты…» Мне такое отношение было

непонятно, но я промолчал. Через несколько дней, увидев, что Катя вручную шьет халат, я решил, что выхода нет.

Надо сказать, радость ее была так велика, что хватило и на меня.

Через денек после этой покупки я пошел в гастроном и увидел Ваню. Что делать? Подойти? Сделать вид, что не замечаю? Потоптаться у какого-нибудь отдела, пока он рассчитается и уйдет?.. Еще через мгновение увидел и Стешу. С бьющимся сердцем я стоял у мясного отдела и тупо рассматривал витрину, а они не торопясь ходили вдоль полок с товарами и, кажется, намеревались гулять здесь до вечера. Интересно, сообщил он Стеше, что одолжил мне сто пятьдесят долларов? Никакого решения я не принимал, ничего, кроме позора, не чувствовал, — ноги сами понесли меня к выходу.

Заметили они меня или нет? Что подумали, если заметили? Что друг другу сказали? Что я представляю собой с их точки зрения? Да и со своей собственной?..

Я даже Кате не сказал о той встрече.

Эй, Арнольд! Прислал бы ты еще сотенку!..

Один довольно известный писатель заявил, что для творческого человека главное — умение отвлечься от повседневных будней, не позволить себе вовлечься в жизненную прозу. Больше того, писатель должен плыть против течения, в противном случае его понесет в неизвестность и выбросит где-нибудь на необитаемый берег. Но как отвлечься, если уже понесло и выбросило, и берег, на котором мы оказались с Катей, нам в самом деле плохо знаком. Мы здесь, как Робинзон с Пятницей, живем и постоянно вглядываемся в горизонт: не покажется ли спасительный кораблик?

А теперь похвалюсь (или пожалуюсь): у меня имелся чек на сто долларов, который год назад прислало некое итальянское издательство за публикацию моего рассказа. Однако в то время банки такие чеки не признавали, и голубой листок в международном конверте с «окошком» хранился просто как память. Через пару лет такая операция стала обычной, и я написал в издательство на своем жалком английском о том, что когда существовал Советский Союз, я не мог получить деньги, а теперь, когда Советского Союза нет, истек срок действия чека… И месяц спустя получил свеженький дубликат. Что у них за странная жизнь? Любая контора у нас воспользовалась бы случаем, чтобы зажать гонорарчик… Но все это было потом, а деньги нужны сейчас.

Смешная сумма 150 долларов. Люди берут кредиты или занимают друг у друга по тысяче, две, а может, и больше (дальше моя финансовая фантазия не поднимается), берут и отдают, выплачивают проценты, все как и должно быть в рыночной экономике, или точнее — нынешнего базара. Хотя случаются и проколы, не без этого. Порой очень даже драматические.

Сокурсница моей жены, Люся — красавица, умница, знаменитая своими изысканными и дорогими нарядами, да и университет закончила с красным дипломом, — когда было разрешено предпринимательство, занялась туристическим бизнесом, но то ли не хватило первоначального капитала, то ли опыта, — лодочка ее вдруг дала течь, а потом и стала черпать воду бортами… Чтобы спастись, Люся каким-то образом вышла на ростовщиков, взяла у них, видимо, немалую сумму, а когда пришло время рассчитываться, оказалась неплатежеспособной. Ее, как говорили тогда, поставили на счетчик. Тем не

менее, она снова заняла у них некую сумму, а затем и еще раз. Надо заметить, что бандиты сразу предупреждали о последствиях, так что, по их понятиям, по-бандитски, все было честно. Ставка — жизнь. Но что-то, видимо, произошло в психике женщины: оказалась неспособна оценить ситуацию и свои возможности, потеряла контроль над собой, как говорится, закусила удила и понеслась — взяла деньги еще раз. Пришел день, когда бандиты отказались ее субсидировать и потребовали рассчитаться. Пришлось продать квартиру и переехать к родителям, затем родители продали свою квартиру и уехали жить в деревню, — и все равно денег, чтобы рассчитаться, не хватало. Они с мужем решили тайно бежать из Минска, но перед тем продать мебель — с тем и пришла Люся к моей жене. Ничего в ней от былой красоты не осталось: сизое лицо в желтых пятнах, волосы колтуном, горячечные глаза, хриплый голос. За все про все просила пятьсот долларов. Диван, шкаф, хорошие стулья, два стола — письменный и столовый.

— Не надо нам ничего, — сказала Катя.

— Хороший диван венгерского гарнитура, почти новый, шкаф в прошлом году купили, письменный стол буковый… Возьмите! — просила она.

— Нет, Люся, не надо нам ничего.

— Возьми, пригодится. Хорошие вещи. Очень хорошие. Давай съездим, посмотришь. Мне больше некому предложить… Продашь кому-нибудь. У нас просто времени нет.

— Нет у меня таких денег! — воскликнула Катя.

— Сколько есть?

— Сто пятьдесят, и то не мои…

Вот как! Все же маленький загашник у нее был! Что ж, хранила она эти денежки не для себя, а для маленького, для семьи. Я не был удивлен.

— Дай сто пятьдесят и бери что хочешь! — почти кричала Люся. — Прошу тебя, умоляю! Ночью мы бежим из Минска, а денег нет… Совсем нет!

Когда-то они хорошо дружили. И в гости друг к дружке ходили-забегали, и в кино вдвоем выправлялись, оставив нас с Алесем на кухне с рукописями, а то и бутылкой водки. Познакомили их мы с Катей. Алесь тоже пописывал стихи и рассказики, как-то мы опубликовались в одном номере журнала «Нёман», и это нас сильно сблизило. Оба они уже побывали в браке, оба так ожглись, что и думать о новом союзе хоть с кем не хотели. Но по закону вежливости Алесь пошел проводить ее, а на другой день вскочил в нашу квартиру с очумелыми глазами, раскрытым ртом. «Телефон… Она… Телефон…» — бормотал на пороге. Оказалось, проводил до подъезда, а просить свидания не решился и телефон не взял. В результате всю ночь ходил вокруг ее дома. «Дайте телефон!» — «Успокойся, — сказал я. — Дадим телефон». Не прошло и четверти часа, как опять раздался звонок в дверь. Теперь на пороге стояла Люся с блуждающим взором. Катя догадалась о причине раннего визита без слов и просто открыла дверь на кухню, где мы с Алесем пили чай. Естественно, что с этих дней и началась ее с Катей дружба. Но сейчас ничего, кроме смертной тоски, не было в лице Люси. Ну а в лице Алеся — глухое смирение: пусть будет так, как предначертано в печальной Книге Судеб.

В общем, мы отдали ей сто пятьдесят долларов. Вечером я на верхнем багажнике моих «Жигулей» перевез огромный диван, затем письменный стол, съездил за стульями… Не смог забрать только шкаф. Забили барахлом всю нашу небольшую квартирку. Правда, вещи привезли в самом деле хорошие. Катя даже сказала: жаль, не забрали шкаф. Надо было забрать, а позже

продать… Впрочем, осталось многое: стол обеденный, кухонные шкафчики, двуспальная кровать.

Да, вещи кое-как разместили, но сто пятьдесят долларов — тю-тю.

Эй, Арнольд!

Животик у Кати рос не по дням, а по часам. Я сбрасывал одеяло и с удовольствием смотрел на него, поглаживал. Ей это нравилось, теперь собственная нагота ее не смущала, она улыбалась и таким образом поощряла меня. «Может, у меня будет двойня? Ты бы хотел или нет?» — «Не знаю, — отвечал я. — Уж как будет». Однако, скорее всего, не хотел: уже куплена коляска на одного ребенка, понадобится еще одна кроватка, не говоря уже о всяких пеленках-распашонках. Но будь что будет. В те времена у нас еще не определяли, один ребенок или два, мальчик или девочка. Но неужели я через полгода стану отцом, а Катя мамой? Очень интересно. И как бы странно.

Интересно, что отношение общества к беременности в разные времена разное. Сегодня женщины до последних дней никак не скрывают от взоров публики беременность, слышал я, что так же было во Франции в XVII или XVIII веке, — там даже подкладывали тряпичные куклы под пояс, чтобы показывать беременность, а вот во времена нашего детства и отрочества женщины носили просторные халаты, платья, некоторые даже специальные бандажи, чтобы не обращать на себя внимание.

Известно, отношение общества, да и родителей, к рождению ребенка тоже бывало разным, чаще всего желанным, а случалось, и нежеланным, например, в голодные годы. Нынче время относительно тех времен более-менее благополучное, голодомора все же нет и не предвидится, и родители оповещают коллег и знакомых о таком факте, устраивают посиделки («адведки», говорят у нас в Беларуси), а мужская часть — порой и пьянки после рождения первенцев. Однако нам до такого события еще надо дожить.

Позвонил мне один из бывших коллег, Сергей Бургевич, с которым мы учились в университете, не дружили, но приятельствовали, и сообщил, что в министерстве информации зарегистрирован новый журнальчик с названием «Свислочь» (кто не знает, Свислочь — это река в Минске) — глянцевый, но как будто надежный, с неплохим уставным капиталом, то есть имеется у него и не бедный спонсор. Коллектив уже набран, но, по крайней мере, одно свободное место там есть, и он уже сказал обо мне. Сергей делал неплохую карьеру, уже работал в Министерстве информации, правда, пока на первой ступеньке, но вот — чувства к бывшим сокурсникам не растерял. Назвал адрес. Ноги в руки и бегом, сказал он, что я и сделал на следующий же день. Наконец-то! — вот главная мысль того дня. Побрился, почистил ботинки, галстучек повесил… Катя с улыбкой проводила меня. Она уже была на четвертом месяце и старалась сохранять хорошее настроение. Я тоже поддерживал ее. Очень кстати подвернулась работа. Недаром говорят: все к лучшему в лучшем из миров.

Располагалась редакция в хорошем месте, транспортное сообщение удобное, я заранее прикидывал, как буду ездить, сколько времени потребуется на дорогу, если на своем авто и если на автобусе. Стояла середина июля, время отпусков, на улицах стало заметно меньше машин, тем более после девяти утра, когда все спешащие уже разъехались по своим адресам. Времени мне потребовалось примерно тридцать минут, рядом находилась просторная

парковка — все складывалось удачно, просто один к одному. Конечно, рассчитывать в нынешнее время на высокую зарплату не приходилось, как не приходилось — на аналитический журнал или государственную газету, да уж ладно, мы не гордые, главное — стабильность, торговаться не в наших характерах и не в наше время. Энергии было столько, что я не стал вызывать лифт, а поднялся на четвертый этаж, где находился кабинет главного редактора, пешком, через две ступеньки.

Вот и кабинет.

— Здравствуйте, — сказал я празднично и с юмором. — Известный советский журналист и молодой писатель Илья Шахрай. Разрешите присесть? По слухам, вы процветаете и у вас возникла перспективная вакансия. Мечтаю поработать у вас. Вот моя трудовая книжка… — И еще что-то говорил — весело и складно.

Встречаться раньше нам не приходилось. Главный был молодой, немногим старше меня — чубатый, белобрысый, довольно крупный. Глаза у него были голубые, лицо круглое — вполне располагающие черты. А смотрел он на меня, словно не понимая, но изо всех сил стараясь понять. Кажется, был он не из нашей журналистской среды. Взял трудовую книжку и сразу же возвратил.

— Как, вы сказали, ваше отчество?

— Александрович. Илья Александрович.

— Понятно. Илья Александрович, я не совсем в курсе дела. Подождите, я загляну в отдел кадров…

Он поднялся из-за стола и оказался еще крупнее, чем казалось, на полголовы выше меня. Да и старше лет на пять-семь.

Не было его довольно долго, минут, пожалуй, десять. Я успел рассмотреть и скромную обстановку кабинета, и подошел к окну полюбоваться видом. Впрочем, вид был самый обычный — большой город, выбирать не приходилось.

Долгое отсутствие меня не насторожило, главные редакторы, как правило, занятые люди. То-се. Наконец, дверь открылась. По правде, я не сразу узнал его, главного: голубые глаза стали… нет, не в глазах дело. Может быть, в цвете лица, что ли. Нет, цвет ни при чем. Что-то другое, мне непонятное. Может… Ага, наверно… Нет, не то.

— Извините, Илья Александрович, — произнес главный, — произошла ошибка. На сегодняшний день, к сожалению, вакансий в редакции нет.

Что мне оставалось делать? Взял трудовую, опустил в карман.

— Жаль, — сказал я. — Очень жаль.

— Вы, конечно, извините.

— Да ладно…

Обратно поехал на лифте. Лифт был новенький, комфортный, скоростной — жаль, что мне не пользоваться им.

Вечером мне позвонил Сергей.

— Он тебя принял за еврея, — сказал он. — Надо было показать паспорт! Я его хорошо знаю: не то что бы антисемит, а… так, на всякий случай. Система! Эхо каких-то иных времен. Я попробую объяснить ему, хотя теперь, конечно, ситуация хуже…

— Не надо ничего объяснять, — сказал я. — Я уже не хочу к ним.

— Нашел работу?

— Нашел.

Вдруг меня остановил незнакомый мужчина. Улыбался в ожидании ответной улыбки или какой-то определенной реакции и молчал. Но и я ждал.

— Что вы не приходите? — наконец произнес он. — У нас как раз начинается новый курс.

Так, зрительная память у меня всегда была неважная, но, похоже, не только зрительная? Кто этот человек? Где мы встречались? Я начал чувствовать легкое раздражение.

— Два занятия вы пропустили, но это неважно. Я вам помогу.

И я вспомнил: мы познакомились в синагоге, он преподаватель иврита. Только иврита мне сейчас не хватало! Теперь уж просто толчок неприязни почувствовал я к нему.

— Вы думаете, он мне нужен?

— Иврит? — с огромным удивлением переспросил он. — Пригодится!

Ну как же, иврит нужен всегда и всем, не сомневайтесь. И чем радушнее он улыбался, тем больше раздражался я.

— Знаете что? — неожиданно для себя сказал я. — Одолжите мне сто долларов!

О, как смутился этот, возможно, хороший человек!

— Да, да, — добивал я его, — сто долларов. А еще лучше сто пятьдесят. На полгода.

Интересно, что улыбка не сходила с его лица, но, конечно, температура ее менялась.

— Нет у вас ста долларов?

Он затряс головой, дескать, нет, нет и быть не может.

— Ну вот, а вы говорите — иврит. Ладно, на нет и суда нет. Прощайте.

Мы оба одновременно повернулись и пошагали своей дорогой. Чем-то я был доволен. Вот какой молодец.

Стыдно стало утром следующего дня.

Известно, что отношение к тогдашней перестройке — одобрительное или отрицательное — во многом зависит от поколения. Молодые — за, старые против. Но есть у меня знакомый старик, лет ему, наверно, за девяносто, однако говорливый и бодренький, так вот он — больше, чем за. То ли от возрастного легкомыслия и, следовательно, оптимизма, то ли досталось ему от советской власти, то ли просто от природного любопытства: а что будет дальше? Не хочу помирать, что-то будет, ох, что-то будет! — говорит он. Перестройка объединила или развела многих. Возникла тема, которая всех касается, и каждому есть что сказать.

Мы с Катей тоже иногда говорим обо всем этом… И если молодые люди легко и с удовольствием прощались с прошлым, то старики сопротивлялись и сдавали позиции постепенно. Сперва сдали Сталина, но за Ленина держались долго, еще дольше — за саму идею. Иные держатся до сих пор.

Советская история моей семьи довольно сложная и трудная, но сейчас не о том речь.

Конечно, наше общество остановилось и замерло на пути к новому светлому будущему, но, признаюсь, грядущая демократия страшит меня так же, как ужасает прошлое.

— Ну что, работу нашел? — частенько спрашивает меня дядя Петя, тот, который набил перловкой и макаронами антресоли, а потом завез их в деревню. — И не найдешь!

Он давно кого-то подозревает во мне, то ли демократа, то ли охлократа. При встрече всегда качает головой и произносит одну и ту же фразу: «Ох, доиграетесь!» У него четверо ребятишек, а моторный завод, где он работает дежурным слесарем, открывает свою проходную только три раза в неделю, — соответственно упала зарплата. И если прежде худо-бедно удавалось сводить концы с концами, теперь — нет. Теперь он регулярно ездит в далекую деревню, где у него остались какие-то родственники, и мешками везет оттуда картошку, бурачки, морковку. Человек он уже немолодой, лет под шестьдесят, а дети малые — женился поздно, и история его женитьбы стоит внимания.

Когда-то была у него девушка, первая его любовь. Со слезами она проводила его на армейскую службу, каждую неделю писала письма, ждала — не могла дождаться, как только демобилизовался, сразу подали заявление в ЗАГС, сразу же справили свадьбу, но тут оказалось, что молодая жена уже погуляла немножечко, объяснив ситуацию просто: так у нее и было. Утром Петя подал второе заявление — на развод. Лет десять с девушками не общался, места общения с молодежью не посещал и неожиданно для всех сделал в цеху заявление: женюсь хоть на уродине, но — честной. Несколько лет всем цехом, посмеиваясь, искали ему невесту, как говорится, с ног сбились, уже и отчаялись, он тоже рукой махнул — ну и не надо, буду жить один, как вдруг пришло сообщение из родной деревни: есть! И правда, было. Невеста оказалась, конечно, не красавица, но и не уродина. Нет, не уродина, хотя… Так ведь женщины уродинами и не бывают, в каждой что-то хорошее есть. И Петя это хорошее видел. Свадьба была на весь моторный завод, даже директор и председатель профсоюза приходили поздравить, — уже все знали его историю, хорошую материальную помощь молодой семье оказали. Ну, а скоро и детки пошли — один за другим, все мальчики — крепенькие, прожорливые. Потому дядя Петя и повторял: «Ох, доиграетесь», — сперва как бы с улыбкой, а теперь и со злостью: детей надо кормить, а вы шутки шутите, демократы поганые…

Дядя Петя при хорошей погоде выводит во двор всех своих ребят и не без превосходства поглядывает на прохожих.

— Иди сюда! — кричит, завидев меня, да хоть кого, только бы поговорить о жизни и о своих ребятах. Ну, жизнь, понятно, поганая, а ребята — да что говорить, сам смотри. Жалко — девочка не получилась. «Что значит жалко? — говорю я. — Все в твоих руках». — «Да ну, старый я». — «Старый? Вон по телевизору показывали: под семьдесят женился, хлопчика родил». — «Под семьдесят? — переспрашивает, и вижу — что-то высчитывает. — Не, поздно». Но тема такая ему приятна.

В те времена милиция еще не получила приказ гонять нищебродов, и они довольно свободно располагались в подземных переходах, спасаясь от зимней стужи. «Площадь Победы» — одна из самых оживленных в Минске станций метрополитена и возможности для сбора подаяний, наверно, лучшая в городе. Здесь, в шаговой доступности от метро, находилось издательство «Интердайджест». Порой они издавали серьезную литературу, а порой совершенно позорные порнографические романы, добытые, конечно, где-то в раскрепощенной Европе. Студенточки иняза, как могли, переводили на русский, а уж потом сотрудники находили стильредакторов, чтобы привести рукописи в относительно приличный вид. Получал и я такие рукописи, благодаря знакомому литератору, служившему там. Гонорары были ничтожные, но все же лучше, чем ничего. А голодных «стильредакторов» больше, чем рукописей, и

никто не озабочен нравственными вопросами. Посему и бывал здесь часто, надеясь на косточку с остатками мяса.

Шумные нищеброды привлекали внимание, и я заметил, что у каждого свое «обжитое» место. На одном из входов-выходов в любую погоду коленями на картонке стояла древняя старуха в невообразимых лохмотьях — ей кое-что перепадало в древнюю мужскую шапку-ушанку. Была она в рукавицах, и когда подавали, не снимая, крестилась. Входов-выходов в метро несколько, и возле каждого кто-нибудь стоял-сидел. Некий всегда пьяноватый старик, пристроившись у входа в магазинчик «Союзпечать», играл на губной гармонике, правильнее — просто издавал звуки. А порой прятал гармонику и требовательно тянул руку к прохожим, время от времени поливая матом нещедрых людей. Частенько стояли молодые люди с гитарой, подпевали, девушки пританцовывали, весело приставали к прохожим. Этим перепадало больше других. Подавали по-разному, одни, уже подходя, начинали ощупывать карманы, другие останавливались рядом и доставали кошельки, третьи проходили мимо, но вдруг замирали в пяти шагах, находили какие-то купюрки в карманах и возвращались. У всех подававших отражалось на лицах удовольствие, удовлетворение своей щедростью. Я, как правило, проходил мимо, будто не видел-не слышал, и старик с гармоникой особенно ненавистно обкладывал матом — давно приметил меня. А еще я заметил, что в конце дня к нему подходит мужик с серой вороватой рожей, забирает «инструмент», и вместе они отправляются реализовывать заработок.

Я решил, когда у меня появятся деньги, положу в шапку старухи на картонке какую-нибудь приличную сумму, чтобы успокоить совесть, а может, подам и этому матерщиннику. И добавлю что-то из тех текстов, которыми обкладывал он меня. Но на это я вряд ли решусь: все ж таки старик, а я как бы интеллигент. Однако больше всего привлекал мое внимание странный мужик, сутулый, тощий, который чуть не каждый день стоял с детской дудкой и выдувал одни и те же бессмысленные звуки, привлекая к себе внимание. Он был совсем не старый, физических недостатков, которые вызвали бы жалость, не заметно, и подавали ему мало. Он стоял в не самом удобном месте, там было темновато, и как будто нарочно подальше от потока людей. Лицо его рассмотреть не удавалось: стоял, наклонив голову, сутулясь, и только дудка да старая раскрытая сумка на земле говорили, что собирает подаяние. Что-то знакомое чудилось мне в его фигуре… Проходя мимо, я вглядывался в лицо, но голова всегда была опущена и лицо закрывала кепка с большим козырьком. Разглядеть как следует не удавалось. И все же я когда-то встречал его. Как-то даже протянул ему приличную купюру в расчете на то, что отставит свою дудку и взглянет на меня, но он лишь кивнул, не поднимая головы, и продолжал пиликать. Что за человек, что привело его сюда с дудкой?

А как-то мы с Катей шли мимо него, правда, он поменял место и теперь стоял на свету, у выхода из метро, она вдруг остановилась.

— Боже, — произнесла, — как он похож на тебя…

Похож на меня?.. Неужели я так жалко выгляжу в ее глазах?

Меня это сильно заинтересовало. Несколько дней спустя я подошел к нему.

— Привет, — сказал вполголоса, так, будто мы знакомы и даже дружны.

Я остановился так близко, что ему ничего не оставалось, как опустить свою дудку, поднять, наконец, глаза и ответить.

— Здрасс…

— Я тебе никого не напоминаю?

Он, конечно, был сильно смущен, даже испуган. Шагнул бы назад, подальше от меня, но позади стена, некуда, поэтому просто отвернул голову и глядел искоса, настороженно, словно ожидая какой-нибудь мерзейшей пакости.

— Мы с тобой не встречались раньше? Кажется мне, будто встречались. Все хожу и смотрю на тебя. А кое-кто говорит, что похожи… — Он не отвечал, но смотрел и слушал внимательно. — Тоже потерял работу? — продолжал я. — Но и здесь не заработок. Да и место ты выбрал неважное, все идут мимо. Вон там, на выходе, лучше. Или со стороны сквера. Попробуй. Это же надо! Довели людей… Пора новую революцию делать!

Лицо его становилось все более смущенным, даже виноватым. Нет, нисколько он не был похож на меня. Сильно оттопыренные уши, тонкая и тощая шея, глаза у переносицы. Вот разве нос с горбинкой и ямочка на подбородке…

— Пошел на хер, — вдруг громко произнес он.

Я и отправился. Больше его не видел.

Антисемиты, понятное дело, бывают разные. Есть такие, что пытаются определиться, вывести какой-то принцип: вот эти то-то, а эти — то. С этими можно жить, честные, а те — себе на уме. Но есть вроде моего автомобильного мастера, который всех неугодных ему людей, особенно политиков, считает, во-первых, ворами и позорными миллионерами, во-вторых, евреями, начиная от Горбачева до Обамы (Буша, Ельцина, Клинтона и вообще всех президентов, как русских, так и американских). «Обама — негр!» — говорю я ему. Пренебрежительно машет рукой, дескать, знаем мы таких негров. «Я кому хочешь правду скажу», — говорит. Впрочем, и он делает исключения: если еврей не бизнесмен, не начальник, а рядовой человек — это иное дело.

— Вот, к примеру, с тобой можно жить.

Между прочим, он офицер, отслужил в армии, в ракетных войсках, двадцать пять лет и вышел в отставку в звании майора, тогда как его сослуживцы — полковники и подполковники. «А что ты хотел?» — криво усмехается он. Дескать, кругом евреи!

— Я бы на твоем месте свой бизнес завел, — сказал он при очередной встрече.

— Торговлю? Не люблю я этого.

— Почему — торговлю? СТО устроить.

— СТО? Знаешь, какие деньги нужны на помещение, оборудование? Спроси у своего начальника.

— Все окупится, главное начать.

— Нет у меня денег!

— Есть, есть.

— Почему ты так уверен? Мне с тобой рассчитаться проблема.

— Ну так попроси у своих евреев.

— О Боже!.. Ну, допустим. И что я понимаю в технике?

— Тебе и понимать не надо. Я буду механиком, ты директором. Сиди в своей синагоге, мы будем работать…

— Антон, ты это серьезно?

Но тщетно я пытаюсь рассмотреть следы улыбки в лице. Чувство юмора у него на нуле. Даже анекдотов не понимает, разве что, опять же, о евреях или о чукчах.

Было мне и немного обидно, и интересно: что бы я чувствовал, будь похож на татарина? Или китайца? Почему мы так дорожим и даже гордимся

своей национальностью? Я — русский! Я — поляк! Я — немец! Я — еврей!.. Как будто, родившись среди какого-то народа, автоматически получаешь все его исторические заслуги, достоинства и огромные преимущества.

Но если честно, все это меня немного задевало. И вовсе не потому, что я как-то плохо отношусь к евреям, а потому что этим как бы отказывали мне в моем славянстве.

Вообще-то избавиться от антисемитизма можно, надо только вспомнить о тех ужасах, которые перенесли евреи в своей истории, особенно во время Второй мировой войны. Вот и мой мастер, когда я напоминаю об этом, умолкает: страдания целого народа что-то значат.

Несколько дней спустя я опять отправился на биржу — с видом независимым, даже горделивым, дескать, я тут из чистого любопытства, можно сказать, случайно. На стене передней комнаты висели списки требуемых профессий, люди подходили к ним и — нашли или не нашли что-то для себя — становились в очередь. Стал и я, не интересуясь, кто последний, мол, сейчас вот постою минуту и уйду. Надо сказать, очередь в этот раз была поменьше и, мне показалось, как-то повеселее. Некоторые, видимо, пришли сюда не впервые — разговаривали, даже смеялись. В очереди оказались в основном женщины, оттого стоял сорочий стрекот — каждой надо рассказать всю жизнь. Я прислушался — обычные бытовые разговоры о друзьях и знакомых, — вовсе не о том, как безнадежна жизнь. Стрекот усиливался, раздавался даже смех, так что в конце концов из приемной попросили тишины.

Мужчин было мало, несколько человек, и все они мрачно молчали. А мне было не по себе оттого, что я, молодой еще человек, не могу сам найти работу, я ничем не лучше этих стрекочущих женщин и тупо молчащих мужчин.

И что могут сказать мне в этом кабинете? Чем помочь? Кому может понадобиться безработный газетчик? Когда подошла моя очередь, я повернулся и ушел.

Нет, не безденежье того времени особо запомнилось мне и, наверно, многим, а унижение. С эти чувством ложился, просыпался, завтракал, обедал… Жил. Это же чувство видел в лицах других людей, особенно мужчин. Видимо, мужчин это чувство — унижение — поражает глубже и чаще. У женщин в любой ситуации есть оправдание: я женщина. У мужчин такого оправдания нет. Ты — мужчина? Ну и что? Что ты хочешь этим сказать?..

Звонок для воскресенья был довольно ранний, около девяти утра. Трубку взяла Катя и передала мне с видом загадочным.

— Ваня, — сказала она.

У меня тотчас испортилось настроение: попросит вернуть долг. Очень кисло стало на душе. Но ничего не поделаешь, надо отвечать.

— Алло? — вопросительно сказал я и внутренне сжался. Скукожился.

— Ты слышал? Курашов умер.

А вот представьте, я почувствовал облегчение. Нет, не облегчение, а… Но что притворяться, именно облегчение: что мне смерть однокурсника против ста долларов!

— Что случилось?

— Суицид. Застрелился.

— О Боже… Что-то у него случилось?.. Откуда у него оружие? — Ваня молчал. Впрочем, вопрос был не по существу: все можно приобрести в нынешние времена. — Когда похороны?

— Да уже похоронили… Неделю назад.

И снова я почувствовал облегчение, правда, уже по другому поводу: не надо идти хоронить, не надо притворяться: я никогда не был с ним дружен, наоборот, он был мне — а похоже, и большинству сокурсников — неприятен: во-первых, был откровенно карьерно настроен с первого курса, во-вторых, старался дружить с преподавателями и с теми студентами, что были заметны. Учился неплохо, но в аспирантуру не попал, хотя и очень стремился, ехать работать в провинциальную газету не захотел, устроился после окончания университета в общество «Знание», стал писать диссертацию. И — что-то не понял в изменившемся мире или по натуре своей не способен был понять: темой диссертации была роль комсомольской организации Мстиславщины в проведении коллективизации. Тема эта уже во времена нашего студенчества была архаичной и смешной, теперь же интересы и воззрения ученого сообщества сильно изменились — защита провалилась с треском. Спустя какое-то время он, как и многие, потерял работу… Ну, в то время это было дело обычное, сам, как говорится, таков, но, по слухам, женат был на очень красивой девочке с претензиями — возможно, в семье по причине неосуществленности надежд возникли проблемы…

— Не знаешь… причины? Может, записку оставил или что…

— Не знаю.

— Может, гибель идеи подтолкнула? — я совсем забыл, что Ваня тоже до мозга костей советский человек.

— Глупости, — сказал он сухо. — Умирают люди и общественные формации. Идеи не умирают.

А я вдруг совсем по-другому, чем прежде, увидел жизнь Курашова. Он был старше нас на пару лет, после школы в университет не поступил, пошел в армию. После службы что-то помешало подать документы, пропустил еще год… Кажется, был он из семьи многодетной, сельской… На стипендию, как известно, не проживешь, из дома помогали мало, и когда мы ходили на дискотеки, пока ухаживали за девочками, Курашов искал деньги. То есть, заработок. Ну и в оставшееся время зубрил, зубрил…

— Где похоронили?

— Не знаю. Я случайно узнал об этом. Жена, видно, никому из наших не захотела сообщать, такая смерть, что…

— Хорошо бы узнать да навестить… Кто-нибудь да знает.

— Пустое, — сказал Ваня. — Что теперь…

Похоже, и он чувствовал запоздалую вину перед Курашовым.

Как-то — и не так давно — мы встретились с ним в метро. Прежде он был неразговорчив, даже замкнут, ко мне никак не тянулся, а тут как прилип: держал меня за рукав куртки и говорил-говорил… Грохотали поезда, толкались пассажиры, я торопился и почти ничего не понимал, да и не слышал, а он говорил, говорил…

Катя всегда интересуется, кто звонит, почему. Вот и теперь внимательно вглядывалась, вслушивалась, конечно же, опасаясь, что разговор о долге, а когда рассказал, тоже обрадовалась или — успокоилась.

— Ну что вы, — сказала с ноткой праведного возмущения, — конечно, надо узнать, навестить. Как это? Нехорошо.

Конечно, главное — вернуть деньги Ваня не просил.

Признаемся: все мы забыли о Курашове на другой день. А если и вспоминали, то с какой-то досадой, саднило в душе: первая смерть среди сокурсников, а мы делаем вид, что она не касается нас. Еще как касается! Курашов ведь тоже не думал, что отлетит в вечность так скоро и таким вот способом.

Я вдруг решил, что мы с Катькой мало и редко ссоримся. Хорошо это или не очень? Может, ссоры и есть приметы нормальной семейной жизни, признак общих интересов, а постоянный мир — от равнодушия, когда, по крайней мере, для одного человека, главное, скажем, не истина, а только спокойствие и еще раз спокойствие. По такой логике, следует спровоцировать скандал и таким образом убедиться, что все в нашей жизни прекрасно.

— Скандал? — переспросила Катя, когда я поделился своими сомнениями. — Это я могу! — уверенно ответила она, и голубые глазки ее сверкнули таким огоньком, что я решил впредь таких вопросов не задавать.

А скоро произошло неожиданное, что имело косвенное отношение к этому разговору.

Катя — учительница, притом хорошая. Преподает она географию, предмет не сильно популярный в нынешние времена, тем не менее, и дисциплина на уроках, и знания у ребят на уровне. В учительском коллективе она достаточно авторитетна, поскольку совсем не глупа и вполне уживчива. Школяры тоже относились к ней неплохо, а судя по цветам, которые приносила в праздничные дни, даже любили ее — умеренно, так, как любят учителей. Однако часто, а может, и всегда, есть человек, доставляющий проблемы. Вот и у нее, кажется, в девятом классе, был такой парень, Антон Калуженец. Не спрашивая разрешения, мог встать и выйти из класса покурить, причем сигарету брал в рот уже в классе, и так же без разрешения войти, мог затеять шумную ссору с кем-либо во время урока, начисто не реагировал на замечания учителя. Мог и выразиться словами из резервов, так сказать, русского языка. «Старая …зда», — обозвал учительницу истории Анну Ефимовну — со слезами на глазах призналась она во время перерыва в учительской. Что-то подобное слышали от него и другие учителя, в том числе и Катя. Отец его в школу не являлся, к домашнему телефону не подходил, ну а мать, по-видимому, в семье права голоса не имела.

В тот день Антон Калуженец отказался пойти к карте — был урок экономической географии, а когда Катя потребовала дневник, ответил:

— А ху-ху не хо-хо? — И для ясности добавил: — А на хер мне твоя экономическая география!»

— Выйди из класса! — приказала Катя.

— Ага, побежал, — ответил и верхом сел на парту.

В классе, конечно, стояла мертвая тишина. Все знали о способностях Калуженца, но было интересно: как поведет себя учительница.

А Катя подошла к нему.

— Встань!

— Пошла ты на… — спокойно ответил тот.

И тогда Катя, может быть, неожиданно для себя, изо всей силы влепила ему оглушительную оплеуху. Антон повалился на парту, из носа хлынула кровь.

— Ты пропала, сучка пузатая, — хлюпая кровью, сказал Калуженец.

Кто имеет хотя бы косвенное отношение к школе, может догадаться, что было дальше, какие начались разбирательства и на каком уровне. Не дожидаясь окончания расследования, Катя написала заявление на увольнение. Случилось это за две недели до окончания учебного года.

Теперь мы вовсе без денег… А в самом деле, хорошо бы Арнольд прислал еще сотню зеленых америкосов. Вот только я, помнится, в благодарственном, но и гордом письме написал: «Денег нам больше не присылай».

Глядя на Катю, я часто размышляю о женщинах вообще: кто они такие? Люди или какие-то иные Божьи существа? Уж очень отличаются их — ее — мысли и поступки от наших — моих. Вспомним, к примеру, то время, когда я ухаживал за ней. Кавалеров у нее кроме меня и Арнольда было — тьма. Даже не понимаю, как я решился внедриться в эту суетливую толпу. И поначалу она просто воротила от меня свой хорошенький носик — и вдруг полюбила. За что? А просто так. Нет, не просто. Произвела оценку ситуации, с помощью некоего виртуального калькулятора в маленькой головке конвертировала одну валюту в другую и — полюбила. Раз и навсегда. Впрочем, может, и не навсегда, это нам не дано знать, поскольку ее валютный конвертор никуда не делся, просто находится в режиме ожидания, и стоит только кликнуть мышкой какой-нибудь незначительный файлик... А? Как так? Или — другой пример: Катя в юности страстно мечтала стать артисткой, но, закончив школу, не раздумывая, пошла в педагогической и стала хорошей, знающей и ответственной, учительницей. Ее любят и учителя, и ученики. Почему передумала? Внятного ответа нет, есть факт: ошибки не было. На ее открытые уроки собирались предметники всего района.

Но иной раз кажется — все не так, все наоборот: они, женщины, и правда Божьи существа — красивые, умные, добрые, старательные, а мы — в каком-то теоретическом смысле — поражение природы. Или — первая попытка Бога. Понял, что ничего хорошего не получилось, — вырвал ребро, сделал женщину, а про искалеченного мужчину забыл, бросил на произвол судьбы. Но мы выжили… Потому и тянет нас к женщинам, что чувствуем — наше ребро!

Шок после случившегося прошел нескоро. Сперва на Катю нашла говорливость, даже юмор с иронией, чем по жизни она не отличалась, затем вдруг горько расплакалась и, наконец, надолго замолчала. Я, как мог, пытался вывести ее из этого состояния, ходил с ней в кино, выбрались даже в театр, но тут-то и понял, что она не видит и не слышит, что делается на экране или на сцене, просто сидит рядом.

Почти все учителя школы побывали у нас дома. Одни советовали покаяться, другие восхищались ее поступком. И те, и другие вызывали у Кати слезы и тоску. Приходили и школьники из прославившегося класса. Рассказывали о бойкоте, который устроили Калуженцу, приносили цветы. Но прощались и — опять начинались слезы.

— Перестань, — сказал я. — К новому учебному году все забудется. Ты учительница хорошая — еще придут просить вернуться.

— Нет, — сухо ответила она. — Больше я в школу не пойду.

Начала на Катю нападать какая-то глухая задумчивость. Глухая — в том смысле, что она ничего и никого не слышала в такие минуты.

— А знаешь, уже во всех школах прорабатывали мой случай, — сказала однажды в одну из таких минут. Слышала — готовится статья в «Учительской газете»... Очень мощная фигура, оказалось, этот Калуженец… Я, наверно, уеду к родителям. Все равно здесь мне нормально жить не дадут.

— Как это уедешь? А я?

— У меня нет выхода.

— А у меня? Я тебе не позволю уехать. Да, физически. Стану на пороге и не позволю открыть дверь.

— Ты поедешь со мной.

— Здравствуйте. Я совсем не готов менять страну и гражданство. А хочешь, я убью Калуженца?

— Перестань, — сказала Катя.

И опять неожиданно разрыдалась.

— Тогда нам придется развестись.

— Тогда я убью тебя.

И Катя сквозь слезы и рыдания рассмеялась. Я обнял ее — едва ли не судороги сотрясали ее тело.

Известно, пережив неприятность, люди ищут какого-то удовлетворения. Хочется забыть и забыться или, как часто говорят, расслабиться, ну и есть малая надежда, что, отвлекшись, найдешь выход. Мы вдруг решили съездить на Белое озеро, что примерно в ста тридцати километрах от Минска. Конечно, туда и обратно — двадцать литров бензина, но, как говорится, сколько той жизни. Вот вам, наши враги и недруги, кукиш с маслом, мы живы, веселы и здоровы и уж никак не собираемся горевать.

Мы с Катей люди неверующие, но предпочитаем об этом не говорить, как бы оставляя себе дорогу к Нему. Разве мало случаев, когда человек обращается к Богу хотя бы и в конце жизни? Есть такое странное выражение применительно к вере: слабо верующий. Выражение, наверно, нелепое, но к Кате имеет прямое отношение. «А жаль, что мы с тобой не повенчались», — сказала она однажды. Понятно, венчание в те годы вошло в моду, так же как и ношение невест накануне свадьбы на руках по всяким патриотическим местам. «Да ведь ты неверующая!» — сказал я. Катя промолчала, но по лицу было понятно, что с репликой моей не согласна. Дескать, это одно, а то другое. В церковь на исповедь она не ходит, ограничения не соблюдает, но гордится тем, что крещена, и бережно хранит нательный крестик. И, конечно, считает себя верующей. «Почему бы тебе тоже не покреститься?» — предложила однажды. «Я крещеный». — «В какую веру?» — «В православие, конечно». Она с подозрением посмотрела на меня и улыбнулась: «А может, в иудейскую?» — «У иудеев нет такого обряда. Ну и как ты точно заметила, я не обрезанный». Эта тема ее интересовала, она улыбалась.

Когда-то, еще в советские времена, на третьем, кажется, курсе университета, мне выпало счастье заполучить на один день и ночь книгу Ренана об Иисусе, зачитанную и затертую до предела, попавшую сюда, скорее всего, из Европы, и с надеждой прочитал ее. Нет, мировоззрение мое она не сильно изменила, или, скажу так, после прочтения я оказался на полпути. Когда-то в моем роду были священнослужители, видно, эхо их веры перелетело ко мне через многие годы.

Однако не в этом дело, а в том, что на том же условии — день, ночь, — я дал ее Кате: как раз начал ухаживать за ней, хотелось произвести впечатление. Утром оказалось, что она книгу не открывала. Как же так? — удивился я. Мне ее дали на одни сутки! Покраснела. И впервые заинтересованно посмотрела на меня. Так что, возможно, благодаря Ренану и образовалась наша взаимность.

Конечно, не все так просто в нашей вере-безверии, не рискну причислить себя к тем или другим. И все же бывают минуты, когда страх или опасность что-то проясняют в душе. Некоторые — и даже многие — считают, что жизнь наша бессмысленна, — лично я никак с этим тоскливым мнением согласиться не могу. Это мнение — попытка приблизиться к Богу и спровоцировать на ответ, получить от Него заверение или хотя бы надежду на жизнь вечную.

Однажды мне приснилось, что умерла мать. Помню, как я ходил к городскому начальству получать разрешение похоронить на старом городском

кладбище, — она давно просила похоронить именно там, вблизи ее отца и матери, моих деда и бабки. Место для могилки хранилось давно, чтобы его не заняли, я насыпал холмик и каждый год обновлял. Помню, как оформлял какие-то документы, искал мужчин копать могилу, носил им водку с закуской, посылал телеграммы родственникам, торопливо пил чай без сахара, а мама лежала в соседней комнате, я ее еще не видел в потустороннем мире и все не решался войти. Наконец, помыл чашку, сполоснул руки — больше не было причины откладывать, с замершим сердцем остановился у двери, взялся за ручку… Сообразить сразу, что это был сон, не мог, оглядывался и не понимал, почему я здесь, почему спит Катя, где дверь в мамину комнату, почему я на постели, а когда понял, неожиданно для себя перекрестился. Оставалось позвонить матери, но было еще темно, середина ночи. Час пролежал, глядя в потолок, и как только появились признаки рассвета, пошел к телефону, снял трубку и снова неожиданно для себя перекрестился

Мне тогда в голову стали приходить мысли, от которых прежде я старался уйти, как только они возникали: а что, собственно, есть жизнь? Зачем она? Чего можно ждать от нее, да и вообще — стоит ли? Только присутствие рядом Кати отвлекало меня от таких размышлений. Такие размышления — полезное занятие в одиночестве, но никак не на кухне или в постели рядом с женщиной и не за рулем авто, когда надо следить, чтобы не пригорела картошка, чтобы радовалась жизни — или не разочаровывалась — твоя женщина, когда надо следить за дорогой, — а не рассуждать о смерти.

— Ты веришь в загробную жизнь? — спросила однажды Катя, лежа в постели. Бывают у нее такие моменты, когда вдруг потянет в мистику, и чаще всего перед сном. Меня это раздражает. Мистика неким образом ущемляет мои интересы. К примеру, после разговоров в постели о Боге и загробной жизни труднее перейти к супружеским объятиям и любви.

— Не знаю. Наверно, нет.

— А я верю. Иначе зачем все это?

— Что?

— Ну, это… — она повела головой вокруг. Потом приподняла и загляделась на свою красивую ногу.

Ага, понятно. Жалко своего тела, рук¸ ног, хорошенького носика, ушек совершенной формы. В общем, всего того, что доставляет радость в земной жизни. Мне тоже всего этого жалко, я бы тоже хотел очутиться в той новой, но ведь там мы будем парить в вольном эфире, а смотреть друг на друга ласково и равнодушно, поскольку никаких плотских радостей уже не сможем друг другу предложить. Бес полуденный останется на земле. Хорошо еще, если сохранятся в памяти воспоминания. «А помнишь, как мы целовались за городом во время грозы? Дождь лил как из ведра, мы промокли за две минуты, ты пугалась ударов грома и прижималась ко мне. Почему-то нам это очень понравилось... А помнишь, как мы собирали лесную малину, и когда оказались в непроходимых зарослях… Наверно, все это время мы думали об одном и том же, и как только я прикоснулся к тебе, ты начала опускаться на травку… Между прочим, там было много крапивы, мы оба покрылись волдырями, но сперва не чувствовали ее, а потом смеялись на весь лес. А помнишь…» В общем, будет что вспомнить в эфирном парении. С некоего времени Катя стала коротко креститься, если возникала какая-то неопределенная ситуация. Крестилась, например, услышав о какой-либо катастрофе, аварии, тяжком преступлении. «Ты же неверующая!»— возмущался я. Катя не отвечала.

Дескать, да, к сожалению, я слабо верующая, но перекреститься перед важным делом всегда хорошо. Может быть, это было связано с беременностью.

Вот и перед поездкой на Белое озеро она трижды истово осенила себя.

Поехали. День будний, людей на берегу мало, тишина — первозданная. Стройные сосны вокруг, дно — мелкий белый песок. Правда, у берега мелко, но Кате это как раз по душе, она с явным удовольствием ходила по мелководью, а я стоял на берегу, глядя на нее, и тоже наслаждался — тем, какая красота вокруг нас, тем, какая у меня прекрасная, милая, нежная жена. И такое благолепие вокруг. Разожгли мы маленький костерок, насадили на прутья ольхи кусочки сальца с хлебом… Что ж, никак не хуже, чем шашлыки из баранины, если хочется есть.

Слава в вышних Богу, и мир на земле и в человецех благоволение. Казалось бы, живи и наслаждайся, но нет… Мелкие мысли не дают покоя. Не мысли даже — мыслишки. Например, хватит ли бензина на обратный путь? Конечно, заправиться можно и по дороге, но денег у меня почти не осталось. Это и подтачивало мое праздничное настроение.

Когда неверующие люди обращаются к Богу? Когда попадают в сложное положение, будучи не в силах справиться с ним. Вот и я: не могу. У меня нет денег. Об отношении Иисуса Христа к деньгам мы знаем. Лучше помалкивать. Но не просить же у Бога бензина? И если просить все же, то сколько? Литра два-три, чтобы дотянуть до города, или уж если просить, то полный бак?

А может, попросить устроить меня на работу? Тоже смешно…

А еще мелькнула мысль попросить Его принародно наказать тех политиков, что довели меня до такой жизни, что разрушили великую страну. Да, в долгосрочной, как говорится, перспективе это было бы хорошо, но как мне жить сегодня, сейчас?

Господи, помоги! — мне казалось, что воскликнул я внутренне, но Катя испуганно спросила: что случилось? Она шла к берегу, я бы сказал, как Венера, если бы, конечно, не заметно округлившийся живот. Беременная Венера — это, конечно, не классика, а что-то иное. Но — не хуже.

— Что ты просишь? О чем ты?

— Бензина у меня мало. Может не хватить до города.

— А-а… — разочарованно протянула она. То есть подумалось ей — я взывал о спасении, воскрешении и вечной жизни, а бензин… Какая-то мелочь. Повернулась и опять пошла к воде. Потом она лежала на слабом августовском солнышке, подставив лучам живот, и никакого беспокойства не замечалось на лице. Это и вообще характерно для нее: не думать о возможных неприятностях, пока они далеко. Вот кончится бензин, станем на дороге — тогда и помолимся. Беременность еще и усугубляла эти ее черты. В конце концов я тоже отвлекся от таких размышлений — будь что будет, и заставил себя думать о другом, о действительно более важном. Смотрел на Катю, на ее живот и думал: неужели в ней в самом деле ждет своего часа маленький человечек? Как это все же удивительно, хотя и случалось-повторялось миллионы и миллиарды раз.

А все же хорошо быть безработным — никаких забот. Ну а завтра и послезавтра… Что ж, Бог даст день, Бог даст пищу.

Удивительный был день. Запомнился на всю жизнь

Что касается бензина, его хватило. Ехали хорошо, звучала приятная музыка, кажется, Джо Дассен, которого обожала Катя, успокаивала, убаюкивала. Бензина хватило. То есть, его не хватило бы, если бы… Короче, подъезжая

уже в полной темноте к Минску, я услышал крик Кати: «Ты спишь!?» И через мгновение машина ударилась в придорожный столб.

Сейчас вошло в моду слово шок. Поменялись ценники в магазине — «Я в шоке!» Обидел на работе начальник — шок! Наступили на мозоль в автобусе — шок! Но вот и истинное значение: я сидел в разбитой машине и абсолютно не понимал, что произошло.

О, сколько я видел аварий на улицах города, или по телевизору, или слышал в рассказах друзей-автомобилистов. Казалось, все это не про меня, со мной такого не будет, не может быть. Машина у меня в исправности, шины почти новые… Да, кто-то может въехать в меня, может создать аварийную ситуацию, но я — нет, я вожу авто хотя и быстро, но осторожно, и уж никак не засну за рулем.

Мы были привязаны ремнями безопасности и не пострадали. Все ж таки не зря перекрестилась Катя перед дорогой. Ну а машина… Пришлось продать на запчасти, все равно денег на ремонт не было и держать разбитую негде. Так что денежки появились… Что касается автомобиля… Что ж, автомобиль — это, собственно, баловство. Метро, автобус, троллейбус не хуже. Да и пешком хорошо.

Первым делом я возвратил долг Ване.

«Устроился на работу?» — удивился он. А когда рассказал о характере моего богатства, Ваня вдруг задумался, а потом сказал: «Ты… если такая история и появились деньги… Может, одолжишь долларов двести… Сам понимаешь, рожать скоро. Коляска нужна, кроватка…» Я с удовольствием достал кошелек. «А может, триста?» Приятное ощущение, когда небрежно вручаешь такую сумму. Чувствуешь себя человеком.

Между прочим, денежки полетели со скоростью звука. Во-первых, мы сами сделали косметический ремонт квартиры. Обои купили немецкие, то есть дорогие, поменяли раковину на кухне, купили микроволновку, хорошую ванночку для ребенка… И скоро пришло время, когда я подумал, что было бы хорошо, если бы Ваня возвратил… ну хотя бы сотню. Но даже намекнуть ему об этом я не мог. Да и где он взял бы такую сумму? Ого, сто америкосов!.. Опять пришлось идти в «Интердайджест» за сахарной косточкой. А животик у Кати рос…

— Как ты думаешь, — спросила как-то Катя, — мы с тобой не разведемся?

— Что за глупости?

Она захихикала, понимая, что — глупости. По крайней мере, пока. Тем не менее, продолжила:

— Ну, в голову тебе такое не приходило?

— Что с тобой?

Как курочка, склонив голову набок, она с улыбочкой ждала ответа.

— Развод грозит всем. Но мы еще не выполнили первую семейную программу.

— Какую?

Была да и осталась у нее эта манера: *доставать*, то есть добиваться какой-то ясности, когда, казалось бы, всем уже все ясно. Не от моего ли жалкого положения возникли у нее эти вопросы? Не от сравнения ли нашей теперешней жизни с жизнью ее более удачливых подруг? Вообще-то такие вопросы мне были знакомы. Не лучше ли, однако, просто отложить их решение на потом? Даст Бог, сами по себе станут неактуальны.

— Программа проста, — сказал я и кивнул на ее живот.

Такой ответ Катю удовлетворил. Если учесть, что женщина существо семейное и разрушение семьи для нее катастрофа, то, возможно, ради такого моего ответа и задавала свой глуповатый вопрос.

Мы с Ваней земляки, или, как говорили сто или двести лет назад, со-земцы. Но я жил в малом городке, а он в деревеньке поблизости. У меня особых музыкальных пристрастий не было, а Ваня играл сперва на гармошке, потом на баяне. И хотя был самоучкой, играл неплохо. Даже здорово. Как на мой взгляд, так на гармошке даже лучше — веселее, азартнее, хочется сказать — злее. Однако все это было в прошлом, и я очень удивился, когда узнал, что и баян, и гармошку он сохранил.

Как-то он позвонил мне и предложил встретиться: есть разговор. Когда? Да сейчас! Чем-то он был возбужден, будто что-то произошло или могло произойти. Притом — что-то хорошее. Приходи! — сказал я. Нет, давай на плотине. Ладно, давай. Мы живем недалеко друг от друга, пешком через парк, через озеро и плотину на Свислочи — двадцать минут. В общем, через четверть часа я увидел, что он уже ждет меня и от нетерпения ходит по плотине взад-вперед. Увидев меня, просто рванулся навстречу.

— Хочешь заработать? — крикнул, сжав и не отпуская мою руку. — Есть идея!

Глаза у него смеялись, горели, сверкали. Вот что значит надежда на заработок. А вы говорите — металл презренный. Однако как быстро глаза меркнут, когда идея с небес возвращается на скучную землю. Мне заранее стало грустно.

— Ну, говори.

Но Ване, видно, не хотелось вот так сразу расставаться со своей тайной. Он все улыбался и загадочно глядел на меня.

— Все гениальное просто. Если согласишься, через пару недель будешь с евриками.

— Ладно, давай.

— Едем в Германию! — произнес он. Секунду понаблюдал за моей реакцией и, предвосхищая недоумение, пояснил: — Будем просить милостыню! Будем играть в подземных переходах!

Оказалось, идею Ваня позаимствовал у соседа-музыканта, флейтиста развалившегося оркестра, который уже несколько раз ездил в Германию и всегда возвращался с деньгами.

— На баяне будешь играть?

— Ни в коем случае! Баяном никого не удивишь. Буду пилить на гармошке.

— Она у тебя сохранилась?

— Само собой.

— Ну а я тебе зачем? Как телохранитель?

— Тоже будешь играть. Будешь бить в бубен!

— Я — в бубен? Ты что?

— А ты бы хотел на скрипке?

— У тебя есть бубен?

— Да еще какой! Гремит, как цыганский оркестр!

У Вани в Берлине оказался знакомый, друг детства, живший там с семьей уже несколько лет. Он устроил нам приглашение, ну а визу получить ока-

залось несложно. В общем, два месяца спустя после нашего решения мы с Ваней оказались в Германии. У него в фанерном сундучке тульская, расписанная белыми и голубыми цветочками, гармошка, как ее называли встарь «хромка», изначально настроенная на мажорный лад, у меня в матерчатой сумке бубен.

Ну а дальше все просто: отдел по регистрации предпринимателей в городской ратуше, уплата госпошлины, и вот мы уже стоим в гулком подземном переходе недалеко от Берлинской оперы. Именно здесь, решили мы, по контрасту с классикой будем иметь успех. Вот-вот через переход повалят на спектакль зрители, Ваня растянет мехи гармошки, я подниму бубен над головой. «Топотуха» — называется номер, который мы отрепетировали в Минске. И представьте себе, мы волновались, как настоящие молодые артисты: как нас примут?

Приняли хорошо. И главное, гансики оказались не жадными. А поскольку такого чуда они не видывали, еврики потекли в футляр гармошки веселым ручейком. Ну, по крайней мере, не скучным. Конечно, порой его течение прерывалось, и тогда я вспоминал того старика, что стоял в переходе с губной гармоникой, и очень понимал, почему он сердился на меня. Порой немчики останавливались посмотреть и послушать, строго и серьезно смотрели на нас и даже аплодировали — тоже серьезно, громко, выражая не чувства, а просто одобрение. Некоторые пытались и поговорить, но, к сожалению, ничего, кроме «гутэн таг» да «гитлер капут», мы не могли произнести. Да, еще «Ауфвидерзеен»!

А однажды как вкопанный остановился перед нами мужик вполне российско-белорусского вида, уверенно спросил: «Тамбовские?» — «Нет. Из Беларуси». Разочарование отразилось в лице. «А я решил — земляки. Точно такая топотуха у нас есть. Тоже когда-то играл…» — «Хочешь попробовать?» — спросил Ваня. «Не знаю… Двадцать лет в руках не держал…» Но с интересом вскинул ремень на плечо — даже волнение отразилось в лице. Рванул! «Помогай!» — крикнул мне. И я помог. Возвращая гормошку, вздохнул: «А я, дурак, продал такую за две бутылки…» — «Немцам?» — «Почему немцам? Соседу в Тамбове. Немцам она триста лет не надо. Такой народ». — «Как тут жизнь?» — спросил Ваня. «Да нормально». — «Как сюда попал? Фольксдойч?» — «Не, женка немка». — «Ого, — сказал Ваня, — выгодно женился». — «Да я и не знал, пока не пришли расписываться. Может, и не женился, если б знал». — «Значит, надоела женка». — «Не, она хорошая. Как русская. Немцы мне надоели». — «Ну так поезжай в Тамбов». — «Ага, поедешь…» — невнятно ответил он. На этом дружески распрощались.

Каждый день мы меняли место наших гастролей, выбирая, как правило, подземные переходы в людных местах. Комише опер, Немецкая опера… А вот репертуар не меняли: «Топотуха» особенно нравилась аборигенам. В подземных переходах она гремела как симфонический оркестр. Отныне и навсегда бубен — мой любимый музыкальный инструмент.

«Представь, сколько бы мы заработали в Израиле! — воскликнул Ваня, когда мы подбили баланс. — Сколько там наших страдает от ностальгии!..»

Через неделю жены встречали нас, как князей из добычливого похода. Однако больше в Берлин не ездили: убедились, что это тяжелый труд — собирать милостыню. Кроме того, квартира хозяев, у которых остановились, была двухкомнатная. В одной комнате — дети, два мальчика-погодки, во второй родители. Нам пришлось спать на полу в кухне. Приняли нас хорошо, друг детства поставил на стол половину бутылки русской водки, супруга пожарила

яичницу, улыбалась… Особенно радовались дети — не часто теперь в их доме бывали гости. Нет, не часто… Мы тоже привезли бутылку водки, но… Пили они уже по-немецки — после еды. По рюмочке. Аккуратно так, тихо. Шуметь там особо нельзя — не Беларусь, не Россия. Думаю, за несколько дней мы им надоели, как в Смутное время московитам ляхи. Или как польские паны белорусам. Николай, друг Вани, работал автослесарем на СТО, жена его посудницей в кафе, поднимались они рано, собирались и завтракали торопливо, а тут мы на полу кухни… А вот дети были в восторге: «Мы тоже хотим на полу!»

Так что почти ничего в Берлине, в «Афинах на Шпрее», не видели. Красоты немецкой столицы не для нас. Побывали мы, кроме подземных переходов, только в Грюневальде да у Бранденбургских ворот. Хотели побывать в канцелярии Гитлера, да пожалели денег. Было бы на что…

В роддом мы поехали на троллейбусе. Что ж, не так давно рожениц возили на телегах. Чем мы лучше? Доехали благополучно, хотя схватки уже начались и учащались. В общем, успели. Катя умница, держалась она молодцом, а в двери отделения оглянулась и улыбнулась мне. Знали бы вы, какая у нее улыбка!

Конечно, роды не бывают легкими. Недаром сказано: в муках будешь рожать детей своих… Досталось и Кате. Мальчик родился хороший, крепкий, горластый. И как ни странно, у него с рождения был ясный, осмысленный взгляд. Наверно, сразу заинтересовался миром, в который попал. Вот только нравится он тебе или нет, не имеет никакого значения. Будешь в нем жить, может, наслаждаться, а может, и проклинать. Все зависит от того, каким мы его оставим тебе.

А на работу я все же устроился. Куда бы вы думали? В журнал «Свислочь!» Вскоре после того, как родили наши с Ваней жены, мне снова позвонил Сергей Бургевич: совесть не давала ему покоя. Но теперь он встретил меня у редакции, и мы вместе пошли к главному. Крепко пожали руки, смущенно посмеивались, глядя друг на друга. И — в отдел кадров. Закончив трудоустройство, мы с Сергеем заглянули в кафе «Сытый папа», что на Комаровке, выпили по кружке пива и, удовлетворенные текущим днем, простились. Чувство было такое, что мир — кряхтя и мучаясь — начал медленно самоорганизовываться. Политики наверняка думают, что это их заслуга. На самом деле ничьей заслуги нет. Просто старательно преодолеваем беды, которые они раз за разом на нас обрушивают.

Возвращался домой я в хорошем настроении, предвкушая, как сообщу обо всем Кате, — она не знала, чего мне звонил Сергей и куда я отправился, нацепив галстук.

…И тут увидел тех ребят из Шабанов, которых подвозил когда-то. Веселенькие они были, пьяноватые.

— Глянь, хлопцы, — сказал один из них, — наш жидок!

Он кинулся ко мне и губастым ртом мокро расцеловал в губы.





Михаил ПОЗДНЯКОВ

Иной мне истины не надо

* * *

Приеду я домой и ахну:
Сирень цветет, сиренью пахнет.
Под белым облаком сирени
Дома как будто в белой пене.
Все в белом — на крыльце и крыше,
Сиренью вся округа дышит.
Пропахли запахом сирени
И луг, и женские колени…
О, диво дивное! Родная!
Когда мы свидимся — не знаю…
Как жаль, что нет тебя со мною
Ночной сиреневой порою…

* * *

Дарите, дарите любимым
Цветов луговых благодать,
Черемуху с розовым дымом,
Озер соловьиную гладь.

Дарите любимым, дарите
Прохладу мелодий лесных,
Звезду, утонувшую в жите,
Улыбку — одну на двоих.

Не камни дарите, не злато,
А то, что не купишь никак:
Росинку в кувшинке щербатой,
Березовый вешний сквозняк.

Дарите полет журавлиный,
Криничных лугов доброту,
Багряные гроздья рябины,
Сады в белоснежном цвету.

Дарите… Пусть небо утонет
В глазах, что верны до конца.
Дарите сердца и ладони…
Сердца и ладони… Сердца…

* * *

Я вернулся, мама!
Как огромен свет!
Я счастливый самый —
Мне семнадцать лет.

Мама — молодая,
Сч***а***стливы глаза.
На плечо спадает
Русая коса.

Аромат медовый
Отчей стороны…
Все здесь родниково —
Помыслы и сны.

Здесь янтарны росы,
И в купель зари
Катятся с откоса
Эти янтари.

Терпко пахнет мята…
Не солгав, скажу,
Что в родную хату,
Будто в Храм, вхожу.

Ночью ж сон упрямо
Снится — я босой,
А навстречу мама
С русою косой.

* * *

Приедь, я покажу тебе края,
Где выше окон выросла крапива,
Где только эхо, грусти не тая,
На голос мой ответит сиротливо…

Где лозняком захвачены сады,
Где правит одичавшая природа,

Где рушатся колодцы без воды,
Где ты… Душа… И таинство восхода…

А воздух! — хоть в бокалы наливай,
Июльский свет светлей любой светлыни…
Приедь… Я покажу не край, а рай,
Где боль моя нахлынет и отхлынет…

* * *

Молодик неугомонный…
Сад заброшен… Грустный вид…
Клен слабеющую крону
Над хатенкою клон***и***т.

Лишь сова за дальней ивой
Все хохочет сквозь года,
И дворняга ей лениво
Отвечает иногда…

По деревне опустелой,
Где три хаты на версту,
Редким путником несмелым,
Растревоженный, иду.

Тьма колючая такая!
И деревня ей под стать,
Всё меня не замечает
Иль не хочет замечать…

Обогну родную хату,
Погляжу за окоем,
И запл***а***чу виновато
Об Отечестве своем.

Вечером

Вечер июльский.
Соцветий бальзамный настой.
Тени на луг опустились
легко и дремотно.
Горло грачи все полощут
целебной росой.
Тихий туман
расстилает вдоль речки полотна.

Небо на западе
розовый цедит сироп.
Песню завел соловей
о любви позабытой.
Вспомнились мама
и мамин душистый укроп,
вспомнился ветер,
колышущий спелое жито.

Ночь наплывает
на лес, на округу, на дол.
Всходит луна,
будто кошка, лениво мигая…
Ветви колышутся…
Кто-то незримый прошел
вдаль с фонарем
и звезду за звездой зажигает…

Мраморное море

Такое позабыть непросто —
Теперь забудется нескоро,
Как, будто парус, светлый остров
Парил средь синего простора.

Негромко музыка звучала —
Светло, торжественно и нежно,
И с морем нас соединяла,
С его простором безмятежным.

А сердце чайкой белокрылой
Парило, мучилось, летело…
И вновь от счастья голосило,
И в волны броситься хотело.

Чтоб ими тешиться от страсти,
Чтоб в душах оживали звуки —
Недолгой музыкою счастья
Средь вечной музыки разлуки.

* * *

…О смерти говорить не будем,
Сегодня я о доброте.

Я все раздам хорошим людям
На жизнь венчающей черте.

Все, чтобы сыном быть Отчизне,
А маме — шустрым огольцом.
Друзьям — надежным другом в жизни,
Домашним — мужем и отцом.

И недругам не пожелаю
Ни горя, ни беды, ни слез.
Пусть дружба ширится — святая,
Как шелест утренних берез.

Все так… Я не смогу иначе,
Иначе — жизнь не благодать.
И чем я делаюсь богаче,
Тем больше хочется отдать!

Улыбку попрошу в награду,
Надежду… Больше ничего.
Иной мне истины не надо,
Я — счастлив… Только и всего…

Перевод с белорусского
Анатолия АВРУТИНА.





Михаил ЛУЧИЦКИЙ

«Решайте сами…»

Непридуманная история

Позвонила следователь Надежда Валерьевна. Мягким, почти ласковым голосом сообщила, что закрывает дело по статье 339-й, часть вторая, возбужденное в отношении меня. Я обрадовался и поинтересовался:

— Решили «помиловать»?

— Дело ваше бесперспективное для суда!

Вот когда приятно оказаться бесперспективным аутсайдером.

А было так. Ехал с вечерней тренировки, хотя, правильнее сказать, с работы, я ведь тренер, а не спортсмен. Около полуночи. Пока парни доработают на мешках, пока сходят в душ, — короче, в метро захожу примерно в это время. Пришел поезд. Я сел на скамью в вагоне и собирался мирно подремать. Какое там! Пятничный вечер. Двое хмельных задирали пожилую женщину. Один снимал на телефон, а другой куражился. Покажет средний палец, высунет язык и заблеет, как баран, а еще притворится: изображает неудержимый приступ тошноты, и матом, конечно, густо сыплет. Я в первые мгновения подумал: умственно отсталый сын немолодой женщины расшалился. Зачем только второй молодой человек снимает происходящее? Люди в вагоне вели себя, как у нас и принято: безучастно соблюдали нейтралитет. Да и сама женщина сохраняла спокойствие, словно «чем бы дитя ни тешилось». Дитя, впрочем, здоровенный детина, к тому, что его игнорируют, не привык — начал прицельно плевать в сторону жертвы. Женщина попыталась встать, и тогда «дитя» подскочило к ней, уселось рядом и, прижав плечом, не позволяло уйти. Что-то не укладывалось в схему «провожатая с инвалидом». Я подошел:

— Это ваш родственник?

Женщина посмотрела на меня с удивлением: кому-то есть дело до происходящего. Большую часть жизни я провел в залах единоборств. Во мне метр девяносто роста, девяносто с хвостиком веса, и чаще всего распоясавшаяся гопота меня пугается и начинает демонстрировать более-менее приличное поведение.

— Я его первый раз вижу, — ответила женщина.

Я хотел ухватить хулигана за ухо, но не потребовалось. Он шмыгнул на скамейку напротив. Под бочок к дружку, который продолжал снимать. Инцидент, вроде, исчерпан, я намеревался удалиться, но «оператор» пнул меня ботинком в колено:

— Чего ты лезешь? Мы же тебя не трогаем!

Слышите эту абсолютную уверенность: никто не имеет права вторгаться в его частное, личное свинство.

Колено отозвалось тягучей болью, и я назвал брыкающегося молодца парой заслуженных определений. Он вскочил и попытался меня повалить.

Я ударил… Бить, когда ухватили для броска через бедро (пусть и неумелого), не очень удобно, но «борцу» вполне хватило — свернулся калачиком на полу. Тем временем подскочило «дитя». Попытался ударить. Я успел раньше. Не слишком удачно, но грозе пожилых женщин оказалось достаточно. Его развернуло и бросило на четвереньки. Удобное положение для воспитательного пендаля. Я не удержался и впечатал ногой по широкой пятой точке.

Предположил: конфликт разрешен. Сел на свое место. Немного отлежавшись, хулиганы, заползли на сиденье и удивительным образом сделались похожи на промокших под дождем ушастых кроликов. Куда подевалась удаль?

— Чего ты на людей бросаешься? Сейчас милицию вызову! — нашел способ отомстить кролик-оператор и начал нажимать кнопки на телефоне. Перспектива попасть в милицию меня не радовала, но и не пугала. Публичности не боюсь, даже наоборот, но в тот вечер подумалось: съемку «папарацци» может выложить на ютюб с какими-нибудь, по его разуму, комментариями. Пришлось встать и пройти дальше по вагону. Подумал: выйду на станции, подожду следующего поезда.

Повернулся спиной я зря. Можно сказать, спровоцировал. Ударить он не осмелился, но так рванул капюшон моей куртки, что затрещала ткань. Рефлекторно я оттолкнулся от пола ногой, раскрутился против часовой стрелки и…

Может быть, я не повзрослел, остался в душе подростком, но нравится мне момент запуска в полет тела наглеца. Его приятель проявил благоразумие и подходить ко мне не решился. Открылись двери вагона, и я ушел. Домой доехал на троллейбусе — дольше, но думается хорошо и настроение философичное. В частности, приходит на ум: если бы один из пяти мужиков в нашей стране следовал обычаю делать замечание хулиганам, то вместе со мной к распоясавшейся парочке в вагоне подошли бы еще четверо дядек. Думается, при таком раскладе «праздничный» террор по пятницам был бы невозможен в принципе.

Две недели я жил спокойно, а потом меня арестовали. До сих пор загадка, как меня нашли. Брали, будто Аль Капоне: прямо на утреннюю тренировку вошли семь человек в штатском. У двоих куртки расстегнуты, чтобы просматривались ремни кобуры. Показали красненькую книжечку и предложили: пройдемте! На улице возле крыльца детско-юношеской школы олимпийского резерва покуривали еще трое правоохранителей. Двое в импозантной камуфляжной форме, один — с автоматом, укороченным вариантом легендарного «калаша». Короче, если абстрагироваться от того, что меня арестовывали, таким задержанием можно гордиться. Пока везли, я почему-то не решался спросить: а за что, собственно? Про двухнедельной давности эпизод в метро я и думать не думал. Ну дал по физиономии кому следовало, так из-за этого две — ДВЕ! — машины милиции гонять? Я искренне удивился, когда выяснилось: операция «Схватить дракона» — из-за той стычки в вагоне. Вины за собой или угрызений совести я не чувствовал. Но уже через несколько минут стало как-то тревожно: та самая 339-я, часть вторая… До пяти лет лишения свободы… Дело возбуждено, и обратного хода нет…

Начальник следственной части, высокий, интеллигентного вида офицер со шрамом на лице, похожим на отметину от бандитской пули, но полученным, скорее всего, в детстве на хоккейной площадке, оказался моим тезкой. Тоже Михаил Александрович. Диалог у нас получился подчеркнуто вежливый.

— Ну расскажите, Михаил Александрович, как вы избиваете граждан в метро.

— Простите, Михаил Александрович, не избиваю, а восстанавливаю общественный порядок.

Даже приятно было бы общаться, если забыть, что я уже не просто задержанный, а подозреваемый, и вероятно, через пару часов перейду в следующую категорию — арестованный. А тезка, служитель закона, полез в компьютер и вытащил на свет мою не самую благонадежную биографию. Судим в 94-м, избил гражданина Сергеева. Судим в 2008-м, нанес телесные повреждения гражданину Виноградову С. А. Оштрафован в 2011-м за переход улицы Мазурова на красный свет светофора.

— Судя по вашему жизненному пути, вам нравится бить людей. И навыки профессиональные помогают, да? — спросил офицер милиции, и теперь я думаю: это ловко и профессионально, психологически тонко просчитанный вопрос. Во всяком случае, меня чего-то прорвало на откровения. Меня не перебивали, только чуть-чуть подзуживали уточняющими вопросами. И я выдал себя с головой. И как бил этих двоих в метро. И того, в 94-м. И следующего, в 2008-м. И про тех, кого бил, а до милиции дело не доходило. Под вежливым, одобряющим взглядом интеллигентного тезки выложил теорию: если не я, то кто же! И учеников учу тому же. И полагаю, если бы кто-то из моих пацанов застал уродов, оскорблявших пожилую женщину, то уродам досталось бы больше. Можно простить человеку тупость, бесхарактерность, эгоизм, но хамство идейное, демонстративное, прощать нельзя. И… вдруг я понял, что наговорил уже слишком много, и опомнился.

— Только для протокола я это повторять не буду!

Михаил Александрович понимающе кивнул и передал меня с рук на руки следователю Надежде Валерьевне. Надежда мне понравилась. Милая девушка лет около тридцати показалась не строгой. Когда в объяснениях я дошел до места, где «олигофрен» упал на карачки, а я прописал ему ногой, она спросила:

— Куда вы его били? В какую область тела?

Я не сразу подобрал слова:

— В область ягодиц!

Следователь рассмеялась, и я подумал: Надежда на моей стороне. Но, записав показания, она передала меня оперативникам, которые отобрали ремень, шнурки, ключи и сообщили радостную весть: раз я не хочу подписывать признательные показания, то придется мне ехать на Окрестина. Для тех, кто не знает, на улице Окрестина в Минске расположен изолятор временного содержания — ИВС. Туда сгружают бомжей, алкашей и таких, как я, на трое суток. Почему-то не верилось, что меня всерьез хотят везти в столь неприятное место. Постращают и отпустят, был уверен я, но для виду притворялся, будто впал в глубокую депрессию.

— Эх, жаль тебя! — сочувствовал невысокий, полненький и добродушный оперативник, а его коллега, повыше и крепкий (я про себя отметил: неплохо боксировал бы на средней дистанции), принимал участие в моей судьбе конструктивно:

— Надо тебе к зэкам? Подпиши признание и иди домой под подписку!

Имелась в виду подписка о невыезде, но я, хоть к зэкам не хотел, признавать себя виновным не соглашался. В кабинет вошел мой интеллигентный тезка и любезно поинтересовался:

— Ну, Михаил Александрович, собираетесь на Окрестина?

Я решил выпросить свободу:

— Завтра пообещал дочке сходить в дельфинарий. Отпустите на выходные. Я в понедельник, с самого утра, на ваше ИВС приеду. Честно!

Оперативники рассмеялись моей наивной наглости. Тезка-офицер улыбнулся и, промолчав, ушел. Опись изъятых вещей закончили, и осталось дождаться машины, которая отвезет меня «к зэкам». Через полчаса опять заглянул на минутку начальник следственной части.

— Не сознаетесь, Михаил Александрович?

— Не в чем мне сознаваться. Я одернул хулиганов.

Еще минут сорок ждали машину. Меня по-прежнему убеждали избавить самого себя от ареста, а я гадал: неужели в самом деле арестуют? Затем пришла Надежда Валерьевна и опять забрала меня под свою опеку.

— Вам повезло! — сказала следователь. — Начальник решил отпустить!

Я слепил несказанно обрадованный вид, а про себя подумал: я — стреляный воробей и прозорливый, легко догадался, что меня только стращали отправкой на ИВС.

На очную ставку с потерпевшим меня вызвали по телефону. Во вторник к пяти часам вечера. Жена с тревогой спросила:

— Тебя точно не заберут?

Я усмехнулся:

— Конечно, нет! Если бы хотели забрать, забрали бы еще в пятницу!

Поехал на очную ставку с мыслями: обернусь за час или надо отменять вечернюю тренировку?

Показания главный потерпевший давал приглаженные. Вид имел — несчастная овечка. Да, отмечали с другом что-то планетарно-значимое, светлое и общечеловеческое. Да! — случился у них словесный конфликт со склочной женщиной в вагоне метро. С кем не бывает, и ненаказуемо. Со скандалисткой, которая сама их оскорбляла, вели мирные переговоры, когда на них без объявления войны напал агрессивный отморозок. Повалил законопослушных граждан на пол. По попе ногой ударил. Маньяк!

Глаза у потерпевших честные-честные. Прямо хочется прослезиться. У следователя Надежды Валерьевны ресницы, впрочем, остались сухими, но на ИВС она меня все же отправила. Так положено. Такой «орднунг».

Даже не знаю, нужно ли рассказывать о трех днях за решеткой? Написано про остроги море-океан. Хотелось бы порадовать вас байкой, как я раскидал по нарам и под нары дюжину уголовников, но ничего такого не было. Арестованные круглосуточно под видеонаблюдением, и никто никого бить не рвется. Скука — главное впечатление от камеры. За любое незначительное происшествие отяжелевший мозг цепляется как за СОБЫТИЕ.

Откроется окошко в двери камеры, послышится голос женщины — раздатчицы пищи, и все шеи вытягиваются на ее зов.

— Товарищи бандиты, кушать! Давайте мисочки-тарелочки!

И один за одним все сунутся поглазеть через амбразурку, кто к нам с таким шутливым участием. Голос с полесскими нотками. Каши на добавку предложит, но вот беда — лица не углядеть, в окошко виден лишь белый фартук и грудь, закрытая, но такая, что любому арестанту сниться будет. Я поддался заразному желанию поглазеть на раздатчицу на третьи сутки.

Задержанные помоложе или бывалые урки в первый же день осваивают нехитрую тюремную радость. И кто-нибудь обязательно начнет врать о женщинах. Пусть врет — главное, чтоб не занудно. И женщины в арестантских байках все щедрые телом и лаской. Мужика своего непутевого на руках носят. Денег не просят. А если и просят, так ему же на выпивку и тратят. И любят его, любят. Исступленно.

Смотришь на рассказчика — сорок лет, семь судимостей, сто шестьдесят сантиметров ростом, киллограмчиков пятьдесят весом. Сухой и кривенький. Синий весь и от татуировок, и от жизни бесцветной, а тоже вот — герой-любовник. Врет. Врет беззастенчиво про свои похождения. А может — кто его знает?.. Может, и были у него Гали и Вали из тех баб, чьи души жаждут охватить заботой какого-нибудь сухонького и кривенького, церковными куполами разрисованного.

Слушаешь зэка, и не хочется его обрывать. Здесь, на нарах, жизнь с той стороны решетки, где можно встретиться с женой или даже с посторонней женщиной переглянуться в автобусе, где дочку можно обнять, майку свежую надеть, кашу не есть, в кино сходить, куда хочешь сходить! — кажется призрачной, небывалой, словно и не со мной случившейся. Потому что со мной — человеком рассудительным, такая неприятность случиться не могла. С кем угодно могла, а со мной не могла — нет. Как меня угораздило? И в сотый раз отожмешься от пола тридцатку, качнешь на обеденной лавке пресс, уцепишься пальцами за прутья вентиляционной щели, подтянешься раз шесть-семь — больше трудно, пальцы режет, — и все равно не отвлечешься, буравят череп мысли: «Как угораздило!?»

Ну, в девяносто четвертом понятно. Двадцать два исполнилось. Мозг зеленый. На остановке балбес какой-то тряс девчонку. Как не вступиться? Тем более, совсем недавно, сдал экзамен на черный пояс карате — до Фудокан. На чемпионате республики занял второе место. Занял бы первое, если бы не дисквалифицировали за нечаянное контактное касание в лицо.

Влез. У потерпевшего побоев особых не было, но был папа со связями. Грозило мне много лет. На размышления. Симпатичная оказалась продавщицей, работницей потерпевшего, и показания на суде давала очень удобные стороне обвинения. Помню, как ушами начинаешь ощущать стук своего же сердца, когда прокурор запрашивает для тебя невероятный срок, да еще почему-то с конфискацией имущества. Имущество — бог с ним, ничего еще тогда, кроме черного пояса, не нажил, но жизни, кажется, больше нет и не будет. Судья оставила меня на свободе. У меня от радости даже не нашлось слов, чтобы ее поблагодарить. А ведь я действительно был не прав. Хотел выпендриться перед девчонкой.

В две тысячи восьмом… Долго рассказывать. Был повод, была причина, но… Лучше сразу признаюсь: виноват.

* * *

А вот в метро, с «каманчами», нет на моей совести греха. Слово «хулиган», кстати, для этих двоих звучит мягковато, словно несмышленыши. Олигофрену оказалось тридцать один год, работает программистом, оператору двадцать девять, инженер. Не малолетки, не безработные пьянчуги, образованные молодые мужчины в полном расцвете сил и обаяния.

Они наверняка поведали о случившемся друзьям, коллегам по работе, родным. Друзья и родня инженера и айтишника возмущались склочной женщиной, проклинали отморозка, желали ему — мне, то бишь, — самого плохого. А своим сопереживали, своих понимали, жалели и оправдывали.

Меня на работе дружно полюбили женщины — бухгалтерия и методистки. Прежде чехвостили за непорядок в отчетных планах педагогической работы. Теперь дамы, широко раскрыв глаза, слушали повесть о разборке в метро и приглашали пить чай. Ну, а мужики в нашем СДЮШОР так же дружно и сплоченно меня осудили. Почти все в прошлом мастера спорта, — единодушно решили: я дурак и сам виноват. Каждый вспомнил пару историй с печальным финалом о том, как знакомый влез заступиться за кого-то, а в результате срок в тюрьме. И все знают, как правильно поступить в подобной ситуации: сидеть, затаившись, снять происходящее на видео, нажать кнопку связи с машинистом и нашептать туда, в каком вагоне дебош, пригласить милицию. Грамотно и по-взрослому. Однако, если вокруг столько знающих мужчин, почему в том вагоне никто не нажал кнопку «тревога»?.. Умные исполняют первый пункт — затаиться, а дальше не идут. Понятно, умный в гору не пойдет. Тем более, если есть вероятность маленькой трехсуточной Голгофы.

А на Окрестина люди в форме ведут себя, за редким исключением, похамски. Рук не распускают — запрещено, но словесно казнят и бичуют всех подряд. Настоящей злости нет, просто так заведено. Ну и контингент подопечных у здешней охраны действительно располагает материться.

«Боба Марли» завели в камеру ночью. Перепуганный, он встал посреди «хаты» и еле слышно выдал: «Здра-а-а-сссе». Я не спал, восхищаясь циклопическим храпом тщедушного Вовчика. Остальные арестанты, похоже, и не такие концерты пережили — дрыхли себе.

— Вон свободная койка! Ложись! — показал я «растаману» и, чтобы он перестал дрожать, добавил: «Не бойся, нормальные здесь люди». Сказал и задумался: нормальные ли? Я, понятно, — отморозок. Про меня говорить нечего. Вовчик — судимостей, как у помойного кота проплешин. Феноменальная память, где, в каком году и сколько выпили с корешами. Имена корешей, правда, помнит не всегда. В шашки играет как бог. Говорит: в шахматы еще лучше, но из хлебного мякиша коня, ферзя и ладью не вылепишь. В тюрьмах шахматы разрешены, на ИВС запрещены. Еще один сиделец — Павлуха. Шестьдесят два года. На вид — все двести, но представляется не Павел с отчеством, а «Павлуха». Шепелявит, как доисторический патефон. Вставную челюсть, видимо, потерял, и когда рассказывает свою жизнь — чтобы разобрать, надо постараться.

Здесь многие ищут соломинку, за которую ухватиться. Олежка — добродушный парень двадцати шести лет. Простое лицо и крепкие, литые руки. Водитель-дальнобойщик. У него соломинка — адвокат. Олежка на Окрестина уже неделю. Юристу-защитнику родственники заплатили полтысячи, если перевести в баксы, а защитник ни разу клиента не навестил. У Олега запутанная история: отправился в рейс на своей фуре, но с прицепом фирмы-заказчицы. Привез из Испании помидоры, а фирмы нет — лопнула. Помидоры пристроил, а куда деть прицеп? Оставил себе. Через год бывший хозяин фирмы-пузыря написал заявление в милицию. Олег знать не знал, кому сдать злополучный прицеп, но незнание не освобождает: статья у дальнобойщика такая, что моя 339-я — цветочки.

Сидим впятером. Некурящий один я. Дым туманом плавает по камере, глаза режет. Сок в пакетах передавать на ИВС нельзя, а сигареты — сколько угодно.

Каждый день перекидывают постояльцев из камеры в камеру. Зачем? Не совсем понятно, но переезды нервируют. Только привыкнешь к шепелявому Павлику, только собрался сыграть с Вовчиком хотя бы вничью или в сотый раз обыграть Олежку, а тут — переселение. В новой камере новые люди. Как встретят? Сойдешься ли? Так или иначе сходишься, конечно. Воровать тут нечего, и воры не вызывают отторжения. Мелкому наркоторговцу Альберту сочувствуешь, представляя, какой срок его ждет. А ведь на воле, там, на чистых улицах родного Минска, повстречал бы такого, продающего спайс, — не знаю, как бы я поступил, но добрых чувств не ощутил бы точно.

Уркаганы, вроде Вовчика, особый случай. Он не считает никого себе ровней, но без него жизнь в камере стала бы тяжелей. Ноги можно обуть в целлофановые пакеты тем, у кого забрали обувь из-за металлических супинаторов, и много других советов, до которых сам бы доходил век, синий зэк выдаст в пару минут. Не по доброте и не с участием, скорее из рисовки пройденными «университетами», но без подсказок трудно. Перед тем как его переселили в другую камеру, Вовчик шепнул мне и Олегу-дальнобойщику:

— Вы тока синим не верьте. Кто за свои ходки трет и пальцы веером — стопудово под ментами. Все куму доложит.

И Вовчик выдает величайшую тайну мироздания, что «нормальных пацанов» в лагерях мало, почти все «стучат». И следующий после Вовы «синий» — Деня, тоже проникся доверием и сообщил: зэкам доверять нельзя — почти никому.

Потом меня самого перекинули в другую «хату», где повстречался мне «заслуженный» уголовник Саня Труба. Труба, как я понял, — прозвище. В молодости он занимался боксом, и это нас слегка породнило. За день в камере Саня вызнал подробности моего дела, а затем тоже поделился откровением: арестантам ничего рассказывать нельзя — ссученные через одного, «шестерят» милиции.

Как же они живут годами в одной камере, каждый считая остальных врагами и предателями?! За слово, за взгляд, за ничтожный промах в правилах, прописанных тюремной традицией, — жестокая и унизительная кара. А после нескольких лет заключения бывший зэк выносит привычки в мир, который считает враждебным, которого боится и жить в котором не умеет.

Через трое суток на Окрестина я освободился. Дома ждали новости. В «Детской академии» преподавательница английского поставила моей доче Яне оценку «exellent». Жена Александра разбила в среду тарелку и порезалась. А еще ей надо менять масло в машине. Кот Барсик повадился лазать по шторам, и я теперь должен следить, вовремя альпиниста снимать и делать ему внушение.

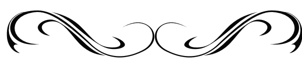
Дома много разного случилось. А я за три дня потерял способность совместить себя с этой круговертью. Барсик и шторы, машинное масло и гордая оценка по английскому дочери — не сразу стало опять частью моей жизни. Два или три дня я следил за попытками кота-диверсанта прорваться к вожделенной высоте, ходил в магазин за молоком, мыл посуду, выполнял с дочей задание по предмету «Окно в мир» — исполнял возлагаемые на

меня домашние дела, не совсем улавливая связь между магазином, кухней и обедом. Не понимая, где мостик между похвалами девушки из «Детской академии» и будущей карьерой моей шестилетней дочери. Дочка пока размышляет, кем же она будет, когда вырастет, — хирургом, дрессировщицей хищников или русалкой, а мне два или три дня казалось удивительным, что пропитание не просовывают в окошко металлической двери, а снимают с плиты.

Еще месяц я жил на нервах, но оказался бесперспективным для суда. Работа помогла поскорее вернуться к нормальной жизни. Парней надо готовить к соревнованиям. Пришли два новичка. Оба с характером и со способностями к драке. Мне недосуг думать о «ходке», но, как я понимаю, многие, однажды оказавшись за решеткой, не смогут уже никогда выстроить в уме простую логическую цепочку «работа — зарплата — ужин дома» или «занятия с дочерью (сыном) — хорошая оценка ребенка — перед сном дочка обнимает тебя».

Ученики-спортсмены, конечно, расспрашивали, как там за решеткой. За несколько минут перед или после тренировки трудно передать главное: страшны не наручники-решетки и даже не Вовчик и Павлуха, опасность в том, что можно потерять себя.

Я долго думал, что же сказать парням, среди которых два мастера спорта, три кандидата в мастера и полдюжины разрядников, про то, как вести себя по пятницам, возвращаясь с тренировки, в минском метро. Сказать: «Поступайте как должно», — значит призывать рисковать статьей. Убеждать: лучше быть арестованным, чем позволить пьяным гражданам издеваться над пожилой женщиной?.. Я долго думал и сказал спортсменам: «Решайте сами, парни».





Наталья МИХАЛЬЧУК

Мы с тобою, словно звезды, тоже…

Доченька

А мы с тобою ждем весны,
Мой птах родной.
Не вижу в том моей вины,
Что дождь — стеной.

И глазки у тебя мои,
И стать — моя.
Ты любишь солнце и стихи
Совсем как я.

Накупим книжек в сентябре
Штук, верно, сто.
Кому — Набоков и Рабле,
Кому — Барто.

И кто-то будет их читать,
А тот, кто мал,
Забросит лихо за кровать
Свои тома.

Нам зиму надо коротать
День ото дня.
Ты учишься ходить, мечтать;
Смеяться — я.

…И буду я смотреть на мир,
Что — дивный сон,
Глазенками, которым мил
И чуден он.

Болезнь

Беспокойною ночкой
Свечкой мечешься жаркой.
Ненаглядный комочек,
Как же мне тебя жалко!

Ночкой страшною, темной
Я останусь с тобою,
С этой мукой бездонной —
В красном горлышке болью.

Поправляю касатке
Мятых простынь смятенье.
Отойти от кроватки —
Совершить преступленье.

Я тебя не оставлю
Ни на миг, ни на ночку.
Камень верить заставлю,
Что поправится дочка…

Посмотри — исцеленье:
Утра брезжит сиянье.
Луч зажжен — во спасенье.
И спокойно дыханье…

* * *

Ты книгочей и мой двойник.
И больше всех на свете книг, —
А мы их любим крепко! —
Нам полюбилась «Репка».

Тебе всего-то полтора,
Но сказку просишь повторять
И знаешь назубок слова,
Хоть кто-то верит нам едва ль.

У нас на них обиды нет:
Там не растет в семье поэт,
Не вызолотит им рассвет
Лучистый свет из прошлых лет.

…А птах мой пить взахлеб готов
Душистый мед старинных слов.
И мне подскажет наперед,
Что дедка — бабку позовет.

Свет и тьма

…А птах мой подпевает чайнику,
Из книжек — терем у него…
Откуда взяться тут отчаянью
И загрустить мне отчего?

До десяти считает бойко
В свои неполных полтора.
И знает дуб, сосну и елку,
И мы гулять пойдем с утра.

А кто-то с лютою тоскою
Сразится в этот самый миг
И с вражьей силой колдовскою.
А чей-то взгляд — ко тьме привык…

Заплакать горько с ними мне бы,
Но я не смею, потому
Что послан мне высокий жребий
И надо следовать ему.

* * *

Луковичкой — русая головка.
Улыбнись, чтоб отступила вьюга.
Ты пойми, шалунья-чернобровка,
Не прожить с тобой нам друг без друга.
Эта мысль пришла светло и просто,
Как мое открытье и признанье.
И теперь звенит морозный воздух
Ложкой о хрусталь, легко дыханье.
Божьим даром, ожиданьем поздним —
Зернышко оставили в ладонях…
…Вечер. С медом чай. А где-то — звезды
В колыбель глядят с небес бездонных.
Мы с тобою, словно звезды, тоже,
С Малою Медведицей Большая.
Друг на друга трепетом похожи,
Свет любви небесной разливаем.
Неуклюже, ласково, устало
Жмется к теплой маме «медвежонок».
Чтобы мягче меда сердце стало
Мамы, — улыбается спросонок…





Василь ТКАЧЕВ

Проводы

Рассказы

Письмоносец

В тот вечер позвонила учительница-пенсионерка Степановна: умер Мишка-почтальон. «Более несуразную смерть и придумать тяжко, — вздохнув, горестно сказала она. — Две невесты пришли к нему из Красного Пахаря, выпили, ясное дело, а потом никак пожарить что-то решили на плите... Одним словом, на кухне много хозяек не должно быть, правду говорят умные люди. У него же, у Мишки, стоял в коридоре еще и запасной баллон. Кто-то из них и открыл вентиль, а баллон не был подключен… Пока разобрались, что к чему, и сами не заметили, что коридор заполнился газом, а Мишка — известное дело, выпивши был — и чиркнул спичкой. Девки как-то спаслись, а он, говорят, побежал еще в дом, у него там деньги лежали, даже доллары, чтобы забрать их… Там и остался: отравился веществами горения, как признали… Пожарные из райцентра приехали быстро, спасли дом… А кому теперь этот дом нужен?.. Без хозяина?.. Завтра будем хоронить Мишку… Вот такая беда у нас в деревне…»

Эх, Мишка, Мишка! С ним у меня сложились особые отношения. Сколько помню, он был почтальоном, всегда желанным для меня человеком. Все дело в том, что я, едва научившись писать, стряпал в районную газету, а потом, освоившись, в областную и республиканские, небольшие заметки про своих земляков. Тогда было интересное время. В деревнях начали появляться первые телевизоры, к примеру. Чем не новость? Кто-то из сельчан выиграл по лотерее стиральную машину или приобрел мотоцикл с коляской — в печать, факт интересный! Или мы, школьники, во время летних каникул помогали родному колхозу окучивать картофель, работали на лугу и на зерновом току — и так далее, только пиши. Ну, а первым читателем моих заметок был, конечно же, Мишка Маланьин. Он ездил на велосипеде за корреспонденцией в соседнюю деревню, где располагалось почтовое отделение, и потому я всегда встречал его едва ли не первым: ну как там — есть что? Напечатали? Если публикация имелась, лицо у него озарялось какой-то особой, только ему присущей доброй улыбкой, и тогда почтальон останавливался, извлекая газету из пузатой сумки, и читал вслух то, что я написал несколько дней назад на обычном листке из школьной тетрадки. Иной раз Мишка давал и свой комментарий: «Прикрасил! Сам так придумал или в редакции помогли? Но — хорошо. Твори». Если публикации не было, он проезжал мимо, но не забывал показать мне знак головой: сегодня ничего нет, братка. Жди. Конечно же, я специально не выходил из дома, чтобы перехватить почтальона. Просто тот не мог проехать мимо нашего двора, потому как если ты ковыряешься в огороде или постоянно около дома чем-то занят, почтальона невозможно пропустить. Частенько я

приходил к нему домой, и он позволял мне просматривать газеты, прежде чем отнести адресатам. Газет и журналов тогда сельчане много выписывали. Как они манили запахом печатной краски! Я спал и видел то время, когда выучусь и сам начну работать в редакции! Неважно в какой, пусть и в районной, чем плохо, но только там, нигде более. В районной газете, может, еще и сильнее пахло той печатной краской. Я уже там был и знал. Про Могилев и Минск не скажу. Погодите. Не сразу и Москва строилась.

И вот Мишки не стало. Жаль. Очень. Старый холостяк, высокий, худощавый, с красивой русой шевелюрой, он иной раз, оставив дома порожнюю почтальонскую сумку, прибегал к нам, ненамного младшим его пацанам, на школьный двор, где мы играли в волейбол или просто бросали на баскетбольной площадке на точность мяч в кольцо. Позже пришел в нашу деревню футбол, и Мишка гонял вместе с нами — когда резиновый, когда кожаный, настоящий мяч. Конечно, как старшему, ему старались чаще отдавать пасы. Бей, Мишка, по воротам! Квась! Ура — гол!

Фамилия у Мишки была такая же, как и у нашей улицы, — Гончаровка, только без «ка». Оно понятно: улица потому издавна так и называется, что там жили в основном Гончаровы. Гончаровы — Гончаровка. Но все называли-величали Мишку Маланьиным. «Маланьин сказал», «Маланьина не видели?» Маланьей звали его мать, солдатку, высокую, сухощавую, всегда молчаливую и тихую, не особо приметную женщину. Как жила тихо, так и ушла в мир иной старушка неприметно: деревня, видимо, и не заметила, что не стало Маланьи, матери шестерых сыновей и вдовы мужа Ивана, который не пришел с войны, и потому для своих ребят женщина была в одном лице — и отцом, и матерью. А что же сыновья? Выросли парни и выпорхнули из родного гнезда, разлетелись по белу свету — кто где оказался. Тогда был СССР — езжай куда пожелаешь, куда глаза глядят. Хоть на Сахалин, на ту же Камчатку. Далеко можно было очутиться от родимого дома. Так оно и получилось, так оно и вышло. Вскоре при матери остался только Мишка, хотя и не был он младшим в семье. Однако тут свою роль сыграла армия. Да-да, именно она. Заберут парня в солдаты — он и не возвращается в деревню, тогда ведь паспорт непросто было получить. А Мишку почему-то в армию не призвали. Почему — об этом мало кто знал, да и вряд ли кто из сельчан интересовался таким обстоятельством. А может, это просто сама жизнь так распорядилась, чтобы Мишка был при матери, чтобы стал письмоносцем и приносил старухе именно такие письма от сыновей, которые она и ждала. Которые не только читал ей, но и сам… писал.

Сперва письма от сыновей приходили аккуратно. Старший, Виктор, осел на Сахалине. В армии получил специальность шофера, поэтому с работой проблем не имелось. А потом от него перестали поступать известия. Маланья встревожилась: что же там с Витькой, почему молчит? Может, случилось что, ты, Мишка, не знаешь? Мишка знал: нет больше Виктора, разбился на грузовике, только я — прости, мама — не сказал тебе о том. Плохо поступил или нет — он и сам не знал, а только вскоре утешил мать: есть, есть письмо от Виктора, мама! Послушай, что он пишет. И Мишка зачитывал письмо, которое сам и написал. «…живу хорошо. Работа нравится, хотя зимой в особенности тяжело: заносит Сахалин снегом — ни проехать, ни пройти. Живу в том же общежитии, жениться пока не собираюсь. Спрашиваете, когда приеду в отпуск? Приеду. Обязательно. Не отпускает пока начальство, работы много, а водителей в нашей автобазе мало. Я и сам очень скучаю по тебе, мама, по Мише, не упрекайте меня особенно. К сожалению, как видите, не все зависит

от меня лично. Передавайте приветы нашим знакомым и просто землякам. Не скучайте. Пишите, сообщайте все свои новости. До скорой встречи. Целую. Обнимаю. Ваш Виктор».

Никто, конечно же, не знал, что, прочитав матери такое письмо, Мишка выбегал во двор и ревел там, как ребенок. Как-то он принес от Виктора и посылку. Купил в райцентре весь в ярких цветах с люрексом платок, несколько баночек рыбных консервов, килограмм дорогих конфет и приложил ко всему этому коротенькое письмо: когда получите, дорогие мои, эту посылку, напишите мне, как дошла… Маланья, попробовав тогда рыбной консервы, похвалила:

— А на том Сахалине рыба вкуснее, чем у нас. Может, и правильно Витек сделал, что там остался? Только приехал бы… Крепко повидать его хочу… Ой, Господи!..

Позже печальное известие пришло из Донбасса: отравились бытовым газом Егор и Микола. Мишка опять ничего не сказал матери. Та какое-то время и не спрашивала про своих сыновей-шахтеров: были же недавно в отпуске, повидались, слава тебе, Господи, у них все хорошо, сыты и одеты, зарабатывают неплохую копейку. А позже Маланья, как только Мишка появлялся в хате из почтового отделения, начала интересоваться:

— Егорка с Миколкой не пишут? Не пишут… Что ж они?.. Сны плохие вижу… Нехорошие сны…

А через несколько дней сбылось желание матери — пришло, пришло из Донбасса письмо! Мишка сидел за столом перед Маланьей и читал, иной раз его давили тугие комки в горле, но он старался не выдавать себя, не показывать, что волнуется и… врал дальше. И кому врал — самому родному, самому близкому человеку. Где-то глубоко в середке души он укорял себя: «Разве ж так можно? Большой грех берешь на себя, дружище! Подумай, что ты делаешь? Прости, Боже!..» И продолжал читать: «Шахта наша считается передовой, на ней когда-то добывал уголь сам Алексей Стаханов, на нее не каждому повезет попасть. Нам повезло. Зарабатываем еще больше, чем раньше. Высылаем тебе, мама, немного денег, хотя ты и будешь упрекать нас: зачем, мол, нам с Мишкой хватает. Но прими деньги от чистого сыновьего сердца. Это наш долг и обязанность помогать людям, которые дали нам жизнь. Тебе, значит, мама». На этом Мишка останавливался, доставал из кармана свои две ассигнации по двадцать пять рублей, клал на стол и аккуратненько подсовывал поближе к Маланье: тебе, мама.

— Не тратились бы, — вздыхала Маланья.

— Ничего, не обеднеют, — утешал Мишка и читал дальше: «На этой неделе пойдем в театр, будут давать артисты из Донецка спектакль «Свадьба в Малиновке», — на этом месте Мишка едва не прокололся, ведь Маланья, кашлянув в кулачок, припомнила:

— Не эти ли артисты показывали в Могилеве такую же свадьбу? Яков Семченко крепко хвалил. Особенно Попандопулу. Смешной мужичок, говорил. Вот почему-то и мне запомнилась эта фамилия… Когда ж она и правда не такая, как у нас: По-пан-допу-ло… Придумают же! Рассказывал, как делил он вещи из найденного сундука… Больше всего там смеялись, говорил Яков, в этой сцене… Колхоз возил в театр на машине… Ты что, забыл разве?

Мишка сразу же нашелся:

— Слышал, слышал. Жалею, что сам не съездил. Когда еще такое выпадет?

Если бы не та поездка, он бы и сам не знал про эту «Свадьбу в Малиновке», но вот когда писал это письмо, вспомнил, и пришлось к месту, а матери объяснил:

— А что там и тут дают одно и то же представление, то, понимать надо, театров много, а пьес мало. Ну, слушай дальше…

— Я слушаю.

«Повышаем свой, так сказать, культурный уровень», — читал Мишка.

— Повышайте, повышайте, ребятушки мои: любая грамоть дает гамать, — кивнула Маланья и подвернула прядку седых волос под платочек. — Ты вот, если б в школе не учился, сегодня бы коровам хвосты крутил, а так, глядишь, и при должности: почтальон! Человек уважаемый. Не последний в деревне. Тебе каждый спасибо скажет, когда ты ему хорошую весточку принесешь. Ну, ну, так что там дальше, сынок?

Дальше Мишка читал о том, что братья ходят в кино и бассейн, а также сдают нормы ГТО. Более ничего в тот день он придумать не смог.

На следующий день прилетел с Кубы Петро, что он там делал — не говорил, одно лишь разводил руками и сильно любопытным сообщал, что давал подписку и прикладывал палец к губам: ша! И все все понимали: лишь бы кого на Кубу не пошлют и лишь бы что такому человеку и специалисту, как Петро Гончаров, не доверят. Объект, наверняка же, на котором был земляк, — шибко секретный и важный. Хотя мало кто знал, какая вообще специальность у него. Однако факт остается фактом: Петро привез с Кубы полный чемодан разного тряпья, особенно теннисок разноцветных, пестрых, поэтому Мишка чуть ли не весь месяц каждый день ходил в новой тенниске.

После Кубы Петро обосновался в райцентре, обзавелся семьей, был счастлив в браке и часто приезжал к матери и брату. А тут нет и нет его. Маланья заволновалась: «Что с Петькой-то? Почему не показывается? Здесь же близко… Рядышком…» Мишка попросил Петрову жену, чтобы приехала и сказала старухе, что Петьку ее опять срочно отправили в командировку — ну хотя бы и на Кубу вторично. Сноха упрямилась, отказывалась: я не смогу, у меня не получится соврать с глазу на глаз свекрови. Догадается. Но Мишка каким-то образом ее уговорил. Маланья поверила. Петра же убили средь белого дня. И надо было ему сделать замечание в магазине парням, которые нагло лезли без очереди. Те подстерегли, когда вышел на крыльцо Петро, и налетели стаей. Убили насмерть человека. Ну, был суд, дали им там по несколько лет каждому — всей тройке. Они давно вернулись из мест заключения, а человека нет. Поумнели они, убийцы? Стали людьми? Вряд ли. Петро же и сегодня мог жить.

А мать так и не дождалась сына из… командировки.

Когда случилась беда с самым младшим, Мишка поехал на похороны в Красноярск. Степка служил там в армии и остался, работал на военном заводе. Авария в цеху среди других людей лишила жизни и его. Что Мишка сказал матери, когда отправлялся на похороны, утверждать не берусь, знаю только одно: она ушла в мир иной с надеждой и верой, что у ее сыновей все хорошо… Что они счастливы, ведь неплохо зарабатывают, ходят в театры, бассейны и сдают нормы ГТО…

Я все время хотел спросить у Мишки: а правильно ли ты сделал, землячок мой дорогой, что взял на себя такой грех? Что избавил мать от слез и скорби, которые по природе своей предназначались именно ей? Что сам скажешь на это? И можно ли то, что сделал ты, считать греховным поступком? Может это, напротив, своеобразный сыновний подвиг — поберечь мать, продлить ей жизнь?

Уже не спрошу. Опоздал…

Ждите. Еду…

Лето в этом году выдалось слишком жарким. Когда еще такое было, Атрохов и не вспомнит. «Ну, два, от силы три дня постоит обычно такая жаровня и постепенно, неприметно убудет, а тут же — не продохнуть! — рассуждал он, поглядывая из окна своей уютной городской квартиры во двор, запруженный легковушками. — Которую неделю жарит! Невыносимо! Жуть!» Больше всего Атрохов сожалел, что накроются его грибы, а собирать их он большой мастак. Нередко даже отпуск приурочивал под грибную пору и тогда уж отводил душу. Жена, Валентина, не успевала перебирать грибы и то ли шутя, то ли всерьез ворчала: «Может, хватит тебе уже слоняться по лесу? Куда их столько? Сам не ешь, ребята также не очень чтоб уважали — ну, скажи?» В таких случаях он только разводил руками и просто отмалчивался. А что тут скажешь, если грибы — это для Атрохова не просто еда, а — детство, солнечное и беззаботное. И его, уже немало пожившего и повидавшего на этом свете человека, тянуло в тот мир, где некогда впервые увидел василек в поле, наблюдал и удивлялся, как опускается на землю желтая осенняя листва с деревьев, как в лесной тиши навстречу тебе выбегают ядреные красавцы боровики… Теперь, когда закончилась олимпиада в Бразилии, а он, Атрохов, заядлый болельщик спорта, аккурат бы и в грибы выбрался. Только тех, забодай их комар, все еще нет. Если бы появились, и за семь замков эту новость не спрячешь: перед входом на базар, который рядышком с домом, уже торговали бы наиболее ловкие дядьки и бабенки с испитыми, как правило, лицами и трясущимися руками. Для них грибы хоть какой-то заработок. Атрохов не осуждал таких горожан, нет: у каждого из них своя судьба, видать же, непростая, неудавшаяся жизнь, и пусть они хоть как-нибудь выпутываются из такой ситуации…

«Нет, нет грибов, — Атрохов смотрел по-прежнему в окно. — Интересно, а что делается в нашем лесу, на Плоском? Сто километров с лихвой от Гомеля, севернее, там почаще шли дожди. Может, и будут? Только у кого спросишь? В лес не позвонишь. У матери разве что попробовать узнать? А вдруг?..» Но, чуть поколебавшись, все же отклонил эту мысль: она не только сама уже несколько последних лет не выбирается в лес, так и соседи ее — также. Кому там ходить за грибами? На всю деревню две старушки и один дед. Но позже не выдержал все же, поинтересовался. Сперва расспросил про жизнь, а потом и про грибы заикнулся. Услышал то, на что и надеялся: «Ой, сынок, мне ли знать?!» Через небольшую паузу мать, вздохнув, призналась: «Это я тебе, Иване, сама собиралась позвонить. Только так подумала, а тут и ты. Вот совпадение! Завтра приеду. Ждите. Потом расскажу, по какому делу приеду… Встретишь меня, или как?»

Хорошая новость, конечно. Мобильник свое дело знает, ничего не скажешь. Атрохов иной раз сам у себя спрашивал: «А как мы раньше без такой штуковины жили?» Но ведь жили как-то. И вполне нормально жили. Встречались в назначенное время, о делах стариков своих были осведомлены не хуже, чем сейчас. Но мобильник все же есть мобильник. Одним словом, отличная вещь!

— Завтра мама приедет! — встретил на пороге жену Атрохов, она вернулась с работы, и произнес это радостно, торжественно; он действительно каждый раз искренне радовался, когда приезжала из деревни мамочка.

У Валентины, жены, от услышанного расширились, как показалось, глаза, и она не сразу, а только когда разделась, поинтересовалась:

— Случилось что?

— Не знаю!

— Как так?

— Чего не знаю, того не знаю. Не похоже. Голос бодрый… Приеду, говорит, обо всем расскажу. Ждите… Или, может, все же спросить? Подожди, я сейчас!..

— Не надо, Ваня, — возразила жена. — Может, просто заскучала и решила проветриться? Попробуй посиди там один в хате! Завоешь. А сходи лучше в магазин и купи чего. На свой вкус. Ты сам знаешь, что твоя мама больше всего любит.

— Ага! Я, значит, побежал. Где деньги?

Валентина махнула рукой в сторону серванта:

— Там где всегда… Найдешь. А я пока кофе выпью, и будем убираться — мама ведь приедет…

По дороге в магазин и потом из него по дороге домой, даже когда выбирал продукты, Атрохов думал все время про мать. Представлял, как поедет на вокзал ее встречать, а потом привезет на маршрутке (своего транспорта не имеет и не бредит им, как некоторые), затем посадит мать на самое почетное место за столом, на который его Валентина накинет самую лучшую скатерть, и они выпьют по капле самодельного виноградного вина — именно так, по капле — за встречу, и будут про жизнь-бытие вспоминать-рассуждать. Долго и неторопливо, словно давно виделись, хотя, конечно же, встречаются часто: то на Радуницу, то на день рождения матери, то просто так приезжает сын к ней, бывает, и по делу — подправить тот же забор или привезти из леса и наколоть дров на зиму. Тут уж без него, Атрохова, не обходится. Если бы у него были сыновья, брал бы с собой, а с дочерей, их у него две, много ли возьмешь.

Мать Атрохова не просто мать, она — Мария Яковлевна, учительница-пенсионерка, преподавала белорусский язык и литературу, уважаемый в деревне человек. Отец, Антон Егорович, был рядовым колхозником, несколько лет назад его не стало, и когда Атрохов приехал на сороковины и предложил матери — с глазу на глаз — перебираться к нему в город, пожалел, что заикнулся об этом, — она не на шутку обиделась: «Что ты такое говоришь, сын?! Живут же вон Авгей и Полька с Ганной, а я чем хуже? Нет, ребятушки мои, вы сами по себе, а я как-нибудь. Пока еще ноги ходят, руки слушаются… Может, если уж совсем, не дай Господь, слягу, совсем невозможно станет жить одной, тогда сама попрошусь…»

Пока мать не просится, и это радует сына.

Завтра она приедет, и у него будет счастливый день. Но все же хотелось спросить: почему так приспичило в город-то? Зачем? Однако, трезво рассудив, отверг эти мысли: «Еще обижу мать, что так в душу нагло лезу? Не надо, не стоит досаждать, а то еще подумает, будто не хотим, чтобы ехала… Приедет — расскажет. Куда, на самом деле, спешить! — И дальше рассуждал: — Эх, мама, мама! Сколько с тобой всего связано! Хватало и улыбок, и слез. Никогда не забуду, как походил по моей спине тяжелый льняной ручник, он всегда висел перед печью на шестке. Было, было за что. Тогда я действительно поставил ее в очень непростое положение. Зимой, возвращаясь через огороды домой из школы, попал в такую снежную передрягу, что не видать было света белого. Вьюга, казалось, сошла с ума. А я нес тетради всего класса после контрольной по языку. «Отнеси, сынок». Тогда пакетов и сумок, которых сегодня уйма, не имелось, а в полотняной сумке все место заняли свои школьные принадлежности, поэтому кипу тетрадей держал под мышкой. И надо же мне было споткнуться, брякнуться так, что уронил все тетрадки, и

ветер подхватил их, начал бешено листать и вскоре прибил к пряслу. Что мне за это будет хорошая трепка, я понимал… Походил, походил по спине ручник. В тот вечер я видел на лице мамы и слезы. Ей, видимо, было жаль и тетрадей, и меня…»

Вернувшись из магазина, Атрохов обратил внимание, что Валентина не стала ждать его, а мыла уже пол на кухне. Пока кафель не подсохнет, ему там нечего делать: принесенные пакеты могут полежать на стуле в прихожей, а затем он переложит их в холодильник.

— Что купил? — выпрямилась и посмотрела на него жена.

Атрохов перечислил, Валентина молча кивнула: хорошо, и продолжала, опустившись на корточки, тереть кафель. Она делала это, склонив голову на сторону, чрезвычайно старательно, что удивило мужа: раньше шваброй слегка пройдет — и порядок, а тут, вишь ты, как старается! Оно и понятно: свекровь приедет. Для кого — мама, а для нее — так. Только разницы большой в этом доме не видят: как для Атрохова теща мама, так и для Валентины свекровь.

Пол блестит.

— Я пошел пылесосить, — сказал Атрохов и подался во вторую комнату, где в уголке находился пылесос.

— Давай, а я окна протру, — бросила вдогонку Валентина. — Как знала — вчера купила аэрозоль…

Когда Валентина терла оконные стекла газетой, до слуха Атрохова донеслось тонкое и пронизывающее пение: пиш-у, пиш-у… Ну как тут не вспомнить опять же мать, когда она учила их мыть оконные стекла в деревенском доме. Пять окон, а их, ребят, — трое. Как старшему и более сильному, Атрохову доставалось два окна, а на последнее, пятое, его брат и сестричка, помыв свои оконные стекла, налетали вместе. И тогда также в доме было слышно дружное: пиш-у, пиш-у…

— Надо, видимо, и гардины поменять? Как думаешь, Ваня? — жена, скрестив руки на груди, посмотрела на мужа, когда тот собрался уже относить пылесос на место.

— Можно, почему бы и нет?

— Я же недавно и новые купила, как знала… Мама не видела…

От новых гардин в комнате стало как-то особенно празднично, уютно.

«Представляю, как мама обрадуется!» — подумал Атрохов.

«Интересно, что скажет свекровь? А может, и вовсе не заметит. Смотря с чем она приедет… Может, беда какая, то ей не до шику…» — рассуждала Валентина.

Пока убрались, устали чуток. Если бы не после рабочего дня! А то и Атрохов пришел из школы после шести уроков и классного часа; он, как и мать, филолог, преподает в школе язык и литературу, только русскую, и Валентина набегалась около прилавка — подай людям то, подай это. Это так кажется, что быть продавцом очень просто. Но сколько килограммов переберет, подержит-подаст она за смену всякой мелочи — одной ей ведомо. Если бы все то положить на весы, то получится ого какая цифра! Страшно подумать…

Потому некоторое время сидели на диване молча, как бы в забытьи. Не хотелось говорить. Позже Валентина поднялась, потопала на кухню готовить ужин, Атрохов задержался: он просто любовался тем, что сделали только что, и радовался, как некогда в детстве, когда благодаря и ему более уютно, празднично становилось в их деревенском доме, а мать не преминала похвалить за старание…

Нарушила тишину мелодия мобильника.

— Мама! — у Атрохова засветились глаза.

Он выбежал из зала, схватил мобильник со стола в прихожей, приложил к уху. Слушал мать, кивая головой, и только изредка вставлял в разговор свое слово. Через какое-то время подошел к Валентине, сообщил:

— Отбой. Мама не приедет… Говорит, узнала, что Полька и Ганна захворали, не грипп ли, не может их оставить одних. А что она хотела в городе — так и не призналась. Но пообещала через неделю приехать и все рассказать… Ну, не Агата Кристи?!

Атроховы чуток помолчали, потом переглянулись и… улыбнулись. И без слов поняли, почему такая мягкая, нежная, одобряющая улыбка одновременно скользнула по их лицам. Все очень просто: мамы всегда рядом, хотя некоторые и живут за сотни километров…

Проводы

Антонович ждал внука Максима. С минуты на минуту тот должен был забежать, чтобы попрощаться. Внук шел в армию. Старик пошаркал к окну, посмотрел на двор: не видать. Людей во дворе мало, в основном редкие пенсионеры не торопясь направлялись в сторону сбербанка и отделения связи, они рядом, — чтобы получить пенсию. Еще вчера начали выдавать. И ему бы сходить, но прихворнул маленько. Болеет и жена: ее забрала несколько дней назад «скорая». Ничего, рассуждал Антонович, пенсия подождет, целее будет. Сегодня у него главная забота — внук. Опять посмотрел в окно: все еще нет его. Хотел было поинтересоваться, почему задерживается, потянулся за мобильником, но передумал: разве же у него, Максима, мало дел? Забежит. Как это — чтобы деда миновал? Такого не может быть — у них свои отношения, они — дружки еще те. Пока внук где-то занимается решением своих дел, Антонович думает о нем. Удивительный Максим парень. Но — молодец. Если кто-то старается откосить от армии, то Максим давно, еще несколько лет назад, заявил: пойду служить! Обязательно! И только в десантники! Связался с такими, как сам, экстремалами, прыгал с моста в Сож, ездил в Василевичи, чтобы и там прыгнуть с заброшенной водонапорной башни. Потом все это выложил в интернете, похвастался и деду. У Антоновича было удивленное лицо, он и не похвалил внука, и не поругал, а только подумал: «И в кого пошел? Разве ж я с той башни прыгнул бы? Ни за то! Убей меня, а не решился бы…» Позже, правда, свою нерешительность оправдывал годами, старостью, а будь он в таком возрасте, как Максим… Кто его знает — как было бы, если бы да кабы… А вот он, внук, метил в десантники. Гантели как-то принес. «Дед, не хочешь позаниматься?» Антонович лишь улыбнулся в ответ: «Мне еще только этого не хватало!» Однако с десантом у Максима ничего не получилось: медицинская комиссия была против, не дала добро, и тогда ему предложили учиться от военкомата на водителя. Поспособствовало этому, конечно же, и то, что у него имелись на то время права шофера-любителя. Тут вообще интересно получилось. После школы Максим отнес документы в профессионально-технический колледж, где обучался по двум специальностям — мастер по холодильным установкам и слесарь-сборщик. Практику проходил на заводе литья, там парня заметили и предложили после учебы остаться у них. А в самом деле, куда ему было кидаться, если впереди — армия? Согласился. За те пять месяцев, что работал слесарем-сборщиком, а не бил баклуши, как некоторые, выучился и на шофера-любителя. Ни у кого

ни одной копейки не попросил. Антонович как-то было заикнулся, не помочь ли ему деньгами, все же теперь наука эта не шибко дешево стоит, однако тот деликатно уклонился: «Я сам, деду, мне же хорошо платят». Ну, хорошо так хорошо. То да се из одежды справил. И приобрел себе смартфон почти за четыре миллиона рублей. Этого-то Антонович не оценил. Зачем такая дорогая вещь, да еще перед армией? Внук же спокойно заявил: «В армию возьму с собой». — «Возьми, возьми, там тебя с такой игрушкой только и ждут старослужащие — в момент отнимут». — «Не отнимут. Теперь не то время. Я интересовался у тех, кто служил. Сказали: бери любой мобильник, никто не позарится. В каптерке есть сейф, там их и хранят. А дают пользоваться только в воскресенье. Ну, понял, дедушка?»

Чего же тут не понять? Честно сказать, так с «дедовщиной» и он не встречался в армии, хотя и служил когда — страшно вспомнить: почти пятьдесят лет назад. Призвался в шестьдесят седьмом, когда армия, тогда еще советская, переходила на двухлетний срок службы, и в казарме были старослужащие воины, некоторые из них захватили даже чуток и четвертого года. Они жили демобилизацией и на вечернюю прогулку, конечно же, не выходили. Но если дежурный по части офицер интересовался, как проходит в роте вечерняя прогулка, они молча брали в каптерке своих черепах (служил Антонович в Туркмении), выносили их на плац — и сколько проползет за время прогулки черепаха, столько протопают и они. Умора, да и только! Все же этих «старичков» понимали и многое им прощалось: они свою воинскую науку усвоили, даже и сверх того, пора дембелям домой, и вы, «салаги», занимайтесь своим делом и не обращайте внимания.

Хорошо запомнилось ему, Антоновичу, и как первый Новый год встречал он в казарме. В коридоре выстроились в одну шеренгу «салаги», «черпаки» и «старички». А тем временем из спального помещения казармы после команды «смирно, равнение налево!» — двое солдат вывозят на полотере старослужащего со свернутым листом ватмана под мышкой. Тот здоровается: «Здравствуйте, товарищи салаги!» Солдаты отвечают. Так здоровается он и с «черпаками» — теми, кто отслужил год. Ну, а со старослужащими «командующий» своеобразным новогодним парадом здоровался с каждым за руку. А потом разворачивал лист ватмана и зачитывал «приказ» по казарме… Смеху было — не передать. Позже приходили в казарму командир роты с замполитом и по-настоящему поздравляли всех с Новым годом.

Наконец-то появился внук.

— Ну что, дед, давай прощаться? — переступив порог, сразу улыбнулся он, и Антонович почувствовал, как на его глазах предательски вспыхнули слезинки. — С бабушкой попрощался. Вместе с Ульяной были у нее только что в палате. Сказала, чтобы ты сегодня к ней не приходил — у нее все есть. Папа с мамой сегодня поутру тоже были у бабушки, занесли ей что надо.

— Куда я уже пойду?.. — старик совсем как-то скукожился, безнадежно махнул рукой, какое-то время смотрел на Максима и не видел его лица: глаза по-прежнему туманили слезы. Когда догадался смахнуть их носовым платочком, мягко, но требовательно приказал внуку: — Присядь.

— Да некогда, дед! Меня же друзья ждут!

— Перед дорогой надо посидеть. Присядь, присядь. Никуда твои друзья не денутся.

— Они и на присягу приедут.

— Это хорошо. Значит, хорошие парни. Но когда еще будет та присяга, а ты меня послушай, старшего сержанта запаса, сейчас.

Максим добродушно улыбнулся, сел на табурет:

— А я и не знал…

— А что, на карточках разве не видел меня с лычками?

— Хотя правда. Но как-то не придавал значения. Дед — и старший сержант? Хм!..

— Да, да. Но уже в глубоком запасе. Так что на меня там не рассчитывайте… Не буду тебе я ничего говорить. Парень ты разумный — сам все знаешь. Но какие-то проводы сегодня в армию не такие, как хотелось бы… как раньше были… Ого, раньше проводы были в армию! Что ты! Когда я шел, вся деревня вышла на улицу, я к каждому человеку подходил, и все, все, внук, как один человек, желали мне хорошей службы… Многие обнимали, а женщины даже целовали и плакали… Ну как я мог после этого сплоховать, не так делать в армии что-то? Безобразничать? Как? И всех так, как меня, провожали… Всех… Может, потому, что натерпелись люди в войну, хорошо знали, сколько стоит солдат? Почти все они, земляки, войну пережили… Хватило лиха им… Сполна… Так-то вот!..

— Я пойду, дедушка? — внук поднялся с табурета, обняв Антоновича, отвернулся, и старик также увидел на его лице слезы.

— Ступай, Максим, — тихо молвил Антонович. — Прости, что не могу тебя провести: захворал, ети ее кочерыжку, как на то лихо, видишь же.

— Ну что ты, дедушка! Папа с мамой придут на вокзал к поезду. Дядя Юра.

— Ступай. С Богом!

За Максимом захлопнулась дверь, и Антонович сел на тот табурет, на котором только что сидел его внук. О многом хотел внуку сказать, но какое там — ему, видите ли, неслуху, некогда: друзья ждут. Да и с друзьями, конечно, надо пообщаться, без друзей не проживешь. И с девушкой. Он один, их — много…

— Когда ж сегодня Максим нарасхват, всем нужен, — с гордостью подумал Антонович. — И в первую очередь — Родине. Служи, солдат!..

Он подошел к шкафчику, взял там начатую бутылку вина, наполнил чарку. Но пить не стал — передумал. Слил вино обратно в бутылку, а вслух сказал:

— Старуха вернется из больницы, скоро выпишут, тогда вместе и возьмем по капле. За солдата. Проводы все же…

Перевод с белорусского автора.



Из поэтических тетрадей

Валерий ЗАХАРОВ
г. Червень

* * *

Зеленый лист и лист с ответом —
Друзья прохладной тишины…
Осколки солнечного лета
В той тишине погребены.

Входили в круг…
Казалось, вечно
Тончайшей нитью тишины
От бед земных и нужд извечных
Мы навсегда ограждены.

Но так несложно в этом мире
Нарушить ритмы бытия!
Разорван круг…
Теряет силы
Судьба твоя… судьба моя…

Осенний лист и лист с ответом,
Дождем прибитые к земле…
Моей любви осколки где-то
Сверкают в полуночной мгле…

* * *

Не сердись, что опять непогода…
Так бывает осенней порой.
Слишком мало до Нового года,
Слишком много до встречи с тобой.

Вроде дни пролетают, как птицы,
Но за этой бетонной стеной
Даже ночью не ясно, что снится:
Образ твой иль придуманный мной?

Евгений ШВАБ
г. Борисов

* * *

Душа — как раненая птица.
Все к небесам она стремится…
Хоть трудно, ты, душа, лети!
Себя в полете обрети!

* * *

Как счастья всем хотелось нам,
Хотя бы с горем пополам!
Ведь для него мы рождены,
И от него отлучены…

* * *

Печалит сердце мне вино.
Оно не радует давно.
Не утешает, не пьянит,
А лишь былое бередит.

Анатолий ШЕБЕКО
г. Орша

* * *

И. Т.

Есть у тебя любимый муж,
И он тебя, я знаю, любит.
Как ледяной мне это душ,
Но вряд ли он меня остудит.
Влекут к тебе меня мечты
И неразумные желанья,
А на снегу растут цветы,
Но нет пока у них названья.
Они не вянут и в мороз,
Пурга их снегом не заносит,
Они пышнее майских роз
И от тебя тепла лишь просят.
Ты лепестки их на снегу
В январском холоде изводишь.
И я согреть их не могу,
Пока ты глаз *с него* не сводишь.

* * *

Был май, и пьянила цветами весна,
Другим я в любви признавался.
Однако заброшена эта блесна,
И вот на нее я попался.

Незрим был и тонок к блесне поводок,
Всем ртом захватил я наживку.
Тебе остается лишь сделать рывок,
А после воткнуть в меня вилку.

* * *

В кино война давно идет:
Убийства, кражи и угоны…
А зритель утомленный ждет,
Когда же кончатся патроны.

* * *

Достоин тот лишь сожаленья,
Кто о себе большого мненья.
Скорей всего, умен он так,
Как может умным быть дурак.

Максим ЖАРОВИН
г. Солигорск

* * *

Сказал однажды мудрый старец,
В былые вглядываясь дали:
Знавал я множество красавиц,
Жаль, что они меня не знали…

* * *

Ребенок потянулся за цветком.
Цветок взлетает — маленькая драма!
Обманутый пугливым мотыльком,
Малыш сквозь плач зовет
Впервые — «Мама!»

Сергей КАНЫГИН
г. Минск

* * *

Пустоты, невежества, убожества
Люди, как и прежде, не стыдятся;
Раз несовершенных всюду множество —
Для чего из массы выделяться?

Быть пустопорожним, наглым, праздным —
Для иных не стыдно, а почетно;
Потому явленьям безобразным,
Впрочем, как и прежде, нету счета.

Я учить отнюдь не собираюсь
И кричать о «чудных» днях прошедших;
Я, точь-в-точь как прочие, пытаюсь
Выжить в нашем мире сумасшедшем…

* * *

Как часто многие задумчиво вздыхают
О том, что личности нам сильной не хватает.
Но стоит личности такой вдруг появиться —
И будут те же о спасении молиться…

Олег НИКУЛИН
д. Гурновщина Клецкого р-на

* * *

Через ложь многоликую к правде —
В одиночество и пустынность —
Не в монашество и невинность,
А в далекую синеву
Я иду, позабыв о награде,
О судьбе и будущей смерти,
О бессмысленной круговерти…
И в дороге этой живу.

* * *

Техническое средство от тоски
Нам предлагают, истребив природу.
Чтоб не болели по ночам виски,

Химические яды сыплют в воду…
Искусственная правда вместо той,
Которая была самим искусством,
Нас окружает всюду, как застой,
Как лень любви,
но с мысленным распутством.

Юлия ЛАМБОЦКАЯ
г. Минск

* * *

В окне с причудливым узором
Нагрею пальцами кружок,
И пред моим предстанет взором
Намедни выпавший снежок.
Череда еловых пышных шапок
Искрится чистой белизной,
Узорный след кошачьих лапок
Тропинкой тянется смешной.
С задумчивым в глазах вопросом,
Упрятав шею в пуховик,
Застыл мальчишка с красным носом:
«Хорош ли вышел снеговик?»





ЯНЬ ГЭЛИН

Тетушка Тацуру[*]

Главы из романа

Пролог

Сигнальные огни пылали сразу в нескольких местах. На горных склонах, с трех сторон окруживших деревню, по очереди поднимался их дым. Пока желтый горизонт наливался красным, а потом бордовым, столбы дыма темнели, а огни под ними разгорались все ярче и ярче. Небо совсем почернело, и оттуда, где полыхали огни, доносились свирепые крики: «О! О! О!»

По всей деревне стояла частая дробь женских гэта[1]. Согнув спины, подгибая колени, женщины бежали быстрее ветра: «Китайцы идут!» С тех пор, как те атомные штуки сровняли с землей Хиросиму и Нагасаки, китайцы часто наведывались в деревню пострелять или бросить пару гранат. И женщины скоро привыкли бегать горбя спины и согнув колени. После недавней вербовки солдат для обороны Маньчжурии все мужчины моложе сорока пяти ушли на фронт, и кроме женщин, в деревне почти никого не осталось. Пока они собирали домой детей, подростки лет пятнадцати заняли места у бойниц защитной стены. Стена была в полметра толщиной, и ее в два ряда опоясывали бойницы. Вокруг каждой из шести японских деревень стояли защитные стены, переселенцы отстроили их сразу, как приехали сюда; тогда им казалось, что командир разводит лишнюю суету: ведь китайцы прятались, едва завидев японца, а кто не спрятался, тот, согнувшись в поклоне, отходил прочь с дороги. Но теперь все переменилось: жители деревни Сиронами кричали «Китайцы!» так же пронзительно, как недавно по всему Китаю стоял крик: «Японцы!»

Три дня назад люди из шести японских деревень все вместе отправились к маленькой железнодорожной станции в самой северной части Маньчжурии. Та станция называлась Яньтунь, здесь они сошли с поезда, что привез их когда-то в Маньчжоу-го[2]. Они собирались сесть в Яньтуни на последний поезд, следовавший в корейский Пусан, а оттуда на пароходе вернуться в Японию — тем же путем переселенцы много лет назад пришли на запад, в Маньчжурию. Из шести деревень собралось больше трех тысяч человек, многие привели с собой и скот, чтоб

---

[1] Гэта — японские деревянные сандалии.

[2] Маньчжоу-го — марионеточное государство, образованное японской военной администрацией на оккупированной Японией территории Маньчжурии; существовало с 1 марта 1932 года по 19 августа 1945 года.

везти поклажу и посадить на него стариков со слабыми ногами да детей, которые не смогли бы долго идти. Люди прождали в Яньтуни ночь и день, но вместе с поездом пришла телеграмма от командования, в ней приказывалось немедленно отступить обратно в деревню — большая группа советских танков пересекла китайскую границу, велика вероятность столкнуться с ними лоб в лоб. Доктор Судзуки из деревни Сиронами запрыгнул в поезд, убеждая сельчан не верить телеграмме: отступать ли, идти ли вперед — то и то риск, но настоящий японец должен идти вперед. Поезд тронулся совсем пустым, только сердитая голова доктора Судзуки торчала из окна вагона, он все кричал: «Да прыгайте же! Глупцы!»

Сигнальный дым низко стелился над деревней, сделав стылый осенний воздух густым и едким. Огней становилось все больше, уже не сосчитать, они сплошь усеяли горы и долины. Словно люди со всего Китая пришли сюда, и их грозные крики «О!.. О!.. О!..» казались куда страшнее ружейных залпов.

Кто-то из ребят у бойницы выстрелил первым, и тут же все мальчишки принялись палить по факелам. Зажмурившись и стиснув зубы, они стреляли по огненным точкам, заполонившим темноту. На самом деле огни пылали еще за несколько ли от деревни. Факелов становилось все больше, из стайки огоньков они в один миг превращались в целый табун, но не делались ближе, и свирепые голоса тоже оставались в отдалении, словно гром, рокочущий у горизонта.

Староста велел жителям собраться на площадке у деревенского храма синто, было ясно, что придется уходить, чего бы это ни стоило.

Скоро рассветет, вдали прогудел поезд, наверное, привез еще пару дюжин вагонов с советскими солдатами. В срочном объявлении староста приказывал не брать с собой поклажу, только детей. Люди и слышать об этом не хотели, ведь если уходить из Маньчжоу-го, как же без поклажи? Но староста едва ли мог забыть про такой важный вопрос, скорее всего, на долгом пути отступления найдутся и питание, и ночлег. Лица женщин осенила безмятежность: наконец-то все позади. Много лет назад они приехали сюда из Японии под знаменами «Отряда освоения целины», никто не знал тогда, что спокойные безбрежные поля перед ними японское правительство вырвало из рук китайцев. И теперь китайцы начали сводить счеты. Несколько дней назад на рынке погиб житель деревни Сакито, и смерть его была страшная: на трупе не осталось ни волос, ни носа, ни ушей.

За спиной старосты, которому был уже пятьдесят один год, стояла дюжина старейшин, они молча дожидались, когда стихнет стук гэта. Староста велел прекратить шушукаться и лезть друг к другу с расспросами. Его послушались.

— Подойдите ближе, еще ближе.

Толпа слаженно двинулась и быстро встала в ровное каре. Младенцы спали на руках у матерей или за их спинами, дети постарше дремали, привалившись к взрослым. Голос у старосты тихий-тихий и хриплый — всю ночь курил. Он сказал, что старейшины проголосовали и вынесли решение: все нужно закончить, пока не рассвело. Староста был не мастер произносить речи и, когда не знал, что сказать, кланялся собравшимся односельчанам, снова и снова. Он с трудом подбирал слова:

— Граждане Великой Японии — подданные Солнца, и позор поражения нам намного больнее смерти. Вчера вечером советские солдаты в соседней деревне убили несколько японских мужчин и всем скопом изнасиловали дюжину японских женщин; они разграбили деревню подчистую, не осталось ни зернышка, они увели всю скотину. Эти бандиты хуже настоящих бандитов, эти звери страшнее настоящих зверей. И посмотрите, сколько огней в горах! Пути назад нет! Китайцы вот-вот нагрянут! Они бы

сказали, что у нас сейчас «со всех сторон западня», «отовсюду слышатся песни чусцев»[1].

В этот миг шестнадцатилетняя девочка, что стояла позади всех, шмыгнула за бук, а потом, пригнувшись, во всю прыть побежала в деревню. Она вдруг поняла, что забыла надеть сережки. Золотые сережки, она тайком вытащила их из матушкиной шкатулки: нравилось наряжаться, да и любопытно. В Сакито жили родители ее матери, а сама она была из деревни Сиронами, что у железной дороги. Десять дней назад, когда мир только начал лететь в пропасть, мать отправила ее в Сакито ухаживать за дедом: у него остались осложнения после инсульта. Дед плохо ходил, но однажды глубокой ночью он ушел и больше не вернулся. Его труп нашли деревенские собаки, тело лежало в воде, а ноги застряли в расщелинах между камнями на отмели. Бабка почти не плакала: муж решил умереть, и она уважала его решение.

Отыскав сережки, девочка босиком полетела обратно к храму, гэта она держала в руках.

Она пропустила резкую перемену в речи старосты. Когда ее тень исчезла в непроглядной предрассветной тьме, староста от лица совета старейшин объявил, что они сделали выбор за пятьсот тринадцать односельчан. Он сказал, что нашел самый достойный и безболезненный путь отступления из Маньчжоу-го. Для женщин это единственный путь, пройдя которым, можно сохранить целомудрие.

Люди стали понимать: староста говорит что-то не то. Пошатывающиеся со сна дети тоже учуяли дыхание злого рока и все как один задрали головы на своих родителей. Две девушки невольно сжали друг другу руки. Женщина, стоявшая дальше всех от старосты, шагнула в сторону, взяв за руку сынишку лет пяти, осмотрелась, потом отошла еще чуть-чуть. Шаг — и скроется в молодой тополиной рощице, которую посадили этой весной. Что же задумали старейшины...

С неумолимыми лицами они стояли за спиной старосты. Староста огласил решение совета. Он сказал:

— Мы японцы и умрем с подобающим японцам достоинством. Совет старейшин раздобыл достаточно патронов, хотя это было непросто.

Людей парализовало страхом. Спустя мгновение кто-то недогадливый подал голос: «То есть как, всем вместе умирать? Зачем?!» Послышался женский плач: «Мне надо мужа с фронта дождаться!» Голос старосты вдруг переменился, став ехидным и злым:

— Решили предать свою деревню?

Свет уже понемногу разбавлял темноту, и каждую секунду небо становилось чуть бледнее.

Девочка с сережками стояла сейчас в дюжине шагов от толпы, она только что прибежала, но успела расслышать слово «умирать».

Староста сказал, что настоящий японец и смерть должен принять достойно. Он выбрал старейшину, который возьмет все в свои руки и подарит каждому в деревне спокойную смерть. Этот старейшина — меткий стрелок, он вернулся с двух мировых войн, а сейчас отдаст жизнь за родину, как всегда и хотел. Здесь, у храма с табличками предков, каждый из нас падет на землю с достоинством, мы умрем среди своих родных.

Женщины заметались, сбивчиво перебирая предлоги, чтобы избежать «спокойной смерти». Паршивые овцы есть в каждой деревне, были они и

[1] Образное выражение, означающее безвыходное положение. Происхождение этого выражения связано с древнекитайскими генералами — Сян Юем и Лю Баном, возглавившими движение князей против династии Цинь (III век до н.э.).

в Сакито: эти женщины благодарили старосту, но просили позволить им самим решить, как и когда умирать. Дети не все понимали, им было ясно лишь, что ничего хорошего от «спокойной смерти» не жди, все они поразевали рты, вытянули шеи и, задрав головы к небу, громко плакали.

Раздался выстрел. Всего один. Люди увидели, что староста лежит на земле. Все было решено заранее, и староста первым поступил как «настоящий японец». Жена его завыла; накануне свадьбы со старостой она так же лила слезы перед матерью. Причитая, она медленно осела на землю рядом с мужем, из которого хлестала кровь — так же и в первую брачную ночь она в слезах легла на супружеское ложе. За эти долгие годы у нее и мысли не было пойти мужу наперекор. Женщины зарыдали: раз жена старосты подает такой пример, никуда теперь не денешься. Прогремел второй выстрел, и староста с супругой рука об руку отправились в последний путь.

Семидесятилетний стрелок опустил автомат, взглянул на мертвых, они лежали рядом. Их дети погибли на войне, теперь родители спешат к ним, скоро вся семья будет в сборе. Настал черед старейшин. Они выстроились в ряд, распрямив спины, у одного из них, восьмидесятилетнего старика, изо рта тянулась слюна, но это не портило его торжественный облик. Каждый смиренно ждал свою пулю; после капитуляции, когда была нехватка продовольствия, они так же смиренно стояли в очереди за онигири[1]. Через несколько минут и дети убитых старейшин собрались у их тел для вечного семейного снимка.

Сами не зная почему, люди понемногу успокаивались, семьи собирались вместе, толпясь вокруг стариков. Дети все еще плохо соображали, что к чему, но и на них сошло странное умиротворение. Это чувство успокоило и ревевших до сей поры младенцев, теперь они тихонько качали головами, посасывая большие пальцы.

Вдруг кто-то крикнул: «Тацуру! Тацуру!»

Шестнадцатилетняя девочка — это ее звали Тацуру[2] — безумными глазами озирала площадку у храма. Она видела свою бабку, та одна-одинешенька стояла перед стрелком. Больше всего сейчас боялись сельчане, что не найдется рядом родной кровинки, некому будет укрыть твое тело своим теплом и не с кем вместе остыть. Но Тацуру вовсе не хотела идти на такую жертву. Семьи сбивались вместе, сжимая друг друга в объятиях так, что никакие пули не могли их разнять. Стрелок уже мало походил на человека, все лицо и руки у него были в крови. Его меткость сегодня пришлась очень кстати: изредка какой-нибудь предатель в ужасе порывался бежать прочь от храма, но пуля проворно нагоняла его. Стрелок постепенно набил руку, теперь он сперва укладывал людей на землю, уж как придется. А с лежачими легче сладить. У него был добрый запас патронов, их хватало, чтобы выдать каждому из односельчан двойную порцию смерти.

Стрелок вдруг остановился, и где-то совсем рядом с собой Тацуру услышала странный перестук, она уже не понимала, что это стучат ее зубы. Старейшина огляделся по сторонам, затем вытащил из-за пояса катану. Стрелял он не слишком чисто, пришлось дорабатывать мечом. Закончив, он осмотрел клинок, провел большим пальцем по лезвию и опустил его на землю рядом с собой. Меч распарился от горячей крови. Старик сел, развязал шнурки на башмаках, одним концом привязал шнурок к курку автомата, а другим к камню. Снял башмаки, впитавшие добрые десять цзиней[3] крови.

[1] Онигири — блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара.

[2] Тацуру — с японского букв. «много журавлей» или «настоящий журавль».

[3] Цзинь — мера веса, 500 г.

Носки тоже оказались багрово-красными. Мокрыми от крови ступнями он зажал камень, связанный с курком, и, выгнувшись, отбросил его.

«Та-та-та...»

Еще очень долго автоматное «та-та-та» стучало в голове Тацуру.

Выслушав ее сбивчивый рассказ, старосты пяти деревень опустились на убранное поле, став вровень по высоте с восходящим солнцем.

Спустя десять минут староста деревни Сиронами поднялся на ноги. Остальные встали вслед за ним, даже не отряхнувшись. Они должны пойти в деревню, посмотреть, надо ли чем помочь — закрыть людям глаза, поправить одежду... А может быть, помочь кому-то прекратить мучиться, стонать и биться в судорогах.

Сквозь листву деревьев казалось, что пятьсот тринадцать человек — женщины и мужчины, дети и старики — разбили лагерь на природе и дружно заснули. От крови земля стала черной. Кровь пролилась щедро, она расплескалась даже по стволам и листьям деревьев. Пули не разлучили эту большую семью, и кровь их слилась в один ручей, он стекал по желобку меж двух валунов, но слишком загустел, и у края валуна Тацуру увидела огромный алый кровяной шар, застывший, но не твердый — точно желе.

Тацуру шла вслед за старостами, запах крови бился в ее ноздрях и в горле, казалось, она вот-вот задохнется. Она хотела отыскать свою бабку, но скоро бросила: слишком много было убитых в спину, они лежали лицами вниз, у нее не нашлось ни сил, ни храбрости ворочать тела.

Старосты пришли в Сакито, чтоб договориться о пути отступления из Маньчжоу-го, но теперь поняли, какое послание оставили им мертвые. Среди окрестных японских деревень Сакито считалась вождем, ведь ее жители первыми приехали из Японии осваивать Маньчжурию. Внезапно староста Сиронами прикрыл Тацуру глаза. Перед ним лежал труп стрелка. Он хорошо знал этого бывалого солдата, вернувшегося живым с двух войн. Стрелок привалился к дереву, ствол автомата был по-прежнему зажат в его руках, а камень, привязанный к курку, уже выпал из петельки шнурка. Пуля зашла через подбородок, и разбитый череп был теперь обращен к небу, словно жертвенный сосуд.

Староста Сиронами скинул куртку и накрыл ею то, что осталась от головы снайпера. Видно, тут больше нечем помочь. Тогда зажжем огонь. Чтобы русские и китайцы не смогли надругаться над мертвыми.

Староста Сиронами заговорил.

— Надо вот как: чтобы стрелок в каждой деревне отвечал за дело до конца и стрелял в себя только после того, как убедится, что огонь занялся.

Остальные ответили, что это единственный путь, можно полагаться лишь на самоотверженность стрелка. Жаль только, что свое тело стрелку придется оставить китайцам или русским.

Никто не заметил, что Тацуру бесшумно крадется прочь. Там, где старосты уже не смогли бы ее увидеть, девочка бросилась бежать со всех ног, а за ней — огромная копна непослушных волос. Она плохо бегала: вроде неслась по дороге во всю прыть, но все равно получалось по-девчачьи неуклюже. Тацуру должна была одолеть порядка десяти ли[1], на свой страх и риск перейти через железную дорогу — там бывали иногда русские, — вернуться в деревню и рассказать матери, что приготовил для них староста. Ей нужно было обогнать старосту своими непривычными к бегу ногами, успеть первой рассказать, как кровь жителей Сакито застыла в густой алый шар, рассказать про череп старого стрелка, как он смотрит теперь в небеса, как воспоминания, мудрость, секреты, мысли, что скопил стрелок за семь-

[1] Ли — китайская мера длины, равна 500 м.

десят с лишним лет, разлетелись по дереву розовато-белыми каплями. Она должна рассказать об этом соседям, чтоб у них был выбор, прежде чем умирать «спокойной смертью».

Когда она увидела впереди железнодорожный мост, из деревни Сакито снова раздались выстрелы. Тацуру на секунду сбилась с шага, но тут же пустилась бежать еще быстрей. Спуститься с холма — и будет мост, уже видно, как стоит на рельсах вереница вагонов. А у двери одного вагона уселся на корточки русский солдат, кажется, чистит зубы. Лицо Тацуру поцарапалось кое-где о ветки, и пот больно кусал ранки. Нельзя через мост, придется идти вдоль холма вниз по реке, искать, где помельче, и переходить вброд. Но тот склон холма весь зарос лесным орехом, кусты дикие, густые, и продираться сквозь них нет ни времени, ни сил. Да и плавает она плохо, что, если не получится перейти через реку?

Тацуру и не заметила, что уже плачет навзрыд. Вот ведь как бывает, ни капли надежды.

Она вдруг развернулась и побежала в другую сторону. Недалеко отсюда стоял поселок, там жили трое китайцев, которые раньше нанимались работать в ее семье. Одного из них, мужчину лет тридцати, мать называла «Фудань». Они с матерью ладили неплохо, иногда даже друг другу улыбались. Тацуру попросит Фуданя, чтоб он помог ей вернуться домой, и русские солдаты тогда примут ее за китаянку. С китаянками они реже распускают руки. Однажды Тацуру была в том поселке с матерью, Фудань водил их к травнику. Но она ни слова не знает по-китайски, как же она убедит Фуданя помочь ей пройти через мост с русскими солдатами?

Она не успела войти в поселок, как уже пожалела. Стайка китайских ребятишек играла у въезда в деревню. Завидев Тацуру, они побросали свои дела и дружно уставились на нее с лицами холодными, как железо. Раньше они тоже делали такие лица, но глаза всегда опускали в землю. Один мальчик что-то тихо сказал, она не поняла, что, но слово «япошка» узнала. Тацуру еще не решила, бежать ей или нет, и тут мальчуган лет семи запустил в нее камнем. В нее полетела очередь из камней, комьев земли, коровьих лепешек, бежать было поздно, все пути отрезаны. Оставалось только сесть на землю, сжаться в комочек и реветь во весь голос. Мальчишки также бессильны против женского плача, как взрослые мужчины. Дети обступили Тацуру, поглядели на нее, одна рука легонько дернула прядь японских волос — вроде ничего такого, — отпустила. Другая взяла ее сзади за ворот и потянула вниз — японский хребет вроде такой же, как у китайцев. Скоро детей утомил ее плач, гикнув, они убежали.

Увидев Тацуру, Фудань без всяких слов сразу понял, что делать: сей же час отвезти ее домой, нельзя, чтоб соседи заметили у него дома японскую барышню. Фудань набросил на нее свою старую кофту, взял пригоршню грязи и размазал по ее лицу, в такой маскировке девушки из их деревни встречали японских солдат. Фудань был слишком беден, чтоб держать скот, он посадил Тацуру в тачку и сам повез ее через мост.

Когда Фудань привез Тацуру домой, она спала. Мать попросила его уложить девочку на пол за внутренней дверью, тихонько поклонилась, шепча: «Спасибо-спасибо-спасибо». Мать знала всего тридцать или сорок китайских слов, и сейчас старалась все разом их использовать. Когда Фудань ушел, мать так же тихо сняла с Тацуру сережки. Но даже это ее не разбудило.

Проснувшись, Тацуру тут же вскочила на ноги — опоздала! Староста, скорее всего, уже вернулся. Под полуденным солнцем все вокруг казалось ослепительно белым; Тацуру ступила босыми ногами на пол, почудилось, будто земля плывет куда-то назад. Матушка семенила к дому с ведрами

«Всемирная литература» в «Нёмане»

воды, пригнувшись, чтобы вдруг не помочь стрелку из засады. Тацуру даже топнула, укоряя мать:

— Почему ты меня не разбудила, теперь уже поздно!

Весть, которую принесла Тацуру, тут же разнеслась по всей деревне. Послали мальчишек сбегать в другие японские села, рассказать им, что случилось. В Сиронами почти не осталось мужчин, даже стариков, и староста в одиночку командовал этой громадной семьей. Когда он вернется, то все решит за них, как решили старейшины Сакито, и тогда уже будет поздно. Новость застала людей врасплох, им нужен был по меньшей мере час, чтоб собраться в путь. Ничего не брать, только продукты — но продукты брать все, а еще винтовки, их выдавали каждой деревне для самообороны, по пять штук. Нужно во что бы то ни стало бежать из деревни до того, как вернется староста. Да, в Сакито жили настоящие японцы, этого не отнять, но люди в Сиронами не желали вслед за старостой становиться такими же настоящими японцами.

Солнце садилось, а жители пяти деревень «Освоения Маньчжоу-го» столпились на площадке у начальной школы в деревне Сиронами. Все сыпали вопросами. И тут же отвечали на вопросы других. Не нашлось того, кто мог бы повести за собой такую толпу. Люди слышали только, что в городе за пятьсот с лишним километров отсюда есть японское убежище, там можно сесть на пароход в Японию. Толпа двинулась в путь, их было около трех тысяч человек, в основном женщины и дети. Ориентировались по компасу, он нашелся у какого-то школьника. Почти всю скотину у них увели, остались только дряхлые животные да телята. На них и посадили стариков.

Женские гэта засеменили по дороге — так начался путь в пятьсот с лишним километров длиной. Женщина по имени Амон была на восьмом месяце беременности, из головы колонны она бежала в хвост, а потом обратно, приставая к каждому с расспросами: не видел ли кто ее мужа с сыном, мужа зовут Кирисита Таро. У людей не было сил, чтоб отвечать ей, и они молча качали головами. Тацуру с мешком онигири за спиной кое-как ковыляла вслед за матерью. У матери на спине сидела четырехлетняя сестренка, а за руку она вела восьмилетнего братика. Тацуру шла и радовалась своей сегодняшней победе, все-таки она прибежала вперед старосты. Она ни на секунду не задумалась, почему на похороны жителей Сакито у пяти мужчин ушло так много времени. И уже начисто забыла о тех выстрелах, что слышала с утра у железной дороги. Стреляли китайские партизаны, вооруженные ополченцы. Сложно сказать, что это были за люди: брались и за добрые дела, и за злые: участвовали в сопротивлении японцам, истребляли бандитов, сражались с коммунистами — смотря кто стоял на их пути и над кем они могли взять верх. Партизаны шли в Сакито попытать счастья: найдут несправедливость — наведут порядок, найдут врага — отомстят, найдут что плохо лежит — поживятся. Но у входа в деревню им попались пятеро японцев, и ополченцы выстрелили, подарив старостам желанную смерть раньше времени.

Уже на третьем часу пути люди вспомнили, как хорошо было со старостой. Вечерняя мгла подкралась со всех сторон, трехтысячный отряд сошел с широкой дороги на грунтовую тропу с телегу шириной. Колонна стала длинной и рыхлой. Матери поминутно умоляли остановиться, чтоб успокоить детей, которые не могли больше идти. То и дело какая-нибудь женщина грозила ребенку, застывшему на месте у края тропы: «Староста идет, вставай скорее!» Люди думали — будь с нами староста, он бы, наверное, уговорил детей подняться на стертые в кровь ноги и идти дальше. В этот миг из зарослей гаоляна по обе стороны дороги грянули выстрелы.

Первыми упали двое стариков, которые ехали верхом, еще несколько пуль попали в женщин, кинувшихся назад. Дети, выпятив животы, заголосили, какой-то старик, сообразив, гаркнул: «Всем лежать! Не шевелись!» Люди попадали на землю, но в того старика, что кричал, уже угодила пуля. Не успели зарядить винтовки, как бой закончился.

Когда отряд снова построился, недосчитались тридцати с лишним человек. Было нечем выкопать ямы, люди взяли у погибших родственников по пряди волос и сложили трупы в канаву у дороги, прикрыв одеждой поприличней. И пошли дальше.

На них нападали каждый день. Все уже привыкли к смерти, никто не плакал над мертвыми, к ним подходили и молча снимали заплечные мешки с продуктами. Еще люди привыкли считаться с волей раненых и научились умертвлять их быстро и расчетливо. Были и такие, кто не хотел умирать, например, Амон. Когда Тацуру шла мимо, та лежала, подперев голову комом земли, в постели из собственной крови. Новорожденный ребенок лежал рядом, в красной луже, его минутная жизнь уже пройдена до конца. Амон махала измазанной в крови рукой. Каждому, кто шел мимо, она кричала: «Вперед!» Амон думала, что улыбается, но на самом деле ее лицо перекосило от боли. Тех, кто подходил к ней, она просила: «Не убивайте, я мигом вас догоню, я еще не отыскала мужа с сыном!» Один мужчина за пятьдесят не выдержал, отдал ей свой мешок с онигири и кинжал.

Старики берегли для молодых онигири и патроны и старались не доставлять лишних хлопот: несколько человек сговорились и, переходя реку, нырнули под воду, да так и сгинули, не проронив и звука.

Люди постепенно набирались опыта; оказалось, по ночам пули редко попадают в цель. Тогда они стали отправляться в дорогу перед заходом солнца, а днем вставали на привал. Вечером пятого дня, когда путники снимались со стоянки, оказалось, что несколько семей, разбивших биваки по краям лагеря, не проснулись: их зарезали, пока все спали. Люди смущенно оправдывались: слишком устали, не слышали ни звука. Кто-то сказал: а даже если б и слышали, что с того.

Мать Тацуру научила женщин различать съедобные ягоды и растения. Путь растянулся вдвое, запасов больше не осталось. Мать рассказывала, что китайцы умеют из любой травки или листочка приготовить еду. И она тоже научилась этому у китайских батраков. Путникам повезло — стояла осень, и, отыскав ореховую рощу, они могли запастись провиантом на два дня. Матери состригли с подросших дочерей волосы, одели их в темную мальчишечью одежду. И хотя идти становилось все тяжелее и отряд редел с каждым днем, путники оставили за спиной уже триста девяносто километров. Однажды утром они зашли в березовую рощу, хотели разбить там лагерь, как вдруг из глубины рощи раздались выстрелы. Все уже знали, что делать, тут же попрятались за деревьями, легли ничком, матери мигом накрыли собою детей. Стрелки с той стороны не мелочились, давали одну очередь за другой. Все равно война уже кончилась, нет нужды экономить патроны, попадем — хорошо, не попадем — тоже ладно, хоть повеселимся. Постреливая, бойцы весело перекрикивались на русском. Несколько подростков, едва выучившихся держать винтовки, начали палить в ответ. Они уже отведали сладость огня: как-то выстрелили несколько раз в нападавших, и те тут же скрылись. Но сейчас их выстрелы оказались большой ошибкой, они разворошили осиное гнездо: сначала русские стреляли с ленцой, но теперь в них словно проснулась привычка к войне. Люди оставили своих мертвых и стали отступать, волоча раненых. С местностью как будто повезло, сзади был пологий спуск. Они отошли на сотню метров, но тут крики русских послышались с другой стороны — отряд оказался зажат

в кольцо. Дернешься — получишь пулю, сядешь на месте — тоже убьют. Ребята как попало отстреливались, пальнули несколько раз, и противник уже точно знал, где они засели. Скоро мальчишки один за другим попадали на землю.

Огонь стал ожесточенным, они разбудили в русских ярость, и теперь придется дать ей выплеснуться наружу.

Рядом с матерью разорвалась ручная граната, запахло порохом; теперь у Тацуру нет ни матери, ни сестры, ни брата. Отец погиб год назад в бою на Филиппинах. Хорошо хоть, опасность не давала Тацуру думать о том, что она теперь сирота. Вслед за своим отрядом она выбиралась из окружения, оплакивая погибших родных.

Когда вышли из кольца, от жителей пяти деревень осталась всего половина. Две трети погибших в пути полегли в этой березовой роще. А среди живых теперь было больше сотни раненых, и они разом истратили весь порошок для остановки кровотечения.

Под вечер второго дня люди проснулись и увидели, что их раненые покончили с собой. Они не хотели быть обузой, сговорились ночью, а потом, поддерживая друг друга, бесшумно отошли на пятьдесят шагов от лагеря и убили себя, каждый по-своему.

Спустя еще день отряд вышел на горную тропу, по которой приходилось ползти едва ли не на четвереньках. Они снова и снова меняли маршрут, выбирая самые безлюдные тропы, но все эти тропы проходили в горной глуши. Дети не пили два дня подряд и не могли идти дальше, как их ни уговаривай, а младенцы за спинами у матерей или впали в забытье, или плакали навзрыд — нет, это был уже не плач — так кричат перед смертью дикие звери.

Риса не осталось ни зернышка. Изголодавшиеся матери все совали свои сухие сморщенные груди детям: и младенцам, и старшеньким. Даже о малышах, оставшихся без родителей, они могли позаботиться только грудью. Колонна давно уже потеряла форму, растянувшись на три ли в длину, то и дело чьи-то дети терялись, а взрослые умирали. Лишь одно обещание двигало теперь малышей с места: «Скоро придем, а как придем — можно будет отдохнуть». Дети ничего уже не ждали: только бы дать ножкам отдых; они не верили больше обещаниям про еду и питье, что ждут их в убежище.

Так в сентябре 1945 года шел по Северо-Востоку Китая этот отряд, похожий больше на голодного духа. Осенние листья вокруг пылали алым, словно жаркий костер.

Осень на Северо-Востоке короткая, когда утром путники останавливались разбить лагерь, повсюду лежал иней. Они кормили свои тела ягодами и дикими травами, а души питали твердой верой в то, что дойдут до убежища. На пятнадцатый день от отряда осталось тысяча триста человек.

Однажды утром путники наткнулись на миньтуаней[1]. Сами того не зная, они прошли слишком близко к селу и всполошили триста с лишним квартировавших там бойцов. У миньтуаней были хорошие японские винтовки и артиллерия, сначала они ударили по путникам встречным огнем, а потом, обратив их в бегство, палили в спины. Отряд отступил в сосновый лес на гребне горы, только тогда выстрелы стали реже. Женщины бежали, похватав детей на руки или усадив за спину. У Тацуру на спине сидела трехлетняя девочка, у нее держался жар, и каждый ее выдох обжигал сзади шею Тацуру, словно клубок огня. Мать девочки звали Тиэко, она несла

[1] Миньтуань — отряд народного ополчения, до 1949 г. помещичьи охранные отряды в Китае.

на руках сына, ему не было еще и года. Не обращая внимания на пули, Тиэко уселась на землю, в уголках ее рта взбилась пена. Кто-то из женщин вернулся, потащил ее за собой, но Тиэко яростно отбивалась, уцепившись ногами за дерево. Мальчишка визжал у нее в руках, а вытаращенные глаза Тиэко, из которых, казалось, ушла душа, походили на две пустые ямы. Она склонилась к плачущему малышу — а дальше люди видели лишь, как ее лопатки, острые, точно ножи, на секунду неестественно вздыбились под кожей. Когда Тиэко выпрямилась, ребенок уже умолк. И женщины вокруг молча отпрянули назад, глядя, как она кладет на землю мертвого малыша, обеими руками медленно хватается за дерево и подтягивается наверх.

Убив сына, Тиэко рванулась к дочери, сидевшей за спиной у Тацуру. Та взмолилась: «Убей ее завтра, пусть поживет еще денек!» Тацуру была все-таки моложе и сильнее, и убийце, прикончившей только что своего ребенка, было ее не догнать. Старший сын Тиэко набросился на нее сзади с палкой в руках. Сначала она уворачивалась, закрывала голову, но потом медленно опустила руки, и десятилетний мальчик избил ее так, что живого места не осталось.

Так началось детоубийство. С этой минуты матери стали душить больных и слишком маленьких детей. Снимаясь с лагеря, никто теперь не замечал, что в соседней семье пропал ребенок. У матерей судьба такая: один ребенок погибнет, зато другой выживет, и нужно беречь тех детей, которых сможешь сберечь. Даже самки животных наделены этим особым, данным творцом правом: если они чуют врага и знают, что детеныша не спасти, то лучше уж загрызут его сами. Лица у женщин стали отупевшими и неживыми, а в глазах у всех бушевала безмолвная истерика. Тацуру так и не позволила Тиэко подойти, а перед сном привязала больную девочку поясом к своей груди. На другой день утром спасенная малышка неожиданно поправилась. Тацуру растолкла дикий каштан в кашицу, скормила ей и пообещала, что через день они дойдут до убежища. Девочка спросила Тацуру:

— Что у тебя с лицом?

— Это не настоящее, я намазалась черным илом с реки.

— Почему?

— За черным вонючим илом никто не увидит моего настоящего лица.

— А зачем это?

— Скоро будем проходить через поселок, нельзя, чтоб чужие видели мое лицо.

Девочка сказала Тацуру, что ее зовут Сато Куми, ее дом в Уэно, город Токио. По пути в убежище матери заставили детей затвердить наизусть, откуда родом их семья: если с мамой случится беда, по этой ниточке ребенок отыщет потом своих родных.

То был единственный разговор между Тацуру и Куми перед последней бедой.

Они снялись с лагеря глубокой ночью. Мать Куми не проснулась. Путники срезали у Тиэко прядь волос, повязали на Куми и отправились в дорогу.

Тьма рассеялась, ей на смену пришел новый день. Погожий осенний день, все были рады ему как никогда, ведь убежище совсем близко. Высокая полынь покрылась белоснежным инеем, расстилаясь вдаль, докуда хватало глаз. Люди совсем выбились из сил и крепко уснули, едва успев лечь на землю. Они спали тихо и строго, как мертвые, и сотня лошадей, галопом примчавшихся к лагерю, не разбудила их.

Даже выстрелы не сразу разбудили Тацуру. А когда она проснулась, вокруг лежали уже не родные односельчане, а чужие трупы.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Глава 1

На помосте было с десяток холщовых мешков, по очертаниям даже не скажешь, люди в них или звери. Зазывалы кричали, что торговля идет на вес, по цзяо[1] за полкило японского бабья, дешевле свинины. Мешки взвесили заранее, в самом тяжелом оказалось не больше семидесяти цзиней[2]. Охранные войска уезда прислали отделение солдат в черной форме следить за порядком и глядеть, чтоб торговля шла честно. На площадке у начальной школы с раннего утра толпились крестьяне. Холостяки только слюнки глотали — денег на покупку у них не было. За семьдесят цзиней японского бабья придется выложить семь серебряных даянов[3], а у кого было столько серебра, тот мог и за китаянку посвататься, зачем ему вдруг тащить в дом японскую гадину?

Рано утром выпал первый снег, но дороги в поселке Аньпин уже были истоптаны дочерна. А народ все шел и шел; парни сбивались в кучки, прячась друг у друга за спинами, развязно выкрикивали Охранным: «А ну как куплю и мне не понравится — обменяешь?» Ответ был один: «Не меняем!» — «Да как же быть, уйму серебра отдам, а товар окажется неподходящий!» Из толпы кричали: «Какой-такой неподходящий? Погаси лампу, и разницы не заметишь!» или: «Да это ж как носки из собачьей шерсти — все одинаковые!» Народ хохотал.

Смех становился громче, страшнее — мешки, лежавшие на краю помоста, зашевелились.

Позавчера у Охранных случилась перестрелка с бандой хунхузов[4], несколько злодеев убили, а остальные бежали, бросив дюжину японок, девственниц: бандиты даже не успели ими попользоваться. Пойманный хунхуз с раненой ногой оправдывался, дескать, ничего мы дурного не делали, всего-то подстрелили тысячу с лишним бежавших япошек, так ведь студенты когда еще говорили: «Кем бы ты ни был — бей японца!» Полмешка золотых украшений, которые сняли с убитых, стали главарю банды наградой за эту победу. Потом патроны кончились, и уцелевших япошек хунхузы отпустили. Охранные не знали, куда девать этих гадин, было им лет по шестнадцать, исхудали — кожа да кости, все ноги изранены. У Охранных не водилось лишних денег и провизии, чтоб их кормить. Вчера объявили старостам бао и цзя[5] в округе, что япошки пойдут на продажу крестьянам — на худой конец, сгодятся жернова крутить. Осел, и тот дороже семи даянов обойдется.

Зазывалы нетерпеливо покрикивали: «Раскошеливайтесь скорее, а не то они у вас околеют, пока домой довезете!»

Толпа у школьного двора двинулась, пропустив к помосту пожилую чету с молодым парнем. Те, кто их знал, шептали друзьям: «Начальник Чжан с супругой! И Эрхай с ними!» Старик Чжан заведовал в поселке железнодорожной станцией. Он был там и за рабочего, и за охранника, и за начальство. Короткие составы, ходившие по ветке железной дороги Боли — Муданьцзян, стояли на станции Аньпин всего минуту. Зеленая

---

[1] Один цзяо — десятая часть юаня.

[2] Цзинь — мера веса, равен 0,5 кг.

[3] Даян — серебряный доллар, имел хождение в Китае в 1911—1930 годах.

[4] Хунхузы — члены организованных банд, действовавших в Северо-Восточном Китае.

[5] На подчиненных территориях Гоминьдан проводил восстановление политики баоцзя — круговой поруки. Староста цзя отвечал за десять деревенских дворов — цзя, староста бао — за десять цзя.

форма начальника Чжана бросалась в глаза в толпе черных курток у помоста. Все знали, что старик барышничает на станции: за минуту, пока стоит поезд, он успевает погрузить и выгрузить товар, а иногда еще посадить в вагон пару-тройку безбилетников. Потому семья его не бедствует, и даже самая увесистая японская бабенка им по карману. Крошечная жена начальника станции, поспевая за ним, то и дело замирала на месте и притопывала маленькой бинтованной ножкой на Эрхая, отставшего шагов на пять позади. Начальник Чжан всегда звал своего сына Эрхай, «второй сын», но первенца их никто не видел.

Старик Чжан с женой подошли к помосту, взглянули на мешки, кликнули служивого из Охранных. Указали ему на мешок в середине:

— Поставь-ка эту на ноги, поглядим.

Командир ответил:

— Не выйдет, мешок маленький, разве не видно? — И заметив, что жена начальника приготовилась спорить, вставил: — Нечего ловчить, хотите, поди, посмотреть, какого она роста? Так вот, скажу вам как на духу: до очага с котлом дотянется, кастрюли мыть росту хватит! Все япошки — карлики-вако[1]. А карлики они потому, что бабы у них карлицы!

Толпа расхохоталась.

По небу вновь закружился снег.

Жена начальника Чжана шепнула что-то сыну, тот отвернулся. Паренек в толпе, знакомый Эрхая, крикнул: «Друг, у тебя-то уже есть жена! Оставь нам немного!»

Тот даже не моргнул в ответ. Эрхай умел держать себя в руках, и когда чьи-то слова приходились ему не по душе, он будто их и не слышал. Но если как следует рассердить младшего Чжана, он становился брыкливым, точно осел. У Эрхая были верблюжьи глаза, глядевшие на все вокруг из-под полуприкрытых век, а когда он изредка заговаривал, то едва шевелил губами. Эрхай прошел к родителям, поводя широкими плечами, процедил сквозь зубы:

— Берите, чтоб мешок был получше, потом в него зерна насыплем.

Начальник Чжан все-таки взял тот куль из середины; командир Охранных заладил, дескать, открывать мешок при всех не разрешается, хотите осмотреть товар — делайте это дома. Если народ увидит япошку в мешке — красивая она или страшная — это всю торговлю перебьет.

— За семь даянов скажите спасибо, что не хромая и не слепая, — приговаривал командир, пересчитывая серебро начальника Чжана.

Народ подвинулся, расчистив широкий проход; все глядели, как старик Чжан с Эрхаем вешают мешок на шест, берут каждый за свой конец и легким шагом уходят.

Почин старика Чжана тут же подхватили, они с Эрхаем не успели бросить покупку на телегу, как у Охранных взяли еще два мешка. А когда мул докатил их повозку до дома, всех япошек уже разобрали. Никто больше не зубоскалил и не молол вздор: семья Чжан пришла сюда за честной сделкой, а не шутки шутить.

Телега ждала у почтовой станции напротив начальной школы, мул к тому времени был сыт и напоен. Уложили мешок; он совсем не шевелился, но там точно был кто-то живой. Чтобы не загнать мула, Эрхай посадил мать с отцом на телегу, к мешку, а сам пошел рядом, погоняя. Снег повалил гуще, и снежинки стали тяжелее, словно какая-то сила тащила их на землю. От школы до станции было три ли, и добрая часть пути тянулась вдоль пашен начальника Чжана.

---

[1] Вако (или вокоу) — японские пираты, ронины и контрабандисты, которые разоряли берега Китая и Кореи. Вако дословно значит «карлик-разбойник».

Лысые поля на глазах густо белели; так повозка с семьей Чжан ползла сквозь снегопад в ноябре 1945 года. Потом люди говорили, что первый снег в том году выпал поздно, зато снегопад был лютый. Люди хорошо запомнили тот год и в рассказах детям каждую мелочь превращали в предвестие, в знак того, что японские гады сдадутся. В знак того, что гады сбегут, бросив толпу горемычных, сиротливых гадин с гаденышами. Даже Чжанам казалось, что эта дорога им что-то пророчит — снег вдруг в один миг скрыл под собой колею. По правде, метель сослужила службу девушкам в мешках: духу не хватало смотреть, как кули на помосте покрывает снег, и люди торопливо все раскупили. Даже та, что сидела в мешке старика Чжана, почувствовала, как свирепа метель и тяжела дорога. Она пока не знала, что отцы здешних жителей так и приехали в Маньчжурию из-за Великой стены — на телеге, запряженной мулом. В те времена кто не мог свести концы с концами — шел на север. Так и родители гадины в мешке: не сумели себя прокормить — отправились на запад, перешли границу и заняли земли, вспаханные отцами местных крестьян. Эти земли звались Гуаньдун или Маньчжурия, они и стали узенькой дорожкой, на которой встретились два врага.

Мать Эрхая беспокойно глянула на неподвижный мешок:

— У тебя кофта есть под стеганкой? — спросила она сына.

— Нет.

Старуха замолчала. Она думала велеть Эрхаю снять стеганку и укрыть мешок, но у него не было другой одежды, и ей, конечно, не хотелось морозить сына. Эрхай хлестнул мула, тот зарысил, а парень побежал рядом. Он понял, зачем мать спросила про кофту.

Дом семьи Чжан был соединен со станцией железной дороги. Зал ожидания вместе с кассой занимал места не больше, чем шесть квадратных столов, составленных рядом, а боковая дверь вела прямо на кухню Чжанов: как растопят котел — греется и дом, и зал ожидания. Через стену от кухни стоял хлев, там же хранили уголь и дрова. Стащив мешок с телеги, Эрхай вынес его на середину дворика. С неба так сыпало, что парень поморщился, зажмурил верблюжьи глаза с длинными, белыми от снега ресницами.

Мать крикнула:

— Что ж ты мешок сразу в дом-то не отнес, зачем бросил в снег?

Эрхай торопливо поднял куль, затащил его в главную комнату. Он прикинул, что в мешке явно меньше шестидесяти цзиней. Разве дождешься от Охранных чего хорошего? Надули почти на два даяна. Войдя в комнату, он сразу почуял неладное, сбросил мешок, выскочил обратно во двор, побежал в западный флигель. Там никого не было. Сяохуань ушла. Сундуки можно не открывать, и так понятно, что жена собрала зимнюю одежду и сбежала к родителям. Эрхай подумал: и поделом, пусть мать с отцом увидят, какая это была глупая затея. Им вздумалось купить япошку, чтоб она вместо Сяохуань рожала детей, да ведь Сяохуань не нарочно родить не может.

Тут мать позвала из главной комнаты:

— Эрхай! А Эрхай!

Он сидел на кане[1], докуривая трубку. Старуха прижала лицо к окну, постучала пальцем.

— Идите сюда! — она-то просто светилась от радости.

Эрхай ее будто и не слышал. Мать толкнула дверь. Старуха давно привыкла, что сын ей не отвечает, но зайдя в комнату, тоже поняла, что дело дрянь. Сколько раз они с отцом объясняли снохе: купим япошку, родит нам ребенка, как родит — тут же ее и выгоним.

[1] Кан — широкая кирпичная или глиняная лежанка, внутри которой по дымоходу проходит горячий воздух от печи.

— На днях вместе съездим к Сяохуань, я хорошенько с ней потолкую, уговорю вернуться, — пообещала мать. — А ты пока развяжи мешок, выпусти человека.

Эрхай взглянул на мать из-под прикрытых век, медленно поднялся, буркнул:

— А вы с отцом чего? Не знаете, как мешок развязывается?

— Так не нам же с отцом с ней детей приживать, — примирительно ответила старуха. Она хорошо знала сына — на словах он не очень-то почитал родителей, но делал всегда так, как они велят. Вот он ворчит, но уже встал и пошел следом за матерью. С малого детства Эрхая не было такого, чтоб он согласился с родителями, а сделал по-своему. Так и с япошкой для продолжения рода: он с самого начала перечил родителям, но на деле был почтительным сыном.

Эрхай с матерью прошли сквозь двор, густо усыпанный снегом, заглянули в дом. Отец был на станции: в два часа проходил без остановки товарный поезд, старик пошел семафорить.

В главной комнате было хорошо натоплено: мать подсыпала угля в котел, жар пошел по дымоходу в кан. Фигурка в мешке сжалась в комочек, не шелохнется. Эрхай понимал: мать позвала его открыть мешок еще и для того, чтобы он «снял покрывало с невесты». К тому же старуха не смела сама притронуться к мешку — кто знает, что оттуда выскочит. Япошки сдались, но как ни крути, люди все еще их боялись. Не говоря уж о том, что они были беспощадными извергами, захватчиками, которые убивали все живое, так ведь и просто чужеземец — это еще как страшно. Эрхай услышал, что его сердце тоже стучит, словно барабан.

В мешке, обхватив руками колени, сидел крошечный человечек. Эрхай с матерью так и застыли на месте, глядя на него. Голова человечка была острижена под ежик в цунь длиной, по волосам можно было принять его за брата Эрхая. Шейка тоненькая, в обхват ладони, все лицо в струпьях грязи. Мать увидела, что одет он в короткие штанишки, едва до колен, ноги измазаны в подсохшей крови. Человечек взглянул на старуху, и у той сердце сжалось, руки-ноги сделались ватными. Она велела Эрхаю:

— Ну чего ты, скажи ей, чтоб вставала!

Эрхай застыл на месте, во все глаза глядя на пленника в мешке.

— Эрхай, скорей вели ей, чтоб вставала!

Парень приказал скрюченному человечку:

— Вставай, — его взяла досада на мать. — Смотри, что вы с отцом наделали! Еще поди угадай, оклемается она или нет!

Как раз об этом-то мать и беспокоилась. А ну как в их доме умрет япошка, что тогда будет? Не говоря даже об убытках, что они людям скажут?

Мать подняла руки, сама еще не зная, что будет делать. Набралась храбрости и схватила человечка за предплечья. Она уже приготовила себя к тому, что япошка — на семь частей бес, а на три части человек, но когда тронула этого беса, мурашки побежали по коже: вместо рук — две косточки! Она подтянула пленника к себе, отпустила руки, и он тут же снова опрокинулся навзничь. Охранные ручались, что все япошки в мешках целые и невредимые, почему же семье Чжан всучили калеку? Не иначе как ноги перебиты пулями. Стоять теперь не может.

Они с сыном оттащили человечка на кан, ноги у него заплетались. Мать задрала ему штанины повыше, но следов от пуль не нашла. Только теперь она поняла, что это кровь от регул. Старуха успокоилась: по крайней мере, перед ней женщина.

— Пойди принеси ей горячей воды напиться, может, еще отойдет.

Эрхай мигом подал матери чашку чая. В старухе больше не было ни страха, ни брезгливости, она села, поджав скрещенные ноги, усадила человечка себе на колени и тихонько поила его из чашки. Почти весь чай лился обратно, грязь на щеке япошки размокла, измазав старухину руку. Мать велела Эрхаю поскорей принести таз с водой и полотенце. Он налил в таз воды из железного чайника, который грелся на теплом краю кана, снял с умывальника полотенце.

Попоив япошку чаем, старуха намочила полотенце и стала понемногу стирать грязь с ее лица. Она отлично понимала, зачем нужна такая маскировка: когда Япония захватила Маньчжурию, на медные рудники в северной части поселка, бывало, приходили целые вагоны с японскими солдатами. Тогда матери мазали дочерям лица золой или речным илом.

Из-под грязи стала проступать кожа, мягкая, нежная, под ушами — густой детский пушок. Вода в тазу превратилась в грязную жижу, зато лицо теперь можно разглядеть. Если откормить — станет ничего.

Эрхай в стороне наблюдал, как мать отмывает япошку, словно морковку: вот выступили широкие брови, высокий нос. Япошка была исхудавшая донельзя, и потому лицо ее казалось оскаленным.

Старуха проговорила:

— Какая красавица. Только бы не калека. Правда же, Эрхай?

Не слушая мать, Эрхай взял таз и вышел из комнаты. Выплеснул воду в канаву рядом с домом, не стал разливать по двору — тут же застынет, и мать того и гляди поскользнется на своих бинтованных ножках. Старуха вышла и сказала, что сварит пока япошке суп с яйцом, а то с голоду у нее кишки повредились, день-два нельзя давать ей ничего, кроме супа. Мать придумала для Эрхая еще работу:

— Сходи в лавку, купи несколько чи[1] ситца, сошьем ей ватную стеганку.

Эрхай пошел к воротам, спрятав ладони в рукавах. Мать что-то вспомнила — семеня ножками, протоптала ниточку следов в снегу, сунула Эрхаю в рукав банкноту:

— Деньги забыла дать! Бери с красными цветами по синему! — в их лавке продавалось всего два вида ситца: красный с синими цветами и синий с красными. Когда Эрхай дошел до ворот, мать передумала:

— Нет, давай красный! Красный с синими цветами!

— Зачем зря деньги тратить? Как знать, может, она калека!

— Это ей родить не помешает! — мать махнула рукой. — Красный с синими цветами. Понял?

— Сяохуань еще больше рассердится.

— Чего тут сердиться? Родит ребенка — мы ее погоним в шею.

— Как погоним?

— Посадим в этот самый мешок и отнесем в горы, — захихикала старуха. Ясное дело, шутит.

Когда Эрхай вернулся из лавки, мать с отцом прильнули к двери в главную комнату и глядели в щелочку. Старик Чжан услышал скрип шагов по снегу, повернулся к сыну и махнул ему, чтоб подошел. Мать тут же уступила Эрхаю место. Сквозь щель в двери он увидел, что крошечная япошка теперь стоит, боком к ним, глядится в зеркальце на стене. Стоя она была уже не похожа на карлиц, которые рожают карликов-вако, она была ростом почти как девушки в их поселке. Эрхай отошел от двери; старуху так и распирало от счастья, радовалась выгодной покупке.

— Смотри, где же она калека? — шептала мать. — Просто в мешке скрючилась.

---

[1] Чи — мера длины, 1 чи равен 32 см.

Начальник Чжан тоже зашептал:

— Если кто спросит — скажем, что купили ее еду стряпать.

Мать кивнула Эрхаю, чтоб шел следом. На кухне уже стояла здоровая чашка риса с гаоляном, сверху навалена квашеная капуста, жаренная с тофу. Мать объяснила, что яичный суп япошка мигом проглотила, она даже испугалась, что та себе горло пережжет.

— Скажи ей, чтоб ела не спеша, там еще много!

— Ты же говорила, ей ничего нельзя, кроме супа?

— Так одним супом разве наешься? — мать на радостях даже забыла про свои недавние слова. — Скажи ей, пусть съест кусочек и сразу запьет водой, тогда не страшно.

— Я что, по-японски умею говорить? — огрызнулся Эрхай, послушно шагая в главную комнату.

Он открыл дверь и уперся взглядом в ноги в ватных штанах. Штаны были материны. Поднял глаза чуть выше, увидел руки, пальцы короткие, еще как будто детские. Эрхай решил, что смотреть тут нечего, и дальше веки поднимать не стал, впереди смутно маячили живот и ладони. Живот чуть отодвинулся, это япошка шагнула назад. Вдруг перед прикрытыми глазами Эрхая очутилась ее голова, самая макушка. Сердце снова застучало барабаном — впервые ему кланяется японец. А может быть, поклон вовсе не ему, а чашке с рисом, капустой и тофу.

Эрхай растерялся, прикрытые веки взлетели вверх, и как раз в этот миг япошка выпрямилась. Парень покраснел до ушей: его глаза уперлись ровнехонько в нее. До чего же большие у нее глаза. Как у суслика. Исхудала, потому и стала похожа на суслика. Эрхаю было и жалко ее, и противно, он поставил чашку с едой на столик для кана, развернулся и вышел из комнаты.

Со двора он тут же побежал в свой флигель. Родители скоро пришли с расспросами, поздоровался он с ней или нет. Эрхай ничего не слышал, знай себе копался в сундуке из камфорного дерева. Почему его так взбесило, что они с япошкой встретились глазами? Он и сам толком не знал. А мать с отцом сияли от радости, точно два проказника.

— Семья Чжан не обеднеет, даже если взять в дом вторую жену, — сказала мать.

Эрхай как будто и не слышал. Начальник Чжан вставил:

— Не бойся, мы с матерью съездим к Сяохуань, помиримся. Она неродящая и слова против не скажет. Пройдет два года, ты меня заменишь, будешь сам начальником станции, а на место Сяохуань к тому времени молоденькие невесты в очередь выстроятся.

Эрхай наконец вытащил из сундука наушники из собачьей шерсти. Мать спросила, куда он собрался, Эрхай молчал. Взял с кана ватное одеялко, которым Сяохуань накрывала ноги в повозке. Только тут старики поняли, что сын поедет к сватам.

— Снег-то как валит, кто же в такую погоду отправляется в путь? — сказал начальник Чжан. — Чем хуже, если мы с матерью завтра туда съездим?

Эрхай споро завязывал обмотки на штанах, но тут его руки заходили медленней.

— Сорок ли пути, а если Сяохуань не разрешит тебе заночевать, придется обратно гнать сорок ли.

— Все равно нельзя, чтоб о Сяохуань сплетни пошли, — скажут: жена у родителей, а он дома с япошкой…

— Какие же это сплетни? — начальник Чжан развел руками.

Эрхай уставился на отца.

— Это правда! — сказал старик Чжан. — Для чего мы япошку купили? Чтоб детей рожала. На глазах у Чжу Сяохуань или за спиной у Чжу Сяохуань — какая разница? Все равно это правда! Ты, етит твою, уже здоровый мужик, двадцать лет как-никак... Хорошо, давай, беги по метели к жене, пусть похвалит тебя за честность.

Мать и вовсе была спокойна. Она сроду перед Эрхаем не распиналась, не то что начальник Чжан. Старуха понимала: сын послушен им с отцом почти до безволия. Пусть он жене плетет что угодно — все равно сделает так, как ему скажут родители.

— Не могу смотреть, как вы обижаете Сяохуань! — пробормотал Эрхай, медленно развязывая обмотки.

Снег шел всю ночь. Эрхай поднялся рано утром, пошел подкинуть угля в котел, а там мать учит япошку лепить угольные кирпичи[1]. Видно, крепкая это япошка, только что худая. Мать обернулась, позвала:

— Эрхай, иди, покажи ей, как лепить!

Но он уже был на улице; и тошно, и смех берет: бабам только дай посводничать. Натура у них такая, они и сами ничего поделать не могут. Кирпичи из угля даже дурак умеет стряпать, были бы силы. На третий день япошка уже сама лепила кирпичи. Начальник Чжан разводил водой глину с угольной крошкой, и она принималась за работу. На пятый день сил у япошки заметно прибавилось, она надела новую стеганку, сшитую старухой, — красную с синими цветами, а остатки ситца повязала на голову, щетинистую, словно каштан. Косынку она завязывала на японский манер, как ни погляди — япошка и есть япошка. В этих самых обновках она вставала на колени у дверей, встречая начальника Чжана со станции. Еще через два дня она выучила расписание старика Чжана, заранее вставала на колени, чтоб завязать его кожаные башмаки. Проделывала все это она на удивление сосредоточенно, прилежно тараща глаза, так что и мать, и сам Эрхай только молчали.

Снег, наконец, растаял, потом и дорога подсохла, Эрхай запряг мула, и они с матерью отправились в деревню, где жила семья Чжу. Старик Чжан, конечно же, никуда не поехал — кто вместо него за станцией будет смотреть? К тому же не пристало солидному человеку, начальнику станции, заниматься этими бабскими делами. Старик Чжан брякнул первое, что на ум пришло, когда пообещал, что съездит и поговорит с Чжу Сяохуань; за ним такое водилось, и потому ни Эрхай, ни мать не приняли его слова всерьез. Кто-то из пассажиров привез ему две бутылки гаолянового вина, еще старик достал лежавший у него много лет корень женьшеня и отдал все жене, чтоб подарила сватам.

Мать велела Эрхаю не тревожиться: семья Чжу понимает, что к чему, они сами боятся, что из-за Сяохуань Чжаны потребуют развода.

— С чего разводиться-то? — Эрхай кипятился, верблюжьи глаза глядели почти не устало.

— Кто сказал разводиться? Разве мы бесстыжие люди? — тараторила мать. — Я тебе толкую, что у семьи Чжу четыре дочери, Сяохуань замужем удачней всех, и ее родители сами нас с тобой побаиваются.

Сначала Сяохуань Эрхаю вовсе не нравилась, но уговор есть уговор, и ему пришлось на ней жениться. Было даже такое, что он затаил злобу на жену, — оказалось, у нее в документах подделанный год рождения. После свадьбы однокашник Эрхая из села Сяохуань рассказал, что молодая его

[1] Угольные кирпичи — вид топлива, который использовали в крестьянских домах. Угольную крошку замешивали с глиной и водой, полученными брикетами топили печь.

жена, оказывается, засиделась в девках: из-за ее вздорного характера семья Чжу долго не могла выдать дочь замуж — все знали, что Сяохуань любит поскандалить, никто не хотел на такой жениться. Родители побоялись, что дочь останется старой девой, и урезали ей возраст на два года. Эрхай не помнил, когда полюбил Сяохуань. Она свое дело знала: на второй месяц после свадьбы уже понесла. На четвертом-пятом месяце повитуха в Аньпине обещала: будет сын — по пояснице, по животу видно. С тех пор и Эрхай, и мать, и даже начальник Чжан терпели вздорный характер Сяохуань, да не просто терпели, а, лукаво посмеиваясь, нахваливали невестку.

Дурной нрав Сяохуань вдруг переменился после того, как она потеряла ребенка. Недоношенный, семимесячный, он был размером с годовалого младенца и такой же целенький. Эрхай сам почти ничего не помнил, он знал все по рассказам матери, родни и друзей: они снова и снова повторяли ему, как Сяохуань наткнулась на четырех японских солдат, как ее подружки бросились врассыпную, как она вскарабкалась на вола, что пасся у дороги, — но разве вол с нею на спине мог убежать от японских солдат? Так и непонятно, за кем должок: за японцами или за тем волом — это он на бегу вскинул зад и отбросил Сяохуань на чжан[1] с лишним вверх и в сторону — так у нее до срока начались роды.

Лучше всего Эрхай помнил ее кровь. Кровь Сяохуань носили из палаты тазами, и врач уездной больницы тоже оказался с ног до головы одет в ее кровь. Разведя в сторону багровые руки, он стоял перед старшими Чжанами с Эрхаем:

— Решайте, кого спасать — мать или дитя.

Эрхай ответил:

— Мать.

Родители молчали. Врач все стоял на месте; взглянув на Эрхая, он тихо предупредил, что если спасти Сяохуань, она больше не сможет родить, у нее там живого места не осталось.

— Тогда спасайте дитя, — вставила старуха.

Эрхай прокричал уходящему доктору:

— Спасите мать! Спасите Сяохуань! — врач обернулся, пусть, мол, родственники решат спор. Начальник Чжан еще раз от лица семьи объявил:

— Если можно сохранить только одну жизнь, спасайте внука семьи Чжан.

Эрхай вцепился доктору в ворот:

— Ты кого слушаешь? Я отец ребенка, я муж Сяохуань!

По правде, Эрхай не помнил, что говорил такое. Это потом Сяохуань ему рассказывала. Она вспоминала: «До чего же ты брыкливый, перепугал старенького доктора, он чуть штаны не намочил!» Потом Эрхай крутил это в голове снова и снова: раз он и впрямь сказал то самое, от чего старенький доктор едва не обмочился, значит, он любит Сяохуань. И не просто любит, а так, что готов идти против воли родителей, готов пресечь род семьи Чжан, любит всей душой и всем сердцем.

Повозка завернула во двор Чжу, родители Сяохуань вынесли на улицу скамейки, чтоб Эрхай с матерью попили чаю на солнышке. Семья Чжу в селе считалась зажиточной, у них было тридцать с лишним му хорошей земли, да к тому же они торговали масличными семенами. Теща и кричала, и бранилась, еле заставила Сяохуань выйти из дому. Та коротко поздоровалась со свекровью и тут же повернулась к своей матери, вытаращив удивленные глаза:

[1] Чжан — мера длины, около 3 м.

— А кто это в новой стеганке? Мы его звали? Как это у него стыда хватило приехать?! — говорила она резко, отрывисто, явно не боясь обидеть.

Старики Чжу вместе со сватьей делано засмеялись, а Эрхай знай себе пил чай. У него словно камень с души упал — какая же Сяохуань понятливая, из такой заварухи разыграла обычную супружескую ссору. По тому, как вели себя тесть с тещей, он видел: жена не говорила им, что на самом деле случилось.

На круглом личике Сяохуань сияли румяные щечки, веко у нее было сплошной припухлой складкой, а под ней прятались густые ресницы, и когда на Сяохуань ни посмотри — кажется, что она только встала с кровати. Жена была остра на язык, да и посмеяться любила; когда смеялась, на левой щеке у нее выступала ямочка, а уголок рта подпрыгивал, открывая зуб с тоненькой золотой каймой. Эрхай терпеть не мог людей с золотыми зубами, но этот зуб так и сверкал в улыбке Сяохуань и совсем ее не портил. Эрхай не считал жену красавицей, но людям она нравиться умела еще как, со всеми была приветлива, даже бранилась ласково, с душой.

Родители Сяохуань вынесли узел с лепешками, сказали, что тут хватит троим перекусить в дороге.

Сяохуань взвилась:

— Кому это троим?! Кто это вместе с ними поедет?

Мать шлепнула ее по макушке, велела собирать вещи и ехать к мужу, родители ее больше кормить не собираются. Только тут Сяохуань передернула плечами, скривилась и нырнула в дом. Через минуту она уже вышла с платком на голове, на ватных штанах — обмотки. Вещи у нее, конечно же, были давно готовы, она собралась еще прежде чем услышала, что приехали муж со свекровью. Обычно неподвижные губы Эрхая дрогнули в улыбке: повезло ему с Сяохуань — и поругалась как надо, и помирилась вовремя.

Глава 2

Как-то апрельским утром япошка сбежала. Сяохуань встала пойти до ветру и заметила, что засов на воротах открыт. Едва рассвело, и кому приспичило идти со двора в такую рань?— гадала Сяохуань. Выпавший за ночь снег прикрыл землю тонким сизым слоем; она увидела цепочку следов в снегу — начинается у восточного флигеля, заворачивает на кухню и тянется за ворота. Япошка с родителями Эрхая жила в северной комнате.

Сяохуань вернулась к себе, растолкала мужа:

— Волчицу-то японскую откормили. Она и убежала.

Эрхай открыл глаза. Вместо того, чтоб переспрашивать: «Чего говоришь?», он молча раскрывал свои верблюжьи глаза докуда мог — это значило, что собеседник, по его мнению, несет вздор, но пусть повторит свой вздор еще раз.

— Точно убежала! Уж твои матушка с батюшкой ее сладко поили, вкусно кормили, вот и выкормили японскую волчицу. Нагуляла жиру, побежала обратно в горы.

Эрхай, выдохнув, сел. Не слушая едкие насмешки жены (ох, и жаден ты до этой японской бабенки, лет ей маленько, а уж умеет угодить мужику), Эрхай торопливо натянул штаны, стеганку.

— Отец знает?

Сяохуань не унималась:

— Выгодная покупка, ничего не скажешь: за семь даянов столько раз с ней переспал! Как горбатому на рельсы ложиться — сплошная прибыль[1].

[1] Недоговорка-иносказание сехоуюй: в китайском языке слова «выпрямлять» и «стоить, цениться» звучат одинаково.

Загляни в любой кабак с нелегальными шлюхами — да за ночь там отдашь целую горсть серебра, не меньше.

Эрхай вышел из себя:

— Закрой рот. Снег на улице, замерзнет насмерть — что делать будем?

Он выскочил во двор, а Сяохуань все кричала ему в спину:

— Надо же, как торопится! Смотри не упади: зубы выбьешь, целоваться станете — изо рта засквозит!

Мать Эрхая посмотрела в доме, оказалось, япошка ничего не тронула, взяла только несколько кукурузных лепешек. И оделась в то, что было на ней в мешке. Все вспомнили, как усердно она отстирывала свои японские штаны и кофту, как старательно прогладила их дном чайника, потом аккуратно сложила — значит, тогда еще готовила пожитки, чтоб сбежать. Мечту о побеге заносило снегом, заметало вьюгой, но она уцелела, пережила долгую зиму.

— Вот ведь япошка, и одежду нашу китайскую не оценила. Замерзнет, как пить дать! — пообещал начальник Чжан.

Мать стояла, оцепенев, с той самой стеганкой в руках — синие цветы по красному. Жили вместе полгода, она япошку держала почти за сноху, а та удрала, все равно что от чужих. На стеганке лежало еще две пары новых матерчатых чулок, подарок Сяохуань, — никакой благодарности у человека. Начальник Чжан надел шапку, собрался на улицу. Эрхай тоже торопливо натянул шапку, обулся, не глядя на Сяохуань: с трубкой в зубах она привалилась к дверному косяку и, недобро улыбаясь, смотрела на разыгравшийся в доме спектакль. Эрхай проскочил мимо, а она с деланым испугом шарахнулась в сторону, словно уворачивается от здоровенного быка, который вырвался из загона.

Начальник Чжан с Эрхаем по следам дошли до выезда из поселка, там отпечатки ног терялись в следах телег и повозок. Гадая, как искать дальше, они стояли, засунув руки в рукава. В конце концов решили разделиться. Злость жгла Эрхаю сердце, но винил он родителей: нечем заняться было? Нашли беду на свою голову! Сколько сил вымотала у семьи эта полудохлая япошка! Сколько ругани из-за нее было! Сейчас девчонки и след простыл, а Эрхаю всю жизнь слушать упреки, до самой смерти Чжу Сяохуань будет в своем праве.

Япошка ему чужая, он ей тоже, и общая кровать их ни на волос не сблизила. В первую ночь Эрхай услышал, что девчонка плачет. Он пришел к ней исполнить долг перед матерью с отцом, но услышав это хныканье, озлобился. Какого черта она плачет? Будто он и правда изверг какой. Эрхай к ней по-хорошему, хотел сделать все тихо, осторожно, а она лежит — покорная, ни дать ни взять приготовилась к его скотству. Ну что ж, тогда скотство и получай. Он быстро закончил, а она все всхлипывала; еле сдержался — руки чесались схватить эту гадину за отросшие волосенки и вызнать, что ж ее так обидело.

С того дня япошка ложилась перед ним, словно покойник: нарядно одета, подбородок задран вверх, пальцы ног смотрят в потолок — от мертвой не отличишь. Приходилось самому снимать с нее одежду; однажды, раздевая япошку, он вдруг понял, до чего мерзко и гнусно выглядит. А ей того и надо — сделать из него мерзавца. Туго стянув себя одеждой, лежит — точь-в-точь живой мертвец, — чтобы он, срывая с нее тряпки, чувствовал себя хуже животного, чтобы он чувствовал себя так, будто насилует труп. Эрхай рассвирепел — хорошо же, я и буду с тобой хуже животного. Отец твой и братья так и обходились с нашими женщинами — хуже животных.

Только однажды вышло по-другому. Той ночью, куражась над япошкой, он совсем выбился из сил, хотел было сразу слезть с нее и пойти восвояси, но решил ненадолго остаться, перевести дух. Вдруг девчонкина рука легла ему на спину, легла и тихонько погладила. Робкая, нежная рука. Он вспомнил, как впервые увидел япошку — сначала перед глазами очутились ее детские руки с короткими пальцами. Тут его оставили последние силы.

Эрхай подошел к поселковой начальной школе. Было еще рано, школьная площадка пустовала. Не надеясь на удачу, он спросил у местного рабочего, проходила ли мимо японская девушка.

Тот ответил, мол, не знаю, японская то была девушка или нет, но проходила, молоденькая, с волосами ершом, шла к выезду из поселка. В кофте с воротником-шалькой? Да, с воротником-шалькой. В коротких штанах? Точно, в коротких штанах.

Эрхай вернулся домой под вечер несолоно хлебавши. Начальник Чжан был у Охранных, узнал, где поселились остальные девки из мешков. Двух продали в соседние деревни, старик туда съездил: оказалось, тамошние япошки замужем за бедняками, но кое-как живут и даже понести успели. Скорее всего, с беглянкой из дома Чжан у них сговора не было.

За следующие пару дней Эрхай с отцом объездили несколько дальних поселков, но домой приезжали ни с чем. А под вечер шестого дня Сяохуань заметила у ворот черную тень, когда возвращалась от подруги. Вцепилась в нее и потащила во двор, крича во все горло: «Вернулась! Вернулась! На улице-то есть нечего, оголодала и прибежала назад, чтоб мы ее дальше кормили!»

Япошка не понимала слов Сяохуань, но голос у той был звонкий, радостный, как на Новый год, и беглянка больше не упрямилась, послушно дала затащить себя в дом.

Мать Эрхая сидела за столиком для кана, курила и играла в мацзян. Услышав крик Сяохуань, она необутая, в одних носках, соскочила на пол. Подошла к япошке, та опять отощала; старуха хотела было отвесить ей оплеуху, но даже рука не поднялась.

— Сяохуань, ступай на станцию, скажи отцу, пусть идет домой, да поскорей! — скомандовала старуха.

— Стоит у ворот, боится зайти, небось, знает, что провинилась? — допытывалась Сяохуань.

Япошка молча смотрела на нее: не понимая, что говорит Сяохуань, она не могла услышать ехидства.

Из западного флигеля явился Эрхай, мать тут же захлопотала:

— Ладно, ладно, бить ее или ругать — пусть отец решает.

К ужину начальник Чжан вернулся со станции, достал лист бумаги и велел Эрхаю:

— Ну-ка, напиши ей: «Ты чего сбежала?» Наши иероглифы япошки понимают[1].

Эрхай сделал, как сказано, только отцовское «чего» поправил на «почему». Япошка глянула на бумагу и снова опустила глаза в пол, даже не шелохнулась.

— Кажется, не понимает, — сказал Эрхай.

— Все она понимает... — ответил старик Чжан, впившись глазами в лицо под копной волос.

---

[1] В японском языке существует несколько систем письма, в одной из них, кандзи, используются китайские иероглифы, однако их значение и употребление расходится с исконно китайским. Кроме того, в кандзи используются далеко не все китайские иероглифы, только небольшая часть.

— Да бросьте вы. Чего тут спрашивать? Соскучилась девчонка по родителям, вот и все, — вставила мать. Она подхватила палочками кусок пожирнее и бросила его в япошкину чашку, тут же выбрала другой кусок, еще больше, и отправила в чашку Сяохуань. Старуха будто играла с невидимыми весами: на одной стороне Сяохуань, на другой — япошка.

— Эрхай, напиши еще: «Тогда чего вернулась?», — велел начальник Чжан.

Эрхай аккуратно, черточка за черточкой, вывел на бумаге вопрос отца.

Япошка прочла иероглифы, но осталась сидеть, как истукан, и взгляд опустила.

— Я вам за нее скажу, — подала голос Сяохуань, — оголодала, ворованные лепешки все подъела, вот и вернулась. Еще лепешки есть? Сготовьте побольше, на этот раз мне их до Харбина должно хватить.

Сяохуань заговорила, и япошка тут же подняла на нее глаза. Красивые, ясные глаза. Она смотрела так, будто все понимает, да не просто понимает, а еще и любуется Сяохуань. А та не замолкала с тех самых пор, как впервые увидела япошку, дарит ей косынку — непременно вставит: «У вас, у японских гадин, красивей, да? Ничего, и такая как-нибудь сгодится. Красивую я бы разве тебе отдала?» Сует пару башмаков на вате, ворчит: «Вот, башмаки тебе задаром достались, уж не обессудь, что старые, как-нибудь поносишь. Хочешь новые — сама сшей». И каждый раз япошка ясными глазами смотрит на Сяохуань, слушает, как та брюзжит, как возмущается, а дослушав, сгибается пополам — благодарит за подарок.

За целый вечер от япошки так ничего и не добились. На другой день во время ужина она почтительно расстелила перед домочадцами лист бумаги. На бумаге иероглифы: «Чжунэй Дохэ[1], шестнадцать, отец, мать, братья, сестра мертвы. Беременна Дохэ».

Все так и застыли на месте. Неграмотная старуха ткнула локтем начальника Чжана, но он словно воды в рот набрал. Она забеспокоилась, ткнула сильнее.

Сяохуань сказала:

— Ма, она понесла. Потому и вернулась.

— ...это нашего Эрхая ребенок? — спросила старуха.

— Ты чего городишь?! — Эрхай, еле шевеля губами, осадил мать.

— Эрхай, спроси ее, который месяц? — старуха от беспокойства места себе не находила.

— Только понесла, не иначе, — ответил начальник Чжан. — Убежала, поняла, что беременна, и вернулась поскорей, вот и весь сказ.

— Не видела, чтоб ее тошнило или рвало, ничего такого... — мать все боялась верить.

— Кхм. Ей лучше знать, — сказал начальник Чжан.

Сяохуань взглянула на мужа. Она знала, какой Эрхай жалостливый и как паршиво ему должно быть от слов «отец, мать, братья, сестра мертвы». Япошка Чжунэй Дохэ — сирота, и лет ей всего шестнадцать.

— Детка, ешь скорее, — старуха намазала гаоляновую пампушку соевой пастой, подцепила палочками белоснежное перышко лука, сунула в руки япошке по имени Чжунэй Дохэ, — когда носишь дитя, надо кушать, даже если не лезет!

Остальные за столом тоже по очереди взялись за палочки. Говорить не хотелось. Хотя каждый думал об одном: неизвестно даже, как погибли ее родные.

[1] Китайское чтение японского имени Такэути Тацуру.

С того вечера Сяохуань с Эрхаем вздохнули свободно. Раз япошка ждет ребенка, Эрхаю больше нет нужды к ней ходить. Ночью он сгреб жену в объятия, та шутливо отбивалась, возилась в его руках, ворчала: «Аппетит у япошки нагулял, а голод успокоить ко мне явился». Эрхай не оправдывался, он молча и страстно обнимал жену, чтобы та поняла: да, он пришел к ней насытить «голод», он до смерти изголодался по своей Сяохуань.

Жена заснула, а к Эрхаю сон не шел. Он думал: чудное это имя, «Дохэ», а иероглифы красивые. Потом, наверное, привыкну так ее звать. Повернулся на другой бок, луна светила в окно голубовато-белым. Подумал еще: вот родит мне ребенка эта чужая японская девушка Дохэ, тогда, может, и перестанет быть такой неродной.

Девочка появилась на свет в январе, глубокой ночью. Роды прошли легко, ребенка принимала повитуха из уезда, она знала немного по-японски. У начальника Чжана были свои резоны отправиться в уездную больницу и выложить там кругленькую сумму за повитуху, японку-полукровку: он не хотел, чтоб люди в Аньпине узнали, кто на самом деле родил его внучку. Как только живот Дохэ округлился, она больше не выходила со двора, сидела дома. Сяохуань уехала к родителям и жила там, пока ребенку не исполнился месяц. Когда люди вновь увидели Сяохуань, у нее на руках уже сидела девчушка в розовой накидке, и Сяохуань важно разгуливала с ней по улицам. Спросят: «Откуда ребеночек?», она ответит: «А то непонятно? Утром навоз отгребала, там и нашла, откуда еще!» или: «Из женьшеня выстругала!» Скажут: «Какая красивая девочка!», Сяохуань смеется: «Так и есть, у матери-уродины растет вышитый цветочек!» А если кто ехидно подметит: «Сяохуань, чего это дочка на тебя не похожа?», она и тут за словом в карман не полезет: «И хорошо, что не похожа! Иначе бедная сваха, пожалуй, забот не оберется. Разве найдешь на свете еще такого дурака, как Чжан Эрхай?»

Сяохуань вернулась в мужнин дом от родителей под вечер и сразу пошла в свой флигель. Мать Эрхая прибежала, радостно дробя крохотными ножками.

— Сяохуань, идем, покажу тебе толстушку, уже месяц стукнул!

— Эрхай у нее?

Старуха, конечно же, все поняла, поспешила в дом, со свистом рассекая ножками воздух. Вскоре явился Эрхай.

— Столько старался, и все зря, девчонку выстругал. Одни убытки, — съязвила Сяохуань.

Счастливый Эрхай хотел отвести жену в дом, познакомить с дочкой, но после этих слов так и застыл у порога. Развернулся, чтобы уйти, Сяохуань крикнула:

— Куда опять?

Не оборачиваясь, Эрхай бросил:

— Дальше стараться!

Сяохуань рванула мужа к себе, зло уставилась в верблюжьи глаза. Он выдержал взгляд. Посмотрели так друг на друга, и жена влепила Эрхаю пощечину. Ударила не всерьез, а будто слегка упрекнула и спросила — мой? Эрхай тотчас ударил в ответ, и Сяохуань поняла: он не полюбил Дохэ. Муж был уверен в своей правоте, потому и не стерпел обиду.

Следующие дни Сяохуань не подходила к ребенку. Из ее окна было видно, как Дохэ снует по двору — скорым шагом, низко склонив голову, — то выносит ведро с грязной водой, то торопится в дом с тазиком кипятка. Грудь большая, увесистая, кожа белая, нежная, словно молочный жир. Дохэ не изменилась после родов, и лицо, и повадки остались прежние: чуть что — сгибается перед тобой в поклоне. Но Сяохуань казалось, что

все в ней стало совсем другим. Теперь япошка держала себя так, словно у нее появился заступник, то тут, то там раздавался суетливый цокот гэта, она будто стала полноправной хозяйкой в доме и сновала по двору семьи Чжан, как по завоеванной земле, словно оно так и надо.

Однажды утром прошел дождь и выглянуло солнце, яркое, какое бывает только после непогоды. Сяохуань по обыкновению проснулась в десять с небольшим, устроилась на кане и закурила первую трубочку. Гэта во дворе простучали от северной комнаты к котельной и надолго затихли. Дома были только Сяохуань с Дохэ да девчонка, которой едва месяц стукнул, считай, две с половиной женщины. Сяохуань оделась, накинула на плечи платок, хорошенько расчесалась. Вышла во двор, сбросила платок, отряхнула с него упавшие волосы и перхоть. В котельной кто-то мурлыкал песенку. Японскую песенку. Сяохуань подошла к окошку котельной, там, в белоснежных клубах пара, она разглядела два розовых тела — большое и маленькое. Походный алюминиевый котелок, который японцы, удирая, бросили на станции, служил им вместо ванны. Котелок был глубокий, но в ширину его не хватало, и Дохэ поставила сверху скамеечку, седушкой поперек, от края к краю. Сидя на скамеечке, она окатывала себя и ребенка водой из котелка, поливала ковшом из тыквы-горлянки то левое свое плечо, то правое. Вода, верно, была горячая — опрокидывая на себя новый ковш, Дохэ едва заметно радостно вздрагивала, голосок, тянувший песню, вдруг срывался на писк, и смех — точно у маленькой девочки от щекотки — коверкал мелодию. Вода скользила по телу Дохэ и опускалась на ребенка, уже немного остыв, поэтому малышка совсем не боялась. Еще бы ей бояться — десять месяцев[1] она плавала в пузыре теплой воды в материнской утробе. На месте дымовой трубы в стене котельной осталась круглая дыра, десятичасовое солнце пробивалось сквозь нее и ложилось на пол, сияя, словно это луна упала на землю. Девочка безмятежно прижалась к матери. Тело Дохэ казалось отяжелевшим, и не только из-за груди, налившейся молоком так, что вот-вот лопнет; вся ее плоть была округлая, набухшая, полная молока, тронь — и оно брызнет наружу. Мать с младенцем на руках — сколько таких картин уже видел мир? Вылепленных из глины, сделанных из теста, из прокаленного в печи фарфора...

Дохэ нагнулась, подобрала полотенце и завернула в него ребенка. Сяохуань тут же отпрянула в сторону — вот уж не хотелось ей, чтоб япошка увидела, как она жадно за ними подглядывает. Дохэ ничего не заметила, ее песенки мирно текли друг за другом, значит, она даже не смотрела по сторонам. Она поднялась и шагнула в столб света, вылепленный майским солнцем. Маленькая мокрая женщина, живот после родов почти не изменился, от пупка вниз тянется темно-коричневая дорожка, тянется и пропадает в густых черных зарослях между ног. Волос там — на полголовы. А на голове у Дохэ росла такая копна, что и на двоих бы хватило. Она была из племени косматых варваров, и потому казалась Сяохуань еще опасней. Где-то внутри у Сяохуань сплелся диковинный узел, она не могла понять — гадко ли ей то, что оказалось у нее перед глазами? Нет, совсем не гадко. Просто бесстыжее тело крошечной матери из чужого племени показало Сяохуань, что такое женщина. Раньше не выпадало случая хорошенько рассмотреть и подумать, что же это такое. Сяохуань — женщина, она сама играет в эту игру, но изнутри никогда не заметишь того, что видно снаружи. А тут она будто оказалась вне игры, стояла и смотрела через окно на женщину, на крохотную самку. Сяохуань было горько до слез. Не

[1] В Китае считается, что младенец проводит в утробе матери десять месяцев, а не девять.

нашлось в ней таких слов, которые могли бы выстроить по порядку то, что она сейчас увидела, о чем думала. Но если бы это сделал за нее кто-то другой, грамотный, ученый, то сказал бы, наверное, так: перед ней была настоящая женщина, женщина до мозга костей — налитая соками плоть бесстыдно извивалась, выставляя наружу округлости, и уходила под темный покров там, где смыкались ее ноги. Там таилась черная бархатная западня, глубокая и сокровенная. Сколько охотников попалось в нее с тех пор, как появились небо и земля? Западня манила их недаром: они нужны ей, чтобы разрешиться от бремени, родить маленький розовый комочек плоти.

Сяохуань подумала об Эрхае. И он угодил в западню. И часть его уже превратилась в этот маленький розовый комочек. Сяохуань не могла разобрать: точит ее ревность или что другое поселилось в сердце и разом вытянуло силы из тела и души. Кому нужна твоя западня, если не можешь родить, принести плод из плоти и крови? Если вместо западни у тебя между ног черный сухой пустырь.

Сяохуань впервые как следует познакомилась с ребенком только на Праздник начала лета[1].

Она едва проснулась, а Эрхай уже тут как тут, с девочкой на руках. Сказал, что взял дочку понянчить, пока Дохэ занята на кухне, решила угостить всех японскими колобками из фасоли.

Увидав, как он стоит, Сяохуань заворчала:

— У тебя что, тыква в руках? Кто так детей держит?

Эрхай взял дочку по-другому, но стало только хуже. Жена выхватила у него конвертик, ловко пристроила малышку у себя на руках, словно в люльке. Взглянула на беленькую пухленькую девочку — двойной подбородочек, и веко двойное; всего пару месяцев пожила, а уже устала, ленится глазенки до конца раскрыть. Вот чудно, как сумели глаза Эрхая перекочевать на лицо этой малышки? Да и нос, и брови тоже. Сяохуань осторожно выпростала ручку из пеленок — даже сердце зашлось: ноготки на пальчиках — Эрхая. У япошки нет таких длинных пальцев, таких крепких, квадратных ногтей. Сяохуань и не заметила, что любуется девочкой уже полчаса, а ведь редко такое бывало, чтоб она за целые полчаса ни разу не вспомнила про свою трубку. Кончиками пальцев она обводила маленькое личико: лоб, брови. Больше всего в Эрхае Сяохуань любила брови: росли они не редко и не космато; все, что было у мужа на сердце, читалось в изгибах и кончиках его бровей. Малышка снова заснула. Вот какая, с ней не намучаешься. И глазенки — точь-в-точь как у верблюда. В глаза Эрхая Сяохуань была влюблена даже больше, чем в брови. Да что там, все в муже заставляло ее сердце биться чаще, только сама она о том не знала. А если б и узнала, ни за что бы не согласилась, даже про себя. Слишком она гордая, Сяохуань.

С того дня она то и дело просила Эрхая принести ребенка. Больше всего Сяхуань умиляло, что девочка смирная. Ни разу еще не встречался ей такой покладистый ребенок. Споешь два стиха из песенки, она и радуется, споешь пять — уже заснула. В кого же я такая непутевая? — спрашивала себя Сяохуань. Возилась-возилась с чужой дочерью, да и прикипела к ней душой.

В тот день семья выбирала девочке имя, нельзя же вечно Ятоу да Ятоу[2]. Все имена Эрхай выводил кистью на бумаге. Никак не получалось найти

[1] Традиционный китайский праздник (также называется Праздником драконьих лодок), приходится на пятый день пятого лунного месяца.

[2] Ятоу — букв. «девочка», распространенное в некоторых регионах Китая обращение к девочкам, иногда служит ребенку «молочным» или домашним именем (в раннем детстве младенцу давали детское, или «молочное имя», в начале учебы, а иногда и раньше, ребенку выбирали школьное имя).

такое, чтоб каждому пришлось по душе. На листе уже пустого места не осталось.

— Назовем Чжан Шуцзянь[1], — сказал начальник Чжан.

Все поняли, к чему он клонит. Школьное имя Эрхая было Чжан Лянцзянь[2].

— Некрасиво, — ответила старуха.

— Красиво! Где это некрасиво? — кипятился начальник Чжан. — Иероглифы как у Чжан Лянцзяня, один только отличается.

Старуха рассмеялась:

— Так и Чжан Лянцзянь — некрасиво. Почему иначе его с самого первого класса и до средней школы все только Эрхаем и звали?

— Тогда ты предлагай! — ответил старик Чжан.

Эрхай оглядел ручейки иероглифов на бумаге — имена получались или вычурные, книжные, или, наоборот, слишком простецкие. Вошла Дохэ. Пока семья билась над именем, она кормила ребенка в соседней комнате. Дохэ не давала дочери грудь при всех. Она оглядела лица домочадцев.

Сяохуань с трубкой во рту пропела:

— Чего смотришь? Про тебя гадости говорим! — она весело расхохоталась, а глаза Дохэ сделались еще настороженней. Сяохуань вынула трубочку изо рта, выбила пепел и, широко улыбаясь, сообщила Дохэ:

— Только ты отвернешься, мы тут же японским гадам косточки моем, злодейства ваши вспоминаем!

Эрхай велел жене не валять дурака: Дохэ так смотрит, потому что хочет узнать, как назвали ребенка.

Старик Чжан опять взялся листать словарь. Когда выбирали имя Эрхаю, он эти иероглифы — Лянцзянь — отыскал в «Суждениях и беседах»[3]. Вдруг Дохэ что-то пробормотала. Все на нее уставились. Дохэ ни с кем в семье не пыталась объясняться словами, только дочери пела песенки на японском. Она опять выговорила какое-то японское слово и ясными глазами обвела каждого в комнате. Эрхай протянул ей бумагу и кисть. Склонив голову набок, сжав губы, она вывела иероглифы «красота весны», Чуньмэй[4].

— Это ведь японское имя? — спросил старик.

— Нет уж, ребенка семьи Чжан нельзя называть как япошку, — вставила мать.

— Неужто только япошкам дозволено называть детей «Чуньмэй»? — напустился старик Чжан на жену. — Что они, захватили себе эти китайские иероглифы?

Дохэ испуганно уставилась на стариков. Она редко видела начальника Чжана таким злющим.

— Свои иероглифы япошки взяли у нас! — старик постучал по бумаге. — Назло назову ее Чуньмэй! Они у нас иероглифы забрали, а я верну! Все, конец спору, решено! — он махнул рукой и пошел на станцию встречать поезд.

С тех пор едва выдавалась у Сяохуань свободная минутка, она брала девочку на руки и шла гулять. Как приходила пора кормить — возвращалась домой, Дохэ давала дочери грудь, а потом Сяохуань снова уносила малышку на улицу. Нежное белое личико девочки загорело, щеки обве-

[1] Шуцзянь — букв. «целомудренная и скромная».

[2] Лянцзянь — букв. «добродетельный и скромный».

[3] «Суждения и беседы» (Лунь юй) — основополагающий памятник конфуцианства, записан в V в. до н. э. учениками Конфуция.

[4] Чуньмэй — китайское чтение распространенного японского имени Харуми.

трились до красноты, и со временем она перестала быть такой спокойной: ротик с режущимися зубками так и кипел слюной, заходясь в невнятном лепете. Розовая, вьющаяся на ветру накидка в руках Сяохуань издалека бросалась в глаза односельчанам.

Как-то раз старуха ходила в поселок по делам и заметила, что на крыльце театра, на самой верхней ступеньке, лежит ребенок, а рядом сидит взрослый. Подошла поближе — а это Сяохуань с девчонкой, обе спят.

Старуха всегда была со снохой уступчива, но тут затопала, закричала:

— Хочешь, чтоб девчушка покатилась со ступенек, чтоб кровью изошла?

Сяохуань проснулась, схватила девочку на руки, отряхнула с розовой накидки пыль, окурки и шелуху от семечек. Она привыкла, что свекровь пляшет под ее дудку, и теперь растерялась, ни слова не могла вымолвить. Старуха отняла у Сяохуань ребенка и, бросив свои дела, засеменила домой, стуча по дороге ножками, словно бубном.

Спустя десять минут явилась и Сяохуань, от ее оторопи не осталось и следа, теперь до нее как следует дошла ругань свекрови. Ах так, распекает меня, будто я мачеха? Будто я день-деньской с ребенком гуляю, чтоб она упала да косточки переломала? Даже если бы Сяохуань и впрямь замыслила дурное, и то не дала бы себя так бранить, а тут тем более — она девочке зла не желала.

— Вы мне прямо скажите: кто хочет, чтоб Ятоу упала и кровью изошла?! — допытывалась Сяохуань.

С самого замужества она еще ни разу по-настоящему со свекровью не ругалась. Но тут уж никто не мог бы ее удержать. Эрхай в поле пропалывал сорняки, начальник Чжан был на путевом обходе и Дохэ взял с собой, чтоб собирала мусор на рельсах.

Старуха тыкала пальцем в сноху:

— А что, крыльцо — место, чтоб спать ребенку?

Сяохуань отвела ее палец в сторону:

— Ну, поспала она у меня на крыльце, и что?

— Значит, ты нарочно хотела, чтоб ребенок убился!

— Что ж вы так хорошо обо мне думаете? Это дело можно куда проще устроить! С девчонкиных двух месяцев я что ни день ее нянчу, могла бы поднять эту дрянь за ноги вниз головой да отпустить! Стала бы я столько ждать?!

— Это тебя надо спросить! Что у тебя на уме?!

У Сяохуань слезы подступили к глазам, она криво усмехнулась:

— У меня на уме?.. Как будто не знаете! А вот что: взять и прирезать эту япошку! За того ребенка, что я под сердцем носила, никто еще не отплатил! Плевать, сколько зла натворили японские гады, но за сына моего нерожденного, за его жизнь я отомщу!

Старуха знала, что Сяохуань — склочница, но сегодня впервые изведала на себе ее яд. Она-то хотела отчитать сноху за беспечность, за недосмотр, что та положила ребенка спать на высокую узкую ступеньку, но сейчас глаза Сяохуань, спрятанные за толстыми припухшими веками, стали совсем дикими, кто знает, что она способна по глупости натворить.

Вернулся Эрхай, вошел, запыхавшись.

— Чего вы тут устроили? Ребенок орет — вдали от дома слыхать!

— Вон как трясетесь над этой полукровкой! Продолжение рода! Продолжение рода японских гадов, которые все здесь вырезали и выжгли, вот что это... — Сяохуань звонко ругалась, уже в каком-то упоении.

Эрхай шагнул к жене, схватил ее и потащил за собой. Ноги Сяохуань зашли во флигель, а плечи все бились в дверях, на лице — исступленная радость.

— Мало вы от япошек натерпелись? Пригласили в дом еще одну, чтоб выплюнула тут свое волчье семя...

Эрхай, наконец, затолкал жену в комнату и со всей силы захлопнул дверь. Как же мать забыла: нельзя с Сяохуань спорить, когда она такая, — гадал Эрхай. Прикрыл глаза, не глядя на рухнувшую на пол, ревущую жену, подошел к кану, разулся, сел. Вопли и ругань Эрхай пропускал мимо ушей. Когда докурил трубку, жена только хлюпала носом, как он и думал. Эрхай пока не смотрел в ее сторону.

— Все. Баста, — промычала Сяохуань. Видно, уже отходит.

Эрхай снова набил трубку и как ни в чем не бывало чиркнул спичкой о подошву.

— Вот выбегу сейчас, брошусь в колодец, а ты даже доставать меня не станешь. Даже за веревкой не пойдешь, это как пить дать. А, Чжан Лянцзянь?

Эрхай посмотрел на жену. Уже поднялась, отряхивается.

— Верно я говорю? Даже веревку мне не бросишь! — повторила Сяохуань.

Он нахмурился.

— Знаешь, зачем я без конца с ребенком нянчусь?

Эрхай затянулся, выдохнул дым, кончики бровей приподнялись — ждет, что она скажет дальше.

— А затем, что когда ты затолкаешь япошку в мешок и выбросишь вон, девочка не поймет, что мама пропала. Уже привыкнет ко мне и будет думать, что мама — я. Понял?

Прикрытые глаза Эрхая округлились, он вгляделся на миг в лицо жены и снова опустил веки, только глаза под веками беспокойно заходили. Сяохуань поняла: муж не на шутку растревожился. Правду ли ты говоришь, Сяохуань? — спрашивал про себя Эрхай. — Как знать, может, ненароком сорвалось у тебя с языка злое слово.

Глядя на мужа, Сяохуань поняла, что хватила лишнего, потянулась погладить его по щеке. Эрхай увернулся. Ей стало больно и страшно.

— Ты говорил, как япошка родит — сунем ее в мешок, отнесем в горы и бросим там. Говорил ведь?

Эрхай не обрывал жену — болтай что хочешь.

— Как родит тебе сына, выбросим ее вон.

Глаза Эрхая ходили туда-сюда под прикрытыми веками, ум работал. Сяохуань и это заметила. Скажи она сейчас: «Надо же, как задергался! Да я пошутила!» — ему стало бы легче. Но жена молчала. Сяохуань и сама уже толком не знала, были эти слова правдой или она в горячке выпалила первое, что пришло на ум.

Когда Сяохуань снова отправилась гулять с девочкой, люди увидели, что на толстенькой малышке теперь шляпка из свежей соломы. У Сяохуань были золотые руки, вот только сама она немного ленилась: что ни поставишь ей на стол — с хохотком да с крепким словом вперемешку как-нибудь да уплетет, лишь бы не заставляли работать. Но бывало и такое, что она входила в раж и могла, например, налепить с дюжину узорчатых пирожков баоцзы для поселковой харчевни. В доме начальника Чжана господ не водилось, каждый занимался своим делом, и только «молодую госпожу» Сяохуань Чжаны кормили даром и ждали от нее одного: чтоб она, словно веселый котелок с огнем, носила с собой повсюду праздник и радость. Глядя на маленькую толстушку в соломенной шляпке, люди думали: вот умора!

— Девчонка-то все больше на Сяохуань походит!

— Это ты меня обругал или ее?

— Ятоу себе щеки вон какие наела, глазенок почти не видно!

— Что ты все Ятоу да Ятоу, у нас уже и школьное имя есть, Чуньмэй.

Но за спиной Сяохуань люди вовсю давали волю языкам:

— Чуньмэй разве наше, китайское имя?

— Вроде похоже на японское. У меня знакомую учительницу-японку звали Цзимэй[1].

— А та японская девка, которую старик Чжан купил, — куда она подевалась? Чего это ее не видно?

— Не иначе как купили да привязали дома, чтоб приплод несла.

В тот вечер Эрхай набрал лохань воды, отнес к себе во флигель и принялся мыться, растираясь докрасна. Когда муж так яростно скоблил кожу, Сяохуань без слов знала, куда он собрался. Эрхаю не нравилось лезть на япошкин кан грязным. Чуньмэй исполнился год, ее теперь кормили отваром чумизы на козьем молоке. Пришла пора Дохэ беременеть вторым ребенком. Сяохуань закурила, глянула на Эрхая да так и прыснула со смеху.

Эрхай обернулся к жене. Она раскрыла рот, будто хочет что-то сказать, но слов не находит, и снова захихикала.

— Братец, пусть хоть чуточку человечьего духа останется, а то весь смоешь. Это она тебя заставляет? Ты ей так скажи: япошки косматые, потому и воняют, как козлы, а мы, китайцы, гладенькие, нам кожу сдирать ни к чему!

Эрхай как обычно притворился глухим.

— Снова мать подзуживает? И отец ждет не дождется внука? Семь даянов все-таки. Или сам никак не утерпишь? Я только отвернусь, а она, поди, кофту перед тобой задирает, да?

Эрхай отложил полотенце:

— Кончай болтать, лучше дай девчонке лекарство, — муж, как обычно, разом покончил с ее злыми подначками. — Кашляет, сладу нет.

Когда Эрхай был у Дохэ, девочка спала вместе с Сяохуань. Ятоу всю ночь кашляла, и Сяохуань до утра не сомкнула глаз. За ночь она и курить не смела, время тянулось медленно и горько. Сяохуань было уже двадцать семь — немало. Не тот возраст, чтобы на каждый чих объявлять: «Все, баста. Найду себе другого мужа». Расчесывая волосы, Сяохуань иногда приглядывалась к круглому личику в зеркале туалетной шкатулки, и оно казалось ей очень даже хорошеньким. Порой люди говорили: «Сяохуань что ни наденет — все к лицу» или: «Откуда у Сяохуань такая талия — тоненькая, как у девушки!», тогда по всему телу ее разливалась легкость, и казалось еще, что нет больше сил сносить обиды от семьи Чжан. В такие минуты Сяохуань и впрямь могла скрипнуть зубами и процедить: «Баста. Ухожу». У нее была шея настоящей красавицы, плечи покатые, ручейками, пальцы длинные и белые, словно стрелки лука, а больше всего люди завидовали ее талии, узенькой, как у хорька. Сяохуань не была писаной красавицей, но со временем ее лицо нравилось все больше и больше. Вспылив, она судила о своей наружности лучше, чем обычно, и верила, что можно бросить карты, которые выпали с Чжан Эрхаем, перетасовать колоду и сдать новую партию с другим мужчиной. С тех пор как Чжаны купили Дохэ, она думала так все чаще.

Но по ночам, как сейчас, в голове роились другие мысли: угораздило же ее выйти замуж за Эрхая. Теперь нельзя с ним расстаться, нет сил уйти. К тому же во всем мире только Чжан Эрхай и может с ней совладать, кто еще ее, такую, вынесет? Они — два сапога пара. И если уйти, бросить Эрхая, задаром уступить мужа япошке Дохэ, разве будет она ценить его так,

[1] Китайское чтение японского имени Кими.

как ценит Сяохуань? Разве будет дрожать над ним, как над сокровищем? Все в нем хорошо, каждый жест — как он зевает, как вскидывает брови, набивает трубку, цепляет палочками еду — да разве Дохэ это разглядит? Все драгоценности Эрхая для нее не стоят и гроша. Когда в ночной тишине Сяохуань вспоминала о своем «Все, ухожу», сердце едва не разрывалось на куски.

Разлуку с Эрхаем еще вынести можно, но бросить девочку Сяохуань была не в силах. Веселый смех Ятоу, ее громкий плач почему-то сближали даже заклятых врагов. Члены семьи Чжан стеснялись разводить друг с другом нежности, и вся их любовь выливалась на Ятоу. Сяохуань ни в жизнь бы не подумала, что сможет настолько привязаться к ребенку — как это так вышло? Оттого ли, что девочка для нее — наполовину Эрхай? Когда Сяохуань разглядывала тень мужа в маленьких глазках, в губках Ятоу, на сердце волна за волной накатывало тепло; она крепко прижимала к себе Ятоу, так, будто хочет втиснуть ее в себя, так крепко, что девочка испуганно вопила. Вот и сейчас Ятоу уже рыдает, бьется на руках у Сяохуань, словно рыба в сети.

Сяохуань испугалась, принялась укачивать девочку, спрашивая себя: почему, когда любишь кого-то, сильно любишь, то становишься сам не свой? Почему не можешь сделать больно? Не можешь его (или ее) как следует помучить, показать, что эта боль и есть — любовь? И что когда любишь — должно быть больно. Она уложила заснувшую девочку на кан. Сяохуань не думала, чем сейчас заняты Эрхай и Дохэ: делают свое дело или крепко заснули друг у друга в руках. Она не знала — а если бы узнала, то едва ли поверила, — что на самом деле чувствует Эрхай к Дохэ.

Теперь, когда стало известно, что Дохэ — сирота, Эрхай глядел на нее немного иначе, но перемена в нем все же была невелика. Он шел в ее комнату, как на заклание, жертвой были и Дохэ, и сам Эрхай. Жертвы на алтарь продолжения рода, черт бы его побрал. Первым делом Эрхай всегда гасил свет. При свете они не знали, куда спрятать глаза. С Дохэ теперь было проще, она больше не одевалась к его приходу так, словно в гроб ложится. В темноте она беззвучно снимала одежду, доставала шпильки из прически, и распущенные волосы падали уже до середины спины.

В тот вечер Эрхай зашел в комнату Дохэ и услышал, как она идет к нему в темноте. Мышцы во всем теле напружинились: что ей надо? Дохэ опустилась на корточки. Нет, на колени. С тех пор, как она появилась в семье начальника Чжана, кирпичные полы в доме стали чистыми, словно кан, — можно было вставать на колени где пожелаешь. Коснулась штанины Эрхая, опустилась ниже, тронула башмаки. Башмаки он носил нехитрые, ее помощь тут была ни к чему. Но Эрхай не двигался — пусть разувает, если ей так надо. Сняла с него башмаки, поставила на край кана. Теперь Эрхай услышал шорох ткани о стеганку. Дохэ сняла с себя одежду, белье. Это было зря, ничего лишнего он трогать не собирался. Он здесь за делом, а не для развлечения.

Дохэ располнела после родов, больше не походила на девочку, живот округлился, и бедра заметно раздались. Эрхай услышал, как она тихо вскрикнула. Он стал двигаться осторожнее. Перемена была в том, что ему больше не хотелось делать больно этой сироте, запертой в чужой стране пленнице. Эрхай не смел думать, что будет потом. Станут ли Чжаны и дальше держать в доме эту японскую горемыку, когда она родит им сына?

Робкие руки Дохэ легли на спину Эрхая, ощупали горячий пот, который выступил на его коже. Хуже детских ее рук ничего не было, иногда за столом он натыкался на них глазами и вдруг вспоминал эти ночные секунды. Руки Дохэ то и дело отправлялись в робкую разведку, щупали его спину,

плечи, крестец, однажды она тронула рукой его лоб. Бедняга, так хочет стать ему ближе. Дохэ смеялась только с начальником Чжаном, со старухой и с Ятоу. Хохотала она даже беззаботнее, чем Сяохуань: сидя на полу, так и заходилась от смеха — руками-ногами колотит, волосы взъерошены. По правде, и старуху, и начальника Чжана тоже заражал ее смех, хотя они и не могли взять в толк, что ее так развеселило. А она не умела объяснить. Глядя, как она хохочет, Эрхай думал: разве может девочка, которая потеряла всю семью, осталась совсем одна, вот так смеяться? Как погибли ее родные? Эрхай вздыхал про себя: наверное, никогда уже не узнать.

Руки Дохэ нежно похлопали его по спине, будто дочку баюкает. Вдруг он услышал:

— Эрхай.

С тоном ошиблась, но вообще разобрать можно.

Он невольно промычал в ответ.

— Эрхай, — теперь она повторила чуть громче, ободренная его мычанием.

— М? — он понял, в чем ошибка Дохэ: все выговаривали его имя, добавляя два гортанных «р»: «Эрхар», и она пыталась повторить, но неправильно загибала язык, и вместо «Эрхай» у нее выходило «Эхэй». И тон не тот, получалось больше похоже на «Эхэ» — «голодный журавль». Она попробовала еще раз: «Эрхэ», и тут уж осталась довольна собой.

Замолчала. Не дождавшись продолжения, Эрхай уже почти заснул, а она вдруг снова залопотала:

— Ятоу, — чудно, похоже больше на «ядоу» — «давленые бобы».

Эрхай понял: она хвастается своим знанием языка. Дохэ, оказывается, совсем ребенок.

— Ятоу. Яту? Ятоу. Ядо…

Эрхай повернулся на другой бок, затылком к ней, давая понять — на этом урок окончен. Дохэ опять тронула его рукой, уже смелее, крепко ухватилась за его плечо.

— Славный денек.

Эрхай чуть не подпрыгнул на месте. Это были слова начальника Чжана. Каждое утро, встретив первый поезд, старик возвращался домой, когда все только вставали с постели. Он входил и здоровался: «Славный денек!» Начальнику Чжану было важно, чтоб денек выдался славный, погожий, тогда поезда будут ходить без задержек и ему не придется подолгу ждать на станции. И путевой обход в «славный денек» можно сократить, ведь в таком возрасте обходить дорогу — настоящая мука.

— Славный денек? — она ждала, что Эрхай похвалит ее или исправит.

— М.

— Поели?

У Эрхая даже лицо вытянулось. Еле сдержал смех. Когда должники родителей приходили в дом с подарками, мать, принимая их, непременно спрашивала: «Поели?»[1] Но у Дохэ не получалось сказать правильно, вместо «поели» у нее выходило какое-то «парери», сразу слышно, что японская речь.

— Как-нибудь сойдет.

И гадать не надо, это она взяла у Сяохуань. Жена поработает на совесть, люди нахвалиться не могут, а она бурчит: «Хех, как-нибудь сгодится». Вкусная еда на столе или так себе, спорится дело или не очень, рада она или расстроена, на все у Сяохуань один ответ: «Как-нибудь сойдет». Иногда в хорошем настроении жена могла дочиста подмести и двор, и дом — метет и бормочет себе под нос: «Как-нибудь сгодится».

[1] Традиционное китайское приветствие.

Эрхай решил пропускать болтовню Дохэ мимо ушей: если отвечать, это никогда не кончится и он до утра не уснет. А завтра нужно работать.

Она лежала, глядя в потолок, и повторяла на все лады: «Эхай, Эгей, Эхэ...»

Эрхай повернулся к ней затылком, крепко сжав плечи руками. На другой день он рассказал про ночные разговоры старикам.

Докурив плотно набитую трубку, отец решил:

— Нельзя позволять ей учить язык.

— Почему это? — спросила мать.

— Да ты сама посуди! — начальник Чжан уставился на жену. Такую простую вещь не сообразит.

Эрхай понял отца. На Дохэ нельзя положиться: вдруг она снова вздумает удрать? Ведь, зная язык, убежать ей будет гораздо проще.

— А как ты ей запретишь? Посели собаку с котом, она и мяукать начнет.

— Хочет удрать — пусть сначала родит нам сына, — отрезал начальник Чжан.

— Тебе, что ли, решать, кого она там родит? — засмеялась мать.

Старики с Эрхаем докурили трубки в тишине.

С тех пор каждый раз, как Эрхай приходил к Дохэ, она засыпала его ворохом бессвязных китайских слов. «Паршиво», «Пошел к черту», — у Сяохуань набралась, а еще: «Чудненько!», «Ай, пропасть!» — жена пересыпала этими присказками и брань, и шутку, и вот они перекочевали к Дохэ. Правда, чтобы понять, на каком языке она говорит, нужно было хорошенько прислушаться. Эрхай теперь даже не мычал в ответ — пусть сама пробует, сама себе отвечает. Но стал усерднее выполнять свой долг, за ночь успевал по нескольку раз. В душе Эрхай сердился на родителей, мать с отцом не говорили ни слова, но он все равно чувствовал, что его торопят.

Только вот Дохэ все поняла неправильно. Она решила, что Эрхай ее полюбил. Встречаясь с ним днем, краснела и украдкой ему улыбалась. Когда Дохэ так улыбалась, Эрхай снова видел, до чего же она чужая: у китайских девушек все это совсем по-другому бывает. Но в чем разница, он и сам не знал. Эрхаю казалось только, что ее улыбка еще больше все запутывает.

И руки Дохэ по ночам стали смелее. Так, что он уже едва терпел. Как-то ночью она вцепилась в его ладонь и потащила на свой мягкий, чуть влажный живот. Пока он решал, убрать руку или оставить, Дохэ уже прижала ее к своей круглой груди. Эрхай не смел пошевелиться. Вырваться — все равно что обругать Дохэ, обозвать ее бесстыжей, грязной, а если оставить руку на груди — бедняга решит, будто Эрхай в нее влюбился. Как он может влюбиться, у него же Сяохуань там, во флигеле.

И даже без Сяохуань он все равно не смог бы полюбить Дохэ.

Когда отец работал еще на станции Хутоу путевым обходчиком, брат, Дахай[1], сошелся с коммунистами из горного партизанского отряда сопротивления Японии. Пятнадцатилетний Дахай взял с собой Эрхая, и они отправились к партизанам за агитлистовками, чтоб потом раздать их в поезде. Пришли в Хутоу, а там японские солдаты поймали двух партизан, сорвали с них всю одежду, оставили только листовки, привязанные к поясу и ногам. Гады выставили пленников у входа на почту и убили-то скверно — ошпарили кипятком с ног до головы. После нескольких ведер кипятка кожа с бумагой повисли на партизанах лохмотьями. Вскоре после того случая Дахай пропал.

[1] Дахай — букв. «старший сын».

Выходит, напрасно мать с отцом его растили. За силы, которые родители потратили на Дахая, за слезы, пролитые ими о брате, Эрхай не позволил бы себе полюбить эту япошку.

В окрестных деревнях японские солдаты жгли и резали все, что им попадалось на глаза, а чтобы расправиться с теми, кто сопротивлялся, они замуровали в штольне на медных рудниках несколько десятков приисковых рабочих и всех разом взорвали. В поселке жили пять или шесть японок, так даже их собаки знали, что китайцы — не люди, а рабы. Как-то раз на станцию в Аньпине пожаловала стайка нарядных японских потаскух. Их поезд задерживался. Не желая использовать общественный туалет, они преспокойно мочились в единственный таз для умывания, который был на станции. По очереди садились на корточки, делали свои дела и хохотали, пока товарки прикрывали их зонтиками. Эти потаскухи не стеснялись китайских мужчин, которые ждали поезда рядом, ведь человек не чурается мула или коня, когда справляет при них нужду.

Эрхай стиснул зубы — нет, только не вспоминай о том, о самом страшном.

...Кучка японских солдат шагает, нестройно горланя пьяную песню, впереди них скачет вол с китайской женщиной на спине, вдруг вол бросает ее на землю. Когда солдаты окружили женщину, зеленые ватные штаны у нее между ног окрасились черно-пурпурным. Черный пурпур пролился и на землю, она стала багровой. Волосы женщины свесились на белое, словно бумага, лицо. Не глядя на японских солдат, она зажала руками пятно на штанах, словно пытаясь удержать кровь. Солдаты все поняли по выпиравшему из-под куртки животу. И что значит эта кровь — тоже поняли. С ней не развлечешься! Шатаясь, японцы пошли прочь, опять затянув свою пьяную песню. Вокруг женщины стали собираться люди, свидетель происшествия снова и снова рассказывал им, что тут случилось. Он не был знаком с Сяохуань. Когда Эрхай с женой на руках быстрее ветра летел домой, тот человек бежал рядом, тяжело дыша, пересказывал ему, как все было.

Разве мог Эрхай позволить себе полюбить япошку по имени Дохэ?

Жаль ее, одна осталась, ни дома, ни семьи, но... Поделом.

Когда Эрхай подумал об этом «поделом», сердце кольнуло, он и сам не понял, почему. Из-за самой Дохэ, или из-за того, как жестоко он с ней обходился, или из-за них с Сяохуань. Если бы японские солдаты не пошли тогда за женой, она не прыгнула бы на вола, он не швырнул бы ее на землю, и их ребенок был бы цел. Да, Сяохуань права, Дохэ должна ей одну маленькую жизнь. По крайней мере, соотечественники Дохэ, привыкшие убивать, глазом не моргнув, уж точно им задолжали.

Разве мог Эрхай полюбить эту япошку.

Он собрался с духом и выдернул руку. Не сделал того, за чем пришел, но сил уже не осталось. Эрхай спрыгнул с кана, нащупал одежду, путаясь в рукавах и штанинах, кое-как натянул на себя. Дохэ встала на колени на кане — темная тень, полная разбитой надежды.

— Эхэ?

В ладони, которая была только что на груди Дохэ, будто сидела жаба.

— Эрхай... — в конце концов, у нее получилось сказать как следует. — Пошел к черту!

Она помолчала, а потом звонко расхохоталась. Сяохуань посылала к черту всегда задорно, радостно; бывало, кто-нибудь из поселка приходил к старику Чжану передать с поездом посылку и принимался шутить с Сяохуань, а та в ответ сердито улыбалась, ворчала: «Пошел к черту!» Или Эрхай скажет жене кое-что вполголоса, а она замахивается, будто хочет ему наподдать: «Пошел к черту!»

Он сел обратно на кан. Дохэ доросла до восемнадцати лет, а головой совсем девчонка. Эрхай закурил трубку, а она навалилась сзади, подбородок уперла в его макушку, оплела ногами спину Эрхая и ступни положила ему на живот.

— Пошел к черту! — веселилась Дохэ; видно, решила, что сегодня Эрхай будет ее товарищем по играм.

Он никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным. С Дохэ все как-то необъяснимо менялось, и Эрхай рядом с ней становился вялым, непохожим на себя. Он не смел оттолкнуть веселую голую женщину, привалившуюся к его спине, но и не мог сделать с ней то, что должен был. Когда она вволю набесилась, Эрхай выбил пепел из трубки и залез на кан, казалось, по всему лицу и телу разбегаются длинные волосы Дохэ, ее мягкие руки.

Заснул он быстро.

Глава 3

День и ночь на том самом пшеничном поле, что раскинулось между поселком и станцией, гремел бой. Сельчане и сами толком не знали, в чем дело, вроде одна армия хотела железную дорогу захватить, а другая пыталась ее взорвать. Поле стояло убранным, и соломенные стога были хорошим подспорьем в бою. Утром второго дня выстрелы стихли. Вскоре в поселке услышали паровозный гудок: значит, та армия, что сражалась за железную дорогу, победила.

Сяохуань день и ночь просидела в четырех стенах и совсем скисла, взяла миску кукурузной каши, подцепила палочками кусок соленой редьки и тихонько выбежала из дома. Стога стояли как обычно. Глядя на тихое широкое поле, Сяохуань ни за что не сказала бы, что здесь недавно бушевало сражение. Воробьи стайкой опустились на землю, поклевали пшеничные зерна, разбросанные по полю, и также стайкой взлетели в небо. Интересно, где были воробьи во время битвы? Поле казалось теперь непривычно огромным, и каждая фигурка вдали была будто подвешена между небом и землей. Кривая софора, и чучело, и покосившийся сарай из соломы превратились в точки, координаты на линии горизонта. Сяохуань слыхом не слыхивала ни о «координатах», ни о «линии горизонта», она замерла посреди осени 1948 года, погрузившись в какое-то благоговейное оцепенение.

Небо на востоке налилось красным, посветлело, и в один миг над землей выросла половина солнца. Сяохуань смотрела, как над пушистым горизонтом поднимается полоса золотого света. Вдруг она увидела трупы: один, второй, третий — лежат, раскинувшись, навзничь, лицами в небо. Вот оно какое, поле боя. Она снова подняла глаза, сначала взглянула на солнце, потом в ту сторону, куда отступала тьма. Хорошо у нас в поле сражаться: нападай, убивай — места хватит.

Те, что победили, назывались Народно-освободительной армией, НОАК. Бойцы НОАК веселые, работящие и в гости любят заглянуть. Были они и у начальника Чжана, ничего не давали по дому сделать, тут же бросались помогать. С освободительной армией в поселок пришли новые слова: чиновников теперь звали не чиновниками, а руководящими кадрами, путевой обходчик тоже был уже не обходчиком, а «рабочим классом». Хозяина Люя, который держал в поселке постоялый двор, звали теперь не хозяином Люем, а шпионом. На постоялый двор хозяина Люя раньше часто захаживали японцы, у порога нужно было разуваться и дальше идти в одних носках.

Всех шпионов и иностранных агентов бойцы НОАК связали и увели на расстрел. Те, кто знал японский, ходили по улицам, вжавшись в стены, точно преступники. Товарищи из НОАК поставили в поселке навесы и стали вербовать на работу солдат, учащихся и рабочий класс. Поедут в Аньшань, а там на коксовальном или сталелитейном за месяц можно заработать на сто цзиней пшеничной муки. Молодые все рвались записаться на завод: Аньшань уже освободили от врага, взяли под военный контроль, и тех, кто туда ехал, называли братьями-рабочими, пионерами Нового Китая.

Увидев, как Дохэ выбивает палкой ватное одеяло, гости спросили, зачем это. В хорошую погоду Дохэ тащила одеяла с канов во двор, развешивала и принималась выколачивать. Вечером начальник Чжан ложился в постель и, посмеиваясь от удовольствия, говорил жене:

— Дохэ опять одеяло отмутузила.

Дохэ глядела на гостей ясными, непонимающими глазами. Боец спросил, как ее зовут. С другой стороны одеяла пришла на помощь старуха:

— Дохэ ее звать.

— А что за иероглифы?

Мать, щурясь в улыбке, ответила:

— Товарищ, такое мне не по уму! Я с грамотой не в ладах.

Больше дома никого не было, только Эрхай: Сяохуань снова пошла с Ятоу гулять по поселку. Эрхай вышел из кухни с чайником заваренного чая и растолковал бойцам, что иероглиф *до* значит «много», а хэ — «журавль». Гости решили, что имя у Дохэ очень культурное, особенно для семьи из рабочего класса. Махнули ей, приглашая посидеть рядом. Дохэ посмотрела на гостей, потом на Эрхая и вдруг согнулась перед бойцами в поклоне.

Те смешались. Бывало такое, что им в поселке кланялись, но совсем не так. А в чем разница, они и сами толком не знали.

Боец, которого все звали Политрук Дай, спросил:

— Сколько девице лет?

Мать Эрхая ответила:

— Девятнадцать... Она у нас неразговорчивая.

Политрук повернулся к Эрхаю, тот, опустив голову, ковырял присохшую к голенищу грязь. Политрук ткнул его локтем:

— Сестренка? — Бойцы уже познакомились с Сяохуань и знали, что она замужем за Эрхаем.

— Да, сестренка! — ответила за сына старуха.

Дохэ обошла одеяло и застучала по нему с другой стороны. Разговор угас, и мерный стук ее палки возвращался эхом от кирпичного пола и стен дворика.

— При японцах все здешние дети в школу ходили? — спросил политрук Эрхая.

— Да.

Старуха поняла, к чему клонит политрук, расплылась в улыбке и пропела, показывая за одеяло:

— Сестрица у нас немая! — ее слова можно было принять и за шутку.

В доме начальника Чжана бойцы НОАК видели самую прочную опору в народных массах. Они объяснили старику, что он — пролетариат, «гегемон» общества. Потому и обстановку в соседних деревнях бойцы начали прощупывать в доме Чжанов: расспрашивали, кто был в сговоре с бандитами, кто самоуправничал, кто при японцах оказался у власти. Начальник Чжан пошептался с сыном и женой: да это ведь бабские сплетни получаются? Как ни крути, а без людей на свете не прожить! С земляками из

деревни так: коли не поладил с одним, у тебя уже дюжина врагов. Люди в селе поколениями живут рядом, все друг другу родня. Поэтому начальник Чжан старался не попадаться на глаза бойцам из НОАК и велел Эрхаю со старухой попридержать языки.

Сегодня бойцы пришли в дом Чжанов рассказать о важном событии под названием Земельная реформа. Мол, реформу эту уже проводят сразу в нескольких деревнях на Северо-Востоке.

В тот день Сяохуань вернулась из поселка и заладила: вам, значит, не нравится бабские сплетни распускать, а кому-то оно очень даже по душе! Оказывается, перед тем как прийти в гости к Чжанам, политрук уже слышал от людей про Дохэ. В поселке сразу нашлись доброхоты, которые донесли НОАК обо всех, кто купил тогда япошку.

За ужином старик Чжан не проронил ни слова, сидел, повесив голову. Под конец обвел каждого за столом сердитым взглядом, не пропустил даже годовалую внучку.

— Никому не говорить, кто родил Ятоу, — промолвил старик Чжан, — пусть вас хоть смертным боем бьют, все равно молчите.

— Я родила, — Сяохуань с озорной улыбкой вдруг наклонилась к вспотевшей от еды, перемазанной крошками малышке, — правда, Ятоу? Завтра же справим нашей девочке золотой зубик, кто тогда скажет, что она не по моим лекалам скроена?

— Сяохуань, не до шуток сейчас, — одернул жену Эрхай.

— Не мы одни купили японскую девушку, — сказала мать, — из соседних деревень тоже за ними приезжали. И если быть беде, то не у нас одних!

— Кто сказал, что быть беде? Я на тот случай, если вдруг начнутся неприятности! Любая власть одних привечает, а других на дух не переносит. Вот я и думаю, что у этой новой власти такие, как мы, не в чести. Взяли япошку, родила она нам ребенка — так у Эрхая своя жена есть, разве это дело? — рассуждал начальник Чжан.

Дохэ знала, что говорят про нее, и лица у всех за столом такие серьезные тоже из-за нее. Прожив в семье Чжанов уже два года, она неплохо понимала китайскую речь вроде: «Дохэ, покорми кур» или: «Дохэ, кирпичи из угля готовы?» А из этого строгого и быстрого спора она едва ли могла разобрать и половину. Пока переваривала одно слово, следом шла целая вереница новых, за которыми она не успевала.

— А чем вы тогда думали? — ворчала Сяохуань. — Это ведь вы решили купить япошку, чем вы думали? Был у нас с тех пор мир в семье? Завтра же сунем ее в мешок и унесем в горы. А Ятоу мне останется.

— Сяохуань, ну, будет пустое молоть, — сощурившись в улыбке, пропела старуха.

Сяохуань смерила свекровь взглядом. Старуха понимала, что говорят глаза снохи: «Ах ты, гиена в сиропе!» — в пылу ссоры Сяохуань часто выкрикивала эти слова.

— Вот что я думаю: надо спрятаться, — сказал начальник Чжан.

Палочки замерли над столом, все уставились на старика. Что значит — спрятаться?

Начальник Чжан смял ладонью лицо, исписанное тонкими морщинами, показывая, что ему надо встряхнуться, собраться с силами. Когда к старику приходило важное решение, он всегда тер лицо, и казалось, что на месте прежних черт вот-вот проступят новые.

— Вам надо уехать. В Аньшань. У меня там на станции есть человек, поможет вам обжиться по первости. Эрхай только заявится, тут же с рука-

ми оторвут, хоть на металлургическом заводе, хоть на коксовальном. Он у нас два года в среднюю школу ходил!

— Семью ведь разлучаешь, — заволновалась мать.

— Я столько лет на железной дороге, как решишь с ними повидаться, посажу тебя на поезд, и денег никаких не надо. Посмотрим, как тут все обернется. Если тех, кто купил япошек, не тронут, Эрхай с семьей вернется назад.

— Эрхай, переезд — дело непростое, возьми в дорогу женьшень и мускус из припасов! — захлопотала мать.

Начальник Чжан недовольно покосился на жену, и она поняла, что сболтнула лишнего. Сбережения семьи до сих пор держали от невестки в секрете.

— Я не поеду, — отрезала Сяохуань. Пересела на край кана, сунула ноги в башмаки, подмяв задник. — Что я в Аньшане забыла? Может, там будут мои родители? Или Маньцзы с Шучжэнь? (Маньцзы и Шучжэнь были кумушки Сяохуань, любившие с ней посудачить.) Я никуда не еду. Слышишь меня, Эрхай?

Черный сатиновый жилет тесно стягивал по-хоречьи длинную, тонкую талию. Эта талия была знаменита на весь поселок, люди издалека узнавали Сяохуань, когда она шла, покачиваясь, по улице.

— Или в Аньшане будет лавочник Ван, который Ятоу сладостями угощает? Или театр, где я задаром представления смотрю? — встав у порога, Сяохуань сверху вниз уставилась на домочадцев.

Старуха взглянула на сноху. Сяохуань знала, что говорят глаза свекрови: «Только и думаешь, как бы поесть да полодырничать».

— Эрхай, ты меня слышал? — повторила Сяохуань.

Эрхай курил свою трубку.

— Хоть ты тресни, мне все равно. Собрался ехать — поезжай один. Слышишь меня?

Эрхай вдруг взревел:

— Слышу! Ты не поедешь!

Все остолбенели. На Эрхая опять нашло. Вдруг спрыгнул с кана, босиком протопал к умывальнику, схватил таз с водой и — выплеснул в сторону Сяохуань. Та что было мочи подскочила вверх, но рот закрыла на замок. Эрхай бывал таким брыкливым всего пару раз в год, и тогда Сяохуань в перепалку не ввязывалась — себе дороже. Зато после она всегда с лихвой возвращала себе положенное.

Сяохуань выскочила из дома, услышала, что Ятоу плачет, вернулась, сгребла девочку в охапку и осторожно шмыгнула за дверь мимо Эрхая.

— Срамота! — сказала старуха, и это было не только про сноху.

Дохэ молча слезла с кана, собрала пустые чашки и объедки на деревянный поднос, подошла к двери, у порога сидел Эрхай и курил трубку. Замерев на месте, Дохэ поклонилась, Эрхай пропустил ее, и, пятясь спиной назад, она вышла из комнаты. Чужому человеку одного взгляда на эту сцену хватило бы, чтоб понять: с девушкой не все ладно. Здесь, в семье начальника Чжана, такие поклоны были не к месту, но домочадцы давно привыкли к Дохэ и не видели в них ничего странного.

С тех пор в Аньпине больше не встречали ни Эрхая, ни Сяохуань, ни Дохэ. Старуха, выбираясь в поселок, рассказывала об отъезде сына то одно, то другое:

— Наш Эрхай поехал к дяде, у того своя фабрика.

— Эрхай-то нашел в городе работу, будет получать казенное жалованье.

В поселке тогда было расквартировано много бойцов НОАК, и все как на подбор южане, то было время подлинного слияния Севера и Юга. Парни

из поселка один за другим вступили в Освободительную армию и отправились на юг. Поэтому отъезд Эрхая никого не удивил.

Спустя год начальник Чжан получил от сына письмо, Эрхай писал, что мечта стариков наконец-то сбылась — у них родился внук. Старик Чжан послал с поездом новое ватное одеялко, тюфячок и наказал передать Эрхаю, чтоб они непременно отнесли ребенка в ателье сфотографировать: матери не терпится на внука посмотреть, даже глаза зудят.

На второй день после того, как Председатель Мао с трибуны на площади Тяньаньмэнь провозгласил о создании Нового Китая[1], от сына пришло еще одно письмо. Мать глядела на фотокарточку, вложенную в конверт, из глаз ее текли слезы, а изо рта тянулась слюна. С карточки на старуху глядел грозный бутуз со вздыбившимися волосенками. Старик Чжан заметил, что внук похож на Дохэ. Жена чуть не задохнулась от возмущения: по такому крохе разве видать, на кого похож? Начальник Чжан только вздохнул. Он знал, что старуха сама себе голову морочит: не желает признавать половину японской крови, что течет в жилах ее внука, хоть убей. Будто от этой японской половины можно запросто отмахнуться. Она сунула карточку в карман и, радостно дробя ножками, поспешила в поселок: внук наш чуть Сяохуань на тот свет не отправил, вон какой великан! Что ни час грудь требует, все молоко у Сяохуань высосал! Старуха хвасталась, и улыбка превращала ее глаза в две изогнутые щелочки. Только близкие подруги Сяохуань шептались меж собой: «Кто тебе поверит? У Сяохуань там живого места не осталось, куда ей родить?»

Мать спрашивали, много ли Эрхай получает в городе.

— Рабочий первого разряда на коксовальном заводе, — рассказывала старуха, — таких государство кормит, одевает и жилье дает.

Тогда ей говорили:

— Счастливец ваш Эрхай.

И мать, тоже счастливая, сама верила в собственную выдумку.

Когда в окрестных деревнях учредили бригады трудовой взаимопомощи[2], старики получили третье письмо от Эрхая. Старик Чжан станцией больше не заведовал, в конце прошлого года ему на смену прислали нового молодого начальника. А он теперь был дворником Чжаном, каждый день проходил метлой зал ожидания размером в шесть квадратных столов, а площадку перед входом на станцию мел так, что пыль вставала столбом до самого неба. В тот день, прочитав письмо от Эрхая, дворник Чжан замахал метлой что было мочи. Старуха его в могилу сведет своим ревом, это как пить дать. Сын Эрхая заболел и в прошлом месяце умер. Эрхай, тоже мне, о таком деле только месяц спустя написал. И плакать-то матери поздно.

Старуха своими слезами и впрямь чуть не свела дворника Чжана в могилу. Из охапки приданого внуку хватала то крохотную шапочку, то башмачок и заливалась слезами. Рыдала о горькой доле Эрхая, о судьбине своей и старика, о Сяохуань, о чертовых япошках — заявились в Китай, все повырезали, повыжгли, погнались за снохой, та и выкинула ее старшего внука. Старуха плакала-плакала и доплакалась до Дахая. Бессовестный, сбежал из дома в пятнадцать лет, и где потом промышлял, где разбойничал — одному богу известно.

Дворник Чжан сидел на кане и курил. Подумал про себя, что жена отлично знает, куда сбежал старший сын. Жили тогда еще в Хутоу, он работал котельщиком на станции, а Дахай связался с молодчиками из сопротивления Японии, которые хозяйничали в горах. После того и сбежал из дома,

---

[1] 1 октября 1949 года.

[2] 1952 или 1953 год.

они с женой решили, что сын ушел в горы, будет взрывать железные дороги японских гадов, рушить их склады и мосты. Эрхаю тогда было всего два года. Дворник Чжан подумал: будь Дахай жив, уже бы прислал письмо.

Мать больше в поселок не ходила.

Как-то летним утром на широкой грунтовой дороге, что тянулась посреди пшеничного поля, показался мотоцикл, в коляске сидел мужчина, похожий на служащего из управы. Мотоцикл в облаке пыли притормозил у ворот, из коляски спросили, здесь ли дом товарища Чжана Чжили.

Старуха сидела в тени дерева, расплетала хлопковые перчатки. Услышав вопрос, тут же подскочила. За эти годы она заметно убавилась в росте, и ноги ее так скривились, что стали похожи на две повернутые друг к другу ручки от чайника. Пока ковыляла к воротам, гостю через просвет между ее ногами было видно стайку цыплят во дворе.

— Мой Дахай вернулся? — старуха замерла в паре шагов от ворот. Чжан Чжили было школьное имя Дахая.

Товарищ из мотоцикла шагнул к старухе, объяснил, что он из уездного Управления гражданской администрации, явился доставить удостоверение героя на товарища Чжана Чжили.

Мать была уже стара и туго соображала — стояла и молча улыбалась, стараясь не показывать товарищу из управы свой щербатый рот.

— Товарищ Чжан Чжили доблестно пал в бою на Корейской войне. Пока был жив, пытался разыскать вас и отца.

— Доблестно пал в бою? — умом мать на несколько десятилетий отстала и от этой новости, и от слов гостя из управы.

— Вот его удостоверение героя, — товарищ вложил в скрюченные старухины руки конверт из коричневой бумаги. — Денежную компенсацию получила вдова. У нее двое детей, оба пока не подросли.

Тут, наконец, старуха продралась сквозь ворох незнакомых слов. Дахай погиб, погиб в Корее, им, старикам, теперь за него почет, а вдове и ребятишкам деньги. Стоя перед незнакомым товарищем, который так и сыпал непонятными южными словами, мать не могла дать себе волю и зарыдать: она плакала всегда громко, причитая и колотя себя руками по ляжкам. К тому же Дахай убежал, когда ему было пятнадцать, и мать давно уже его оплакала, отрыдала по Дахаю и не ждала увидеть его живым.

Товарищ из Управления гражданской администрации сказал, что отныне Чжаны — члены семьи погибшего героя. Им полагается ежемесячное пособие от правительства, к Новому году будут выдавать еще сало и свинину, к Празднику середины осени — пряники, а ко Дню основания КНР — рис. По такой программе снабжают всех членов семей погибших героев в уезде.

— Товарищ руководитель, сколько детей у моего Дахая?

— Гм, я точно не знаю. Кажется, двое. Невестка ваша тоже боец добровольческой армии, служит в госпитале.

— О.

Мать не спускала глаз с гостя, скажет ли он теперь: «Невестка звала вас повидать внуков»? Но товарищ сомкнул губы и молчал.

Когда мать провожала гостя за ворота, вернулся дворник Чжан. Старуха познакомила мужа с товарищем из управы, они, как положено, пожали друг другу руки, гость назвал старика «уважаемым товарищем».

— Передайте невестке, чтоб приезжала! — сказал, прослезившись, дворник Чжан. — Если занята, так мы и сами можем выбраться, повидать ее и внуков.

— Буду помогать ей с ребятишками! — вставила старуха.

Товарищ обещал, что все передаст.

Мотоцикл было уже не слыхать, а старики только вспомнили о коричневом конверте. Внутри лежала книжечка в твердой обложке с золотыми иероглифами по красному фону. Открыли — там удостоверение героя с фотографией Дахая и еще одна карточка, на ней Дахай снят с девушкой в военной форме, сверху надпись: «На память о свадьбе».

В удостоверении было сказано, что Дахай служил начальником штаба полка.

Мать снова отправилась в поселок. Ее сын-герой — начальник штаба полка, в Аньпине отродясь не видали таких больших чинов!

Как пришла пора ехать в Цзямусы к снохе с внуками, старуха скупила половину поселка: набрала и лесных лакомств, и мехов, и воздушных рисовых хлопьев, и соленых заячьих лапок, и табаку.

— Тетушка! Неужто хотите, чтоб внуков пронесло от обжорства?

— А то! — и старуха хохотала, щерясь ртом с четырьмя нижними зубами.

Когда Чжан Эрхай получил письмо с известием о том, что родители едут в Цзямусы, он был уже не Чжан Эрхай, а товарищ Чжан Цзянь, рабочий второго разряда. Это имя он вписал в бланк, когда пришел устраиваться на коксовальный завод. У стола с бланками взял в руки перо и, сам не зная почему, вдруг выбросил иероглиф *лян* — «добрый» — из своего школьного имени. За три года Чжан Цзянь быстро вырос от подмастерья до рабочего второго разряда. Рабочих Нового Китая с неполным средним, как у него, было немного, поэтому на группе по читке газет или на политучебе бригадир всегда говорил: «Чжан Цзянь, тебе первому слово!» Поначалу думал, что бригадир его, молчуна, только напрасно конфузит, заставляя первым выступать с речью. Но понемногу дело пошло, оказалось, нужно всего-навсего вызубрить пару десятков иероглифов и потом каждый раз за трибуной повторять, ничего не меняя.

Выступил, вздохнул свободно и думай себе о домашних делах. О том, как никого не обидеть, ни Сяохуань, ни Дохэ. Как объяснить жилищному комитету, почему Дохэ на собраниях всегда молчит? О том, что Сяохуань все буянит, рвется на работу, может, разрешить? В последнее время больше всего он думал о том, как Дахай стал героем. Вот оно что, брат дожил до тридцати с лишним лет, стал начальником штаба, женился, родил детей, и пока не погиб смертью героя, о родителях даже не вспоминал. Что ж он за человек такой…

Едва закончилась политучеба, дежурный, разносивший в бригаде почту, передал Чжан Цзяню письмо. Почерк отца. Лихие, грубоватые строчки с крупными иероглифами, выведенными отцовской рукой, так и кипели радостью — старик писал, что они с матерью едут в Цзямусы проведать внуков.

Чжан Цзянь не стал читать дальше. Чем плохо? Раз брат оставил семье продолжение рода, Чжан Цзянь теперь свободен, так? И Дохэ свободна, можно ее отпустить. Только куда она пойдет? Неважно, главное, что сам он теперь свободен, «пролетариат сбросил оковы».

Чжан Цзянь вернулся в семейное общежитие, стоявшее недалеко от завода. Сяохуань опять не было дома. Дохэ тут же подошла, опустилась на колени, сняла с него тяжелые замшевые ботинки и осторожно убрала их за дверь. Замша была светло-коричневая, но в первый же день на заводе ботинки стали черными, как лак. После смены Чжан Цзянь мылся, но все равно было видно, что он с коксовального. У рабочих его завода уголь въедался в кожу так глубоко, что уже не отмоешь.

Они жили в большом бараке, две деревянные кровати, составленные рядом наподобие кана, занимали восточную часть комнаты. В западной

половине стояла громоздкая железная печь, дымовая труба из листового железа свивалась в полукруг под потолком и выходила наружу через отверстие над «каном». Растопишь печку, и в комнате становится так жарко, что в стеганке не усидишь.

Была середина августа, Дохэ готовила еду во дворе. Ей приходилось то и дело забегать в дом, потом выскакивать обратно на улицу, она то разувалась, то снова обувалась, дел у Дохэ было больше всех. Сяохуань — та лентяйка, ноет, ворчит, но подчиняется японским правилам, лишь бы самой ничего не делать.

Чжан Цзянь едва успел сесть, как без единого звука у него в руках оказалась чашка чая. Чай приятно остыл, верно, заварили, пока он шел с работы домой. Отставил чашку, и перед ним появился веер. Взял веер, а Дохэ уже след простыл. Радость его у Сяохуань, а уют — здесь, у Дохэ. В новом рабочем квартале стояло несколько дюжин одинаковых сбитых наспех одноэтажек из красного кирпича, на два-три десятка бараков свой жилищный комитет. Для комитета Дохэ была немой свояченицей Чжан Цзяня, которая вечно ходит хвостиком за своей старшей сестрой, говорливой хохотушкой Чжу Сяохуань. Бывало, Сяохуань встретит знакомых по пути на рынок за продуктами или на железную дорогу за шлаком, отпустит шуточку, а Дохэ кланяется у нее из-за спины, будто извиняется за сестру.

По правде, Дохэ уже могла по-простому объясниться на китайском, но слова ее были диковинные. Например, сейчас:

— Нерадостен ты? — спросила она Чжан Цзяня. Звучит шиворот-навыворот, но прикинешь как следует — вроде и так можно сказать.

Чжан Цзянь промычал в ответ, покачал головой. Выживет такая, если бросить ее одну?

Дохэ взяла вязать свитер, начатый Сяохуань. Когда у жены бывало настроение, она распускала нитяные перчатки, которые выдавали на заводе Чжан Цзяню, красила пряжу и принималась вязать Ятоу свитерки, то колоском, то павлиньими перьями. Но запал быстро проходил, довяжет Сяохуань до половины, а дальше Дохэ заканчивает. Дохэ ее спросит, как вязать, а Сяохуань даже показать лень, и Дохэ сама сидит, голову ломает.

Они жили вчетвером в одной комнате, снаружи был еще навес из толя и дробленого кирпича. Все в квартале построили у своих бараков такие навесы, кто из чего, каждый на свой лад. Поперек двух больших деревянных кроватей Чжаны настелили шесть досок, каждая в чи шириной, три с лишним метра длиной. Подушка Ятоу лежала у самого края, в середине спал Чжан Цзянь, по бокам от него ложились Дохэ и Сяохуань, спали все вместе, как на большом кане. Пару лет назад, когда только переехали, Чжан Цзянь решил разделить комнату на две половины, но Сяохуань застыдила, мол, стоит стену-то городить, чтобы вы за ней по ночам прятались? У Сяохуань язык острый, таким и зарезать можно, но душа добрая. Когда ночью она просыпалась от возни мужа с Дохэ, то просто ложилась на другой бок и велела им быть потише: «Тут на кане еще ребенок спит».

Сына у Дохэ принимала Сяохуань. И она же ходила за Дохэ, когда та поправлялась месяц после родов[1]. Сяохуань называла мальчика Эрхаем, и с его появлением стала к Дохэ намного ласковей: «Я это не для монаха, а для Будды»[2]. В месяц от роду сынишка умер, и Сяохуань стала просить Дохэ поскорей родить еще одного, еще одного «маленького Эрхая», тогда, гля-

---

[1] В Китае было принято, чтоб месяц после родов женщина проводила в постели.

[2] Китайская поговорка: милостыню монахам подают не для их блага, а для Будды. Здесь может значить, что Сяохуань стала ласковей к Дохэ только для блага ребенка.

дишь, и затянутся дыры в наших душах. Ведь с тех пор, как ушел маленький Эрхай, у каждого от сердца будто отрезали по куску.

Теперь Сяохуань гнала мужа, когда он лез к ней под одеяло: «Раз тебе так неймется, нечего бросать свое семя на худую землю и глядеть, как доброе поле Дохэ зарастает сорняками». Маленький Эрхай умер больше года назад, но всходов на японском поле все не было. Сейчас Дохэ сидела перед ним за столом, он глядел на нее и думал: вот как, у брата остались дети, оказывается, есть кому продолжить род семьи Чжан.

А Дохэ... Дохэ теперь совсем ни к чему.

— Эрхай, — вдруг промолвила Дохэ. Выходило у нее по-прежнему: «Эхэ».

Прикрытые верблюжьи глаза сделались чуть шире.

Она отвела взгляд, а про себя все смотрела в его усталые глаза под небрежно вспорхнувшими веками. Впервые она увидела его сквозь светло-коричневую дымку — через мешок снежный день вокруг казался затянутым в бежевый туман. Тацуру лежала на помосте, а он подошел к ней из этого тумана. Она съежилась в мешке, взглянула на него и тут же закрыла глаза, зарылась головой под плечо, словно курица, которую сейчас забьют. Хорошенько запомнила все, что увидела, и раз за разом снова повторяла про себя. Высокий — это точно, вот только лица было не видно. Интересно, такой же неуклюжий, нескладный, как все долговязые? Взвалил на себя мешок, понес. Где ее будут забивать? Окоченевшее тело, онемевшие ноги Тацуру болтались в мешке. Шагая, он то и дело задевал ее голенью. С каждым толчком она еще больше съеживалась от отвращения. Проснулась боль, заколола тело тысячью маленьких иголочек, от ногтей, пальцев, ступней иголки бежали стежками по рукам и ногам. Он нес ее сквозь толпу черных башмаков, черных теней, сквозь смех, не спеша отвечая на чьи-то шутки. Ей казалось, что все эти башмаки вот-вот напрыгнут и втопчут ее в снег. Вдруг послышался голос старухи, потом старика. Сквозь дерюгу пробился запах скотины, и Тацуру уложили на что-то ровное. На дно телеги. Бросили туда, как кучу навоза. Мула стегнули, и он зарысил по дороге, быстрее, еще быстрее, и она, словно куча навоза, плотно-преплотно сбивалась от тряски. Чья-то рука то и дело ложилась на нее, легонько похлопывала, смахивала снежинки. Старая рука, скрюченная, с мягкой ладонью. От каждого ее касания Тацуру только сильнее вжималась в борт телеги... Повозка закатилась во двор, сквозь бежевую дымку она разглядела угол двора: стена, на ней рядок черных коровьих лепешек. Высокий снова взвалил ее на плечи и занес в дом… Веревку развязали, мешок съехал вниз, и Тацуру увидела его — мельком, одним глазком. И потом медленно разглядывала про себя то, что успела ухватить: похож на большого быка, а глазами — точь-в-точь усталый мул или верблюд. Его пальцы были совсем близко — попробуй тронь, зубы-то что надо!

Подумала: хорошо, что я тогда его не укусила.

— Беременна я, — сказала Дохэ. Ее выговор не резал слух только им троим.

— М, — распахнув глаза, ответил Чжан Цзянь. Доброе поле, дает урожай хоть в засуху, хоть в разлив.

Под вечер домой пришли Сяохуань с Ятоу. Услышав новость, жена метнулась обратно на улицу: «Я за вином!» От вина за ужином всех даже пот прошиб, а Сяохуань макала палочки в рюмку и капала Ятоу на язычок: та вся сморщится, Сяохуань хохочет.

— Теперь подрастет у Дохэ живот, соседи почуют неладное: откуда это у сестренки такое пузо? Не видали, чтоб к ней муж приезжал! — сказала Сяохуань.

— Что велишь делать? — спросил Чжан Цзянь.

Сяохуань опустила лицо, ямочка на щеке стала еще глубже.

— А чего ж тут делать? Дохэ пусть дома сидит, а я привяжу подушку на живот и буду ходить.

Дохэ оцепенело уставилась на скатерть.

— О чем задумалась? — спросила Сяохуань, — Опять сбежать хочешь? — Повернулась к мужу, тыча пальцем в Дохэ: — Она удрать хочет!

Чжан Цзянь взглянул на Сяохуань. Тридцать лет (если по настоящей метрике), а дурь никак не выйдет. Ответил, что трюк с подушкой никуда не годится. На целый строй бараков всего один туалет, по нескольку человек над одной ямой сидят, что, будешь с подушкой в сортир ходить? А Дохэ не сможет из дому выйти облегчиться? Сяохуань ответила, что от этого еще не умирали. Кто в богатых домах ходит в общественный туалет? Все делают дела в ночной горшок, прямо в комнате. Чжан Цзянь все равно велел ей не болтать.

— Или так: мы вернемся с Дохэ в Аньпин, она там и родит, — предложила Сяохуань.

Глаза Дохэ снова просияли, она посмотрела на Чжан Цзяня, потом на Сяохуань. На этот раз Чжан Цзянь не оборвал жену. Молча затянулся, потом еще, чуть заметно кивнул.

— Наш-то дом далеко от поселка! — тараторила Сяохуань. — Еды навалом, цыплятки свеженькие, и мука тоже!

Чжан Цзянь поднялся на ноги:

— Хорош болтать. Спать.

Сяохуань вьюном вилась вокруг мужа:

— Как надо что придумать или решить, от тебя проку, как от козла молока, одно заладил: «Хорош болтать!» А я-то всегда дело говорю! Такой здоровый детина, а все пляшешь под матушкину дудку, что гиена в сиропе решит, то и делаешь.

Пусть треплется, — решил Чжан Цзянь, зевнул, широко раскинув руки. Дохэ с Ятоу пересмеивались и напевали, собирая со стола. Ни дать ни взять японские мама с дочкой, будто и не слышат, как буянит Сяохуань.

— Тогда чему ты сейчас кивал? — допытывалась жена.

— Когда это я кивал? Трубка хорошо пошла, вот и кивнул! Шут с тобой, больше вообще не буду кивать, — Чжан Цзянь не хотел говорить, что у него на уме, пока как следует все не обдумал. А вот замысел Сяохуань надо выбить у нее из головы.

Если Чжан Цзянь что решил — обсуждать уже поздно. На другой день он вернулся с работы, Дохэ подошла развязать ботинки, но он велел обождать, сначала дело:

— В следующем месяце переезжаем.

— Куда?— спросила Сяохуань.

— Далеко.

— Дальше Харбина?

— Дальше.

— Да куда, в конце-то концов?

— В бригаде пока не знают, сказали, какой-то город к югу от Янцзы.

— Чего мы там забыли?

— Четверть рабочих с завода туда отправляют.

Дохэ опустилась на колени, развязала шнурки на замшевых ботинках Чжан Цзяня. К югу от Янцзы? Она повторяла про себя эти четыре слова. Пока Дохэ снимала с Чжан Цзяня ботинки и переобувала его в сухие белые хлопковые носки, перепалка с Сяохуань шла своим чередом. Она ему: я не

поеду! Он: тебя не спрашивают. Почему это надо непременно ехать? Потому что мне чудом удалось попасть в список.

Сяохуань впервые стало страшно. Южнее Янцзы? Она никогда бы не подумала, что доведется и саму-то Янцзы увидеть! Сяохуань шесть лет проучилась в начальной школе, но в географии не понимала ровным счетом ничего. В центре ее мира была родная деревня, где жила семья Чжу, даже поселок Аньпин казался чужбиной. После замужества она переехала в Аньпин, и больше всего ее успокаивало, что оттуда до родной деревни было сорок ли пути, крикнешь: «Все, ухожу! Баста!», проедешь сорок ли, и ты дома. А теперь они станут жить к югу от Янцзы — сколько рек и речек течет между Янцзы и ее родной деревней?

Ночью Сяохуань лежала на кане и пыталась представить, что настанет за жизнь, когда нельзя будет убежать домой, в семью Чжу. Не можешь, а живи, ни отец, ни мать, ни брат, ни бабка, ни сноха не услышат больше твоего «баста!». К ней под одеяло пробралась рука, взяла ее руку. Ладонь Сяохуань была вялая, неживая. Рука протянула ее ладонь к себе, прижала к губам, тем самым, что неохотно шевелятся при разговоре. Губы эти повзрослели, были уже не такие пухлые, как при первом поцелуе, все в сухих морщинках. Губы раскрылись, обхватили кончики ее пальцев.

Теперь он утащил к себе под одеяло всю ее руку. А потом и саму Сяохуань. Прижал к себе. Он знал, что Сяохуань — балованная девчонка из деревенской семьи, которая дальше своей околицы ничего и не видала. Он знал, как она напугана, и ему было известно, чего она боится.

А Сяохуань все-таки поумнела. Дожив до тридцати, поняла, наконец, что иной раз буянь, кричи, а все не впрок — например, если муж твердо решил: едем на юг.

Перевод с китайского Алины ПЕРЛОВОЙ.

Фото Чжоу Пэн.



Три времени французской поэзии

Пьер ДЕ РОНСАР (1524—1585)

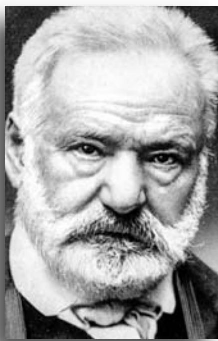


Поэт-аристократ, создававший свои изящные творения при дворе покровительницы искусств Маргариты Наваррской, возглавлял поэтическую школу, которую в честь древних александрийских поэтов назвали «Плеядой». Благодаря ему французская поэзия получила в свое распоряжение огромное количество стихотворных размеров, стала более музыкальной, гармоничной, масштабной и глубокой. Творческое наследие Ронсара достаточно обширно. Сюда входят философские, религиозно-политические стихи, неоконченная героико-эпическая поэма «Фронсиада», многочисленные сонеты, теоретическая работа «Краткое изложение поэтического искусства». Однако именно лирика сделала Ронсара прославленным поэтом, позволила ему снискать всеобщее признание. В поэзию Ронсар ввел тему природы, любви, в которой одновременно сочетались платонизм и чувственность. Его сборники «Оды», «Гимны» и более поздние «Сонеты к Елене» проникнуты гуманистическими идеалами Возрождения, часто находившими выражение в мотивах эпикурейства. Несмотря на элитарность поэзии Ронсара, в ней проявилось вообще характерное для французского национального духа оптимистическое восприятие жизни.

Настало время нам развлечься
И порезвиться от души...
О Боже, разве не смешны
Те, что за книгой длят свой век,
Забывши истину простую:
Для жизни создан человек.

Что пользы книгу изучать —
Над нею без толку скучать?
Найди нам, Коридон, местечко,
Где добрым блюдом угостят,
Вина бутылку охладят —
В беседке с розами потом
Забудемся мы сладким сном...

Опустим розы мы в вино,
Вином же окропим мы розы,
И выпьем мы его до дна:
Пусть испарятся грусть и слезы
С парами доброго вина!



Виктор ГЮГО (1802—1885)

Классик французской и мировой литературы, крупнейший писатель романтической школы. Ранний роман «Собор Парижской Богоматери» воспевает силу человеческих страстей, гневно обличает пороки сильных мира сего и пронизан глубоким сочувствием к изгоям несправедливого общества. Более поздние романы «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеется», «93-й год» также проникнуты идеалами гуманизма. Последний роман, посвященный Великой Французской революции, был создан Гюго под влиянием современных ему событий Парижской Коммуны.

Восприятие жизни писателем далеко от оптимизма, хотя и не лишено веры в человека. Один из героев романа «Отверженные», парижский мальчуган Гаврош, маленький борец за свободу и справедливость — неунывающий, правдивый и отважный, — стал в глазах читателей всего мира символом французского народа.

Все персонажи в романах Гюго настолько ярки и убедительны, что им оказались тесны рамки книг, и с появлением кинематографа они не единожды находили свое зримое воплощение на экране, а в начале нынешнего века даже вдохновили талантливых авторов на создание мюзикла «Собор Парижской Богоматери», который триумфально прошел по всем мировым сценам.

Гюго создал также немало поэтических произведений, но как поэт известен гораздо менее. Вниманию читателей предлагается одно из его стихотворений, ранее, насколько известно составителю, на русский язык не переводившееся.

На баррикаде, среди мостовой,
Грешной кровью омытой и кровью святой,
Мальчонка, двенадцати лет всего,
Со взрослыми взят был заодно.
«Ты с ними?» — спросили.
Ответил: «Мы вместе». —
«Отлично! — сказал офицер. — С ними вместе
И будешь расстрелян. Черед твой недолог!»

Ружейные вспышки видит ребенок
И с просьбой подходит он к офицеру:
«Часы у меня здесь с собой —
Позвольте мне сбегать домой
И матери их отдать». —
«Да ты просто хочешь сбежать!
У голодранцев храбрости нет,
Когда им надо держать ответ!»

— «Но я вернусь, господин капитан». —
«А где живешь ты?» — «Там, где фонтан».
— «Проваливай, малый! Своей уловкой
Провел ты нас, думаешь, очень ловко?»

Мальчонка ушел — и хохот раздался,
И хрип умирающих с ним смешался...

И вдруг... вновь ребенок пред ними предстал —
Как древний герой, горд и бледен стоял,
К стене подошел... «Я здесь», — им сказал...

Гийом АПОЛЛИНЕР
(Вильгельм Аполлинарий Костровицкий)
(1880—1918)



Выдающийся представитель эпохи новаторских поисков во французском искусстве и литературе. Поэт с большим сочувствием живописал простой народ Парижа; в годы Первой мировой войны резко восставал против войн как общечеловеческой трагедии. В его творчестве особенно ярко выражены протест против бессмысленной жестокости мира, тоска по человечности в жизни и в искусстве. Сопоставление пессимистических мотивов поэзии Аполлинера с жизнеутверждающей поэзией Ронсара и полным драматизма творчеством Гюго наводит на серьезные размышления о направлениях развития в истории и в искусстве...

Многие стихи Аполлинера отмечены его тягой к экспериментальности. Так, например, отказ от знаков препинания дает читателю возможность собственной расстановки смысловых акцентов, более личностного восприятия поэзии.

«Мост Мирабо» — одно из лучших и наиболее известных стихотворений поэта; неоднократно переводилось на русский язык. Читателям предлагается новый вариант перевода.

Под мост Мирабо
Уплывает вода
И наши любови и наши года
И горе и счастье
Что помнит она
Ночь уж идет
Час свой пробьет
Дни исчезают
Меня покидают
Дни уходите
Недели бегите
Жизнь и любовь
Вы не возвратите
Пусть ночь идет
Час свой пробьет
Дни исчезают
Меня покидают
Под мост Мирабо
Как наши года
Как жизнь и любовь
Уплывает вода

Комментарий и перевод с французского
Елены ЧИЖЕВСКОЙ.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Пантеон женских сердец



Джейн ОСТИН
(16 декабря 1775 года — 18 июля 1817 года)

Чем больше я наблюдаю мир, тем меньше он мне нравится. Каждый день подтверждает мне несовершенство человеческой натуры и невозможность полагаться на кажущуюся порядочность и здравый смысл.

Джейн ОСТИН

Недавно натолкнулась в интернете на восторженно-выспреннюю статью, посвященную жизни и творчеству замечательной английской писательницы Джейн Остин. И с названием, надо сказать, автор не подкачал. Не поскупился, ей же богу! — на патоку: «Первая леди английской литературы».

Помнится, я даже слегка растерялась при виде столь откровенной гиперболы. Ничего себе, первая! — мелькнуло у меня, и я вдруг поймала себя на мысли, что еще каких-то полвека тому назад в нашей отечественной культуре никто слыхом не слыхивал про эту самую первую леди англосаксонской словесности. Ну, не считая, разумеется, тех, кто занимался английской литературой по долгу службы, так сказать. Всякие разные там ученые-филологи, литературоведы, специалисты по зарубежной литературе и прочее. То есть именно вся та публика, которая не мыслит своего существования без тиши читальных залов, а лучшим занятием на свете считает рыться в книгах и перебирать пожелтевшие от времени карточки в библиотечных каталогах. Словом, собирают материал, а потом строчат себе пространные диссертации, докторские и кандидатские, стряхивая пыль с изданий и имен, уже давно сданных в архив.

Между прочим, попутно отмечу, что в том курсе по зарубежной литературе, который я в свое время прослушала, будучи студенткой иняза, имя Джейн Остин даже не упоминалось на лекциях. И в список литературы, который мы, студенты 3-го курса, обязаны были проштудировать к экзаменам, ее романы тоже не включались. Видно, в те далекие годы знакомство с творчеством Остин расценивалось как непозволительная (а потому и ненужная) роскошь для будущих педагогов. Ведь из нас же готовили рядовых учителей английского языка, а не спецов по литературе конца XVIII — начала XIX веков. Впрочем, совсем даже не уверена в том, что рядовые английские студенты средины XX века тоже углублялись в пространное изучение творчества своей соотечественницы. Не говоря уже о

школьниках. Это сегодня ее книги включены в школьную программу и обязательны для изучения во всех университетах и колледжах Великобритании. А каких-то полвека тому назад…

Так вот! Повторюсь еще раз. Английская чаровница по имени Джейн Остин была совершенно не востребована ни у себя на родине, ни у нас, в широких, так сказать, читательских массах. На что косвенно указывает вот такой факт. До сего дня мы все еще никак не можем окончательно определиться с написанием фамилии писательницы. И в сети, и на обложках издаваемых книг постоянно мелькают два варианта: Джейн Остен (традиционный вариант воспроизведения имени собственного с помощью транслитерации, то есть с помощью букв русского алфавита) и Джейн Остин (более привычный слуху читателя XXI века вариант транскрипции, то есть уже звуковое воспроизведение английского имени в той форме и с тем произношением, как оно и звучит у себя на родине). Пожалуй, именно этим, вторым вариантом, как более современным, а значит, и более точным, мы и воспользуемся далее.

Кстати, точно такая же неразбериха царит и с переводом двух самых главных, можно сказать, основополагающих романов в не очень обширном литературном наследии Джейн Остин. Я имею в виду ее романы *'Sense and Sensibility'* и *'Pride and Prejudice'.*

Первый из них фигурирует в русском языке сразу с тремя вариантами перевода заглавия: «Чувства и чувствительность» (попутно отмечу, что это самый худший и самый непрофессиональный вариант, совершенно не учитывающий широкий контекст романа и все оттенки и значения обоих слов, составляющих его название); «Здравый смысл и чувствительность» (уже наметились некоторые сдвиги к лучшему). Во всяком случае, нам, белорусам, часто повторяющим расхожую фразу *«Гэта мае сэнс»*, вполне понятна логика переводчика. Ведь именно так мы говорим, используя емкое по своему значению слово «сэнс» (почти полный аналог английского *sense*), когда хотим похвалить что-то дельное, разумное, толковое, имеющее не только смысл, но и внятную мотивацию поступков и решений. И, наконец, третий, самый лучший и самый точный вариант перевода: «Разум и чувства».

Да, именно так! Именно это и имела в виду писательница, противопоставляя разум, пусть и на уровне обычного житейского здравого смысла, и чувства, которые иногда могут сбить с пути праведного даже самую нечувствительную барышню. И не просто сбить, но и завести ее в дебри таких чувствований, что того и жди беды в личной жизни. Так что, никаких чувствований или, тем более, чувствительности! К счастью для всех ценителей творчества Джейн Остин, именно третьим, то есть — повторюсь еще раз! — лучшим вариантом перевода воспользовались те, кто дублировал на русский язык оскароносный фильм англо-американского производства от 1995 года, с которого, собственно говоря, и начинается новая эра в освоении творческого наследия полузабытой, если не сказать почти забытой, на тот момент английской писательницы.

Вот так порой случается в нашей жизни вопреки известному утверждению о том, что земная слава проходит. Получается, что иногда проходит, а иногда и приходит. И не просто приходит, но лавиной обрушивается на ту, которая при жизни не вкусила ни громкой славы, ни даже обыкновенной, рядовой известности. Да и потом, долгие десятилетия после своей смерти оставалась в забвении, скромно пребывая в тени других имен и кумиров.

Но вернемся к переводу заглавий. Второй роман Джейн Остин *'Pride and Prejudice'* тоже фигурирует у нас под двумя названиями: «Гордость и предубеждение» (совершенно непонятный и ничем не оправданный образ-

чик буквализма) и «Гордость и предрассудки» (вот это — именно то, что надо!)

Мое пристрастие именно ко второму варианту, как к самому лучшему и стопроцентно мотивированному сюжетом повествования, между тем, имеет и некоторое объяснение уже личностного характера. Дело в том, что именно с таким переводом названия романа *'Pride and Prejudice'* я впервые столкнулась в далеком 1966 году, будучи еще студенткой второго курса. Пришла в институтскую библиотеку, чтобы, по своему обыкновению, взять на дом пару-тройку неадаптированных английских книг для домашнего, так сказать, прочтения. Помнится, миловидная женщина средних лет, дежурившая на абонементе в тот день, веером разложила передо мной на стойке пять или шесть книг, одна из которых сразу же бросилась в глаза. Уж больно веселой, я бы даже сказала, жизнерадостной, была обложка, расписанная ярким узором с преобладанием розового, что почему-то немедленно вызвало ассоциации (во всяком случае, у меня) с обоями в детской комнате. Разумеется, имя писательницы было мне абсолютно незнакомо. Да и название поставило в тупик. Частично потому, что я, хоть и перепрыгнула на второй курс с твердой пятеркой по английскому, но английского слова *prejudice* на тот момент не знала. Признаюсь как на духу: не знала и понятия не имела о всем широком спектре его значений. А уж что такое логическое развитие понятия, когда переводчик, опираясь на все без исключения словарные эквиваленты, отыскивает некое новое значение переводимого слова с учетом данного конкретного повествования, так о таких переводческих тонкостях я вообще узнала много позже, уже имея в кармане диплом о высшем образовании.

Но как бы то ни было, а веселенькие обои сделали свое дело. Рука сама собой потянулась именно к книге в розовой обложке. Я взяла ее, раскрыла и с некоторым внутренним облегчением прочитала перевод названия романа на кармашке, куда в годы оны библиотекари вкладывали книжную карточку, рачительно помечая на ней номер абонемента читателя, которому выдается книга, и срок, на который он получает ее в домашнее пользование. Выцветшими чернилами там было написано: «Гордость и предрассудки».

Гениальный перевод! Как говорится, умри, но лучше не придумаешь. Остается лишь догадываться, кто был автором, случайный ли помощник на уровне студента-старшекурсника, помогавшего нашим институтским библиотекарям в обработке фонда зарубежных книг в рамках обязательной двухнедельной практики, совпадавшей, как правило, с летними каникулами (сама, помнится, отрабатывала подобную практику), или кто-то из посторонних. Вполне возможно, перевод был предложен и кем-то из преподавателей, кем-то, кто, прежде чем переводить заглавие романа, удосужился прочитать его от корки и до корки. Кстати, одно из правил техники перевода, правильной техники перевода, гласит: заглавие любого материала, будь то толстенный роман или скромная журнальная статейка, переводится в последнюю очередь, уже после того, как выполнен перевод всего текста. Жаль, что многие из современных переводчиков, особенно из числа молодых, забывают об этом правиле, а то и вовсе не подозревают о его существовании. А в результате мы имеем не только «Чувства и чувствительность», но и гораздо более нелепые и откровенно ошибочные варианты заглавий, гуляющих по безбрежным просторам переводной литературы. Но это так, к слову, а в адрес же неизвестного автора столь блистательного варианта перевода заглавия романа Джейн Остин можно лишь добавить еще какое-то количество благодарственных слов.

К большому сожалению, столь гениальная догадка не осенила тех, кто впервые переводил Джейн Остин на русский язык. В 1976 году в

издательстве «Художественная литература» вышел томик ее произведений, включавший два романа — повторюсь! — впервые переведенных на русский язык. Это — «Аббатство Нортэнгер» и — увы и ах! — «Гордость и предубеждение». Досадно! И переводчик, Иммануэль Самойлович Маршак, старший сын нашего маститого классика детской литературы и признанного мэтра в области перевода, и автор Предисловия и комментариев Нина Михайловна Демурова, перу которой принадлежит канонизированный перевод знаменитой «Алисы в стране чудес» на русский язык, не нуждаются в особых представлениях или, тем более, в рекомендациях. Но в данном конкретном случае оба они допустили то, что, по справедливому замечанию остроумца Талейрана, страшнее любого преступления, то есть совершили ошибку.

И она, эта ошибка, благополучно дожила и до наших дней, ибо и поныне, спустя сорок лет после выхода в свет первого сборника сочинений Джейн Остин на русском языке, все последующие издания романа публикуются именно под таким заглавием: «Гордость и предубеждение». И не только книги! Вот недавно прочитала, что во МХАТе, том, которым руководит Олег Табаков, приступили к репетициям мюзикла по мотивам романа Джейн Остин. Разумеется, на афишу вынесено все то же, в корне неправильное русскоязычное название: «Гордость и предубеждение». Хотя любой, кто возьмет себе за труд внимательно прочитать (или перечитать) сам роман, немедленно поймет, что речь там идет совсем не о предубеждениях, ей же богу! Просто главный герой романа по имени Дарси испытывает самое обычное, самое заурядное неприятие всей той провинциальной тусовки, выражаясь современным языком, с которой ему приходится общаться, когда он поселяется на какое-то время в своем загородном имении. Короче, типичный снобизм столичного жителя, волей случая оказавшегося в глухомани.

Ведь все это мелкопоместное дворянство, обедневшее и уже давно утратившее всяческую связь с истинной аристократией, способно вызвать лишь легкую иронию с оттенком сарказма, не более того. Словом, мы имеем дело с рядовыми социальными предрассудками, которые, между прочим, не чужды многим и сегодня. А уж двести с лишним лет тому назад… Как тут не вспомнить, кстати, насмешливо-презрительное отношение уже нашего отечественного героя Евгения Онегина к патриархальным нравам, царившим в доме Лариных! Так вот, и Дарси снедаем не столько предубеждениями (откуда им взяться, если еще вчера он не знал всех этих людей и даже не подозревал об их существовании?), сколько предрассудками, которые правят бал в том обществе, в котором он привык вращаться в Лондоне. В самом деле! Разве может аристократ якшаться со столь недалекой, а то и вовсе откровенно убогой публикой?

И снова на помощь нам, читателям, пришли киношники. Ибо фильм, снятый по этому роману Остин, фигурировал в нашем прокате именно под тем названием, который нам и нужен: «Гордость и предрассудки».

Ну что ты привязалась к этим заглавиям и названиям, быть может, воскликнет иной читатель, дочитав до сего места. Ты давай по существу! А с названиями мы потом сами разберемся, и без твоей помощи.

Хорошо! Воля ваша! Итак, по существу! Хотя замечу попутно, что кино в нашей истории играет отнюдь не последнюю роль. А по существу у нас получается вот что.

Замечательная английская писательница Джейн Остин, отошедшая в мир иной всего лишь в возрасте сорока одного года, долго пребывала в безызвестности, и это несмотря на то, что при жизни ее романами восхищался сам сэр Вальтер Скотт. Он даже откликнулся рецензией в прессе на один

из ее романов. Пожалуй, стоит упомянуть вот такую запись из дневника Скотта, датированную 14 марта 1826 года.

«Снова, вот уже, по крайней мере, в третий раз, перечитал превосходно написанный роман мисс Остин «Гордость и предрассудки». Эта молодая дама обладает талантом воспроизводить события, чувства и характеры обыденной жизни, талантом самым замечательным из всех, какие мне приходилось встречать. О глубокомысленных и высоких материях я пишу с такой же легкостью, как и любой другой в наше время; но мне не дан тот поразительный дар, который благодаря верности чувства и описания делает увлекательными даже самые заурядные и обычные события и характеры. Какая жалость, что такое талантливое существо умерло столь рано».

К дарованиям молодой писательницы проявили интерес и прославленный драматург Ричард Шеридан, и популярная писательница тех лет Мэри Эджворт. Да что там говорить! Сам принц-регент, будущий английский король Георг IV, через своего секретаря обратился к Джейн с личной просьбой: посвятить ему один из своих романов. Джейн не посмела ослушаться, и в начале 1816 года в свет выходит один из ее последних романов под названием «Эмма» с кратким посвящением королевской особе. Казалось бы, чего еще желать? Вот она, известность, слава и все такое прочее, что к этому прилагается. Но увы! И известность, и слава растаяли как дым, стоило писательнице отойти в мир иной.

— Почему так? — быть может, резонно спросит кто-то, не удовлетворившись банальным объяснением, что, дескать, такое часто случается по жизни.

Думаю, что ответ на этот вопрос частично можно найти в статьях известного английского литературоведа Питера Конрада, долгие годы преподававшего в Оксфорде. Его перу принадлежит фундаментальный труд под названием «История английской литературы в личностях». Так вот, в одной из своих статей, посвященных Джейн Остин, он назвал ее «самым недопонятым писателем из числа всех великих английских классиков», но при этом заявил, что в какой-то степени она виновата в этом сама. Обладая ироничным складом ума, писательница попалась в собственные силки, заявил Конрад. Ведь читатель чаще всего склонен принимать на веру каждое слово автора, понимая его буквально и не сильно утруждая себя поиском некого скрытого ироничного смысла. А если ускользает понимание иронии, которыми полнятся романы Джейн Остин (чем, отмечу попутно, грешат многие переводы ее романов на русский язык), то вместе с ними исчезает и все очарование ее прозы.

Понимаю, что читателя могут сильно нервировать эти мои постоянные обращения к теме профессионального художественного перевода и всех тех нюансов, которые, так или иначе, сопряжены с перелицовкой текста на другой язык. И все же не могу удержаться от еще одного наглядного примера, показывающего, как порой обедняется язык автора, когда переводчик не очень озабочен поисками нужных эквивалентов. А уж по части передачи иронии…

Буквально на первой странице русского издания романа «Гордость и предрассудки» (или «Гордость и предубеждение», как у них) вот такой показательный эпизод, свидетельствующий о том, что переводчик понятия не имел о том, что в английском языке существует довольно большой массив глаголов, именуемых в учебниках по грамматике «адвербальными». Это такие глаголы, которые одновременно выражают и само действие, и характеристику этого действия. Например, для передачи такого действия, как *«вихрем взметнуться вверх по лестнице»,* потребуется всего лишь один

английский глагол to storm up, без всяких пояснительных слов описывающий, как именно протекал весь процесс. Беда в том, что черты этой самой адвербальности может приобрести любой, даже самый распространенный, самый банальный английский глагол, известный всем со школьной скамьи, но только в определенных условиях, в зависимости от контекста.

Роман Остин открывается следующей сценой: миссис Беннет с плохо скрываемой радостью сообщает мужу просто сногсшибательную новость: в их глуши, и где! — буквально рядом с ними — появляется новый сосед. На вопрос жены, в курсе ли он этого эпохального события, мистер Беннет флегматично роняет, что нет, не в курсе.

«Тем не менее, это так, — продолжила она», — цитирую я перевод.

А весь фокус в том, что Джейн Остин использует в этом коротком отрывке тот самый адвербальный глагол, показывающий, что миссис Беннет возбуждена известием сверх всякой меры и ум ее уже лихорадочно занят поисками подходящих вариантов того, как следует побыстрее устроить знакомство супруга с объявившимся из столицы соседом. Глагол этот to return, который переводчик перевел нейтральным словом «продолжила», на самом деле означает «отвечать с оттенком раздражения, возмущения, негодования и прочее», то есть миссис Беннет уже готова выйти из себя, возмущенная тем, что муж-тугодум не понимает, какие блестящие возможности открываются перед их семейством, имеющим на выданье пять взрослых дочерей. А потому более корректный перевод должен быть хотя бы таким:

«И тем не менее это так! — воскликнула она, не скрывая своей досады».

Или, на худой конец, *«воскликнула с раздражением (с негодованием) в голосе».* Хотя возможны и другие, более смешные и более точные варианты, но только не «продолжила»! Скажете, мелочи? Пустяки? Но ведь из таких-то пустяков и слагается авторская ирония, которую всегда очень непросто сохранить в переводе. Но пытаться-то надо.

Впрочем, бог с ней, с этой иронией. И со всеми тонкостями перевода, сопряженными с нею. Вернемся к нашей героине.

Итак, про ироничную даму, творившую на стыке XVIII — XIX веков, забыли, забыли начисто, и вспомнили о ней только с приходом XX столетия. Вначале интерес к забытому имени вспыхнул, как это водится, в литературных кругах: Вирджиния Вулф, Ричард Олдингтон, Сомерсет Моэм, Джон Пристли. Все они, в той или иной мере, поспособствовали тому, чтобы о Джейн Остин снова вспомнили и заговорили после почти ста лет полнейшего забвения.

И все же, несмотря на обилие восторженных эссе признанных мэтров словесности, своим нынешним статусом первой дамы английской словесности Джейн Остин, скромная провинциальная барышня, дочь приходского священника, обязана, как это ни странно, исключительно и только кино. И конечно же, в первую очередь, Голливуду.

Хорошо помню, сколько шума наделал фильм «Разум и чувства», появившийся на экранах уже более двадцати лет тому назад. В 1995 году он был номинирован на премию «Оскар» сразу по шести позициям: и за режиссуру, и как лучший фильм года, и за сценарий, и за актерское мастерство, и даже за лучший дизайн костюмов. Правда, в итоге «Оскар» достался фильму всего лишь один: его получила Эмма Томпсон за лучший сценарий. Но победное шествие киноленты продолжилось по ведущим международным кинофестивалям. Экранизация романа Джейн Остин получила премию «Золотой глобус», удостоилась главного приза на Берлинском кинофестивале и получила Почетную Премию Гильдии киноактеров США.

Шумиха, поднятая вокруг этой киноленты, поспособствовала небывалому всплеску интереса и к творчеству уже самой Джейн Остин. Тиражи новых изданий ее романов в англоязычных странах достигли поистине астрономических высот. Одновременно романы стали в спешном порядке переводить на те языки, на которые они еще не были переведены.

Самое время напомнить читателю, что 1995 год, когда на экранах появился фильм «Разум и чувства», совпал с 220-летием со дня рождения Джейн Остин. И киношники, словно соревнуясь друг с другом, явно вознамерились сполна воздать полузабытой писательнице все те почести, коих она не вкусила при жизни. Короче, в 1995 году были экранизированы сразу три ее основных романа: «Гордость и предрассудки», «Разум и чувства» и «Эмма». Спустя пару лет появились уже многосерийные телевизионные версии романов, а еще через несколько лет, в 2007 году, англичане сняли художественный фильм, посвященный жизни самой писательницы. Он так и назывался: «Джейн Остин».

Фильм вышел в широкий прокат под убийственным рекламным слоганом: «Вся ее жизнь — величайший роман о любви» (убийственная неправда, добавлю я уже от себя в скобках). Но талантливая реклама, как известно, способна сотворить чудо на пустом месте. А уж по части мифотворчества тут равных голливудским кудесникам и их коллегам из Лондона вряд ли сыщешь.

Так, буквально на наших с вами глазах, дорогой читатель, буквально из ничего (ибо достоверных сведений о жизни писательницы крайне мало) сотворился красивый миф о Джейн Остин. Трогательная история любви молоденькой Джейн с обаятельным ирландцем Томом Лефроем, имеющая мало общего с тем, что случилось на самом деле в деревенской глуши два с лишним столетия тому назад, побила все рекорды посещаемости, став настоящим кинохитом, или как любят выражаться иные кинокритики, культовой кинокартиной. Шумиха, поднятая вокруг киноверсии биографии Джейн Остин, была невообразимой.

В главной роли блеснула талантливая американская актриса, обаятельная Энн Хэтэуэй, завоевавшая право на участие в съемках в конкурентной борьбе с такими всемирно известными кинодивами, как Натали Портман, Кира Найтли и Кейт Уинслет. Специально для этой роли актриса даже выучилась играть на фортепиано. Лучшие фонетисты Англии работали с Энн Хэтэуэй, помогая ей осваивать английские диалекты двухсотлетней давности. В массовках участвовало до трехсот актеров. Прямо Ватерлоо какое-то! Все главные сцены кинофильма снимались в Ирландии, а процесс съемок курировал лично тогдашний министр Ирландии по делам искусств. А уж наряды, в которых щеголяли главные герои и героини… Они так и просились снова быть номинированными на премию «Оскар» как лучшие кинокостюмы года.

Помнится, когда я созерцала сногсшибательные туалеты, сшитые из тончайшей кисеи пастельных оттенков, в которых провинциальные барышни, словно сошедшие с портретов самого сэра Томаса Лоуренса, прославленного мастера парадного аристократического портрета начала XIX века, неспешно прогуливались по изумрудным ирландским газонам, то меня почему-то охватывало чувство неловкости. Все эти платья-туники в стиле моды эпохи Директории с завышенной талией, перехваченной под грудью атласной лентой-кушаком, с ажурной вышивкой по подолу, какое отношение имеют они, размышляла я, к скромной девушке, собственноручно обшивавшей всю свою большую семью: мать, отец, сестра и шестеро братьев.

В этой семье, бесспорно, благородных кровей — но когда это было! — (и отец, и мать будущей писательницы происходили из старинных, но обедневших родов) считали каждый пенс, берегли каждую тряпицу и пуговицу, а каждая новая пара башмаков становилась настоящим событием, пусть и только семейного масштаба. В доме не было прислуги, лишь изредка, когда затевалась генеральная уборка, на помощь призывалась девушка из близлежащей деревни. Мать Джейн сама кухарила у плиты, коптила окорока к рождественским праздникам, варила мед и пиво, возилась в приусадебном огороде. А все заботы по поддержанию порядка в доме и соблюдению чистоты во всех комнатах, включая стирку, штопку и латание бесчисленных дыр на штанах мальчишек, мойку окон, уборку и мытье полов и прочее, и прочее, все это лежало исключительно на плечах двух дочерей приходского священника, сестрах Джейн и Кассандре. Какие кисея, муслин и атлас? Лицевались и перелицовывались зимние салопы, из старых пальто Джейн мастерила капоры себе и сестре, а из поношенных сюртуков отца кроила курточки для братьев. Вот она, правда жизни во всей ее, так сказать, наготе. Без кружев, вуалеток и гирлянд роз на шляпках наших героинь.

Наверное, именно это скудное, если не сказать полуголодное, существование и заставило Джейн Остин обронить в последнем романе «Доводы рассудка», пожалуй, свой лучший афоризм, сполна прочувствованный на собственном опыте.

«Хороший яблочный пирог — вот залог домашнего счастья».

Все так, согласимся мы, но добавим. В современном кино, особенно, в западном, рассчитанном, в первую очередь, на извлечение максимальной прибыли, причем не только от проката фильма, но и от всего того, что так или иначе с ним связано, так вот, ничего в этом киношном мире не делается просто так. И коль скоро деревенские простушки вдруг замелькали на экране в туалетах «от кутюр», то значит, дома «высокой моды» Парижа и Милана продиктовали свои условия постановщикам, требуя от них в наикратчайшие сроки возродить интерес богатых клиентов к стилю ампир. Так ведь не раз бывало и в прошлом. Вспомним, как после выхода на экран фильма «Великий Гэтсби», снятого по одноименному роману Скотта Фицджеральда, вдруг внезапно разразился бум вокруг моды в стиле «ретро». И вот, наконец, очередь дошла и до скромной девушки по имени Джейн Остин, непритязательной по своим запросам, добровольно и сознательно надевшей на себя чепец старой девы, и так же сознательно принявшей жизнь такой, какой она и была на самом деле.

Между прочим, стоит напомнить нашему читателю, что даже достоверных портретов писательницы, позволяющих судить о том, какой она была на самом деле, нет. Не считая, правда, любительского акварельного наброска, сделанного ее сестрой в 1810 году. Что же до того живописного портрета, который выполнен много позже после смерти Джейн Остин (в 1873 году) и ныне украшает обложки многих ее книг, то он есть чистейшей воды компиляция, основанная на воспоминаниях тех, кто был знаком с писательницей и помнил ее в разные годы ее земного существования. А они, эти воспоминания, существенно разнятся даже в том, что касается внешности. Так, по словам одной из кузин по имени Филадельфия, которая знавала Джейн еще ребенком, она «совсем не хорошенькая, она чопорна для своих двенадцати лет, капризна и неестественна». О том, что ребенок, воспитанный в строгости, попав в незнакомую ему среду, может попросту застесняться, стушеваться и прочее, кузина предпочитает умалчивать.

А вот как отзывается об уже повзрослевшей Джейн брат одной из ее близких подруг: «Она привлекательна, хороша собой, тонка и изящна, только щеки несколько крупноваты». Можно было бы добавить еще:

и чересчур румяны». Как это бывает у простолюдинок, привыкших к постоянной работе на свежем воздухе. Ну, а младшая дочь священника Остина имела страсть к ежедневным пешим прогулкам по окрестностям (одна из немногих радостей ее бытия наряду с занятиями литературным творчеством).

Так все же, какой на самом деле была жизнь Джейн Остин? Да не очень веселой, если охарактеризовать ее одним или двумя словами. Тот душещипательный роман, который стал основой сюжета кинофильма, был ли он в реальной жизни? Трудно сказать! Достоверно известно лишь одно. Семья Томаса Лефроя жила по соседству с Остинами. Обе семьи были настолько бедны, что о каком-то возможном брачном союзе между их детьми даже не велось разговоров. К тому же, в глубине души родители молодых людей вполне искренне надеялись на обыкновенное везение своих детей. Вдруг в будущем на горизонте каждого из них замаячит более выгодная партия? Было и еще одно досадное препятствие: на момент знакомства с Джейн (ей в то время едва исполнилось двадцать лет) Томас еще учился в университете, постигая премудрости юриспруденции. К слову говоря, в будущем он дослужится до должности Верховного судьи Ирландии. Но это потом, а пока летний роман между молодыми людьми (который, если он и имел место, то случился во время летних вакаций студента-юриста) был благополучно свернут и завершен, после чего молодой человек отбыл в университет для продолжения учебы. Вот и вся история, в том виде, как она дошла до нас в документальных подтверждениях. Коих очень немного, ибо после смерти сестры Кассандра, опасаясь, что потомки могут неправильно (и даже превратно!) истолковать некоторые факты или подробности, касающиеся личной жизни писательницы, уничтожила почти всю свою обширную и очень интенсивную переписку с Джейн, которую обе сестры вели на протяжении всей жизни, когда им случалось расставаться. Больше никаких серьезных чувствований в жизни Джейн не случилось.

«Только глубокое чувство может толкнуть меня под венец, потому быть мне старой девой», — признается одна из героинь романа «Гордость и предрассудки».

Аналогичные мысли посещают и героиню романа «Разум и чувства».

«Чем больше я узнаю свет, тем больше убеждаюсь, что никогда не встречу того, кого могла бы полюбить по-настоящему».

Судя по всему, это и личное признание самой писательницы, которая в тридцать лет — повторюсь еще раз! — добровольно надевает на себя чепец старой девы, тем самым официально объявляя всем окружающим, что отныне она всецело посвящает свою жизнь близким: родителям, братьям, любимой сестре Кассандре. Та, кстати, тоже проживет свою жизнь, так и не выйдя замуж. В 24 года Кассандра потеряла жениха. Будущий муж, молодой священник, тоже из небогатой семьи, умирает от желтой лихорадки в Вест-Индии, куда отправился зарабатывать деньги на предстоящую свадьбу.

Что ж, продолжим наше весьма поверхностное (в силу скудности достоверной информации) знакомство с анкетными данными будущей литературной знаменитости.

Образование? Среднее. Я бы даже сказала, очень среднее. Сестрам изначально не повезло со школами. В первой, куда их еще совсем маленькими девочками определил отец, директриса отличалась необыкновенно деспотичным нравом. В школе царили драконовские порядки (как тут не вспомнить пронзительные страницы, описывающие нечто подобное в любимом всеми романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»). Гнетущая атмосфера, полуголодный паек, на котором держали учениц, сделали свое дело:

началась эпидемия сыпного тифа. Обе сестры переболели тифом в крайне тяжелой форме. Родители уже готовились к худшему, но все обошлось. Сестер переводят в другую школу. Новая директриса — полная противоположность прежней: добродушие во всем и ко всем, но при этом полнейшее пренебрежение к тому, что связано с учебой. Учебный процесс строился по принципу: «Делайте что хотите, только не мешайте наставникам заниматься своими делами».

Обескураженный двойной неудачей, Джордж Остин забирает дочерей домой, вознамерившись самолично заняться их образованием. Чтение книг, самых разных, но в основном английских авторов — Шекспир, Голдсмит, Юм, Ричардсон, Филдинг, Стерн, обсуждение прочитанного, какие-то отрывочные сведения (в общих чертах) по истории, географии и прочим дисциплинам. Возможно, поверхностное знакомство с французским языком, в пределах необременительной разговорной лексики. Вот и все образование.

Неудивительно, что в романах Джейн Остин вы не найдете умных разглагольствований по животрепещущим проблемам бытия, да и вообще никаких разговоров о том, что находится за пределами тесного мирка, в котором существуют герои романов.

А ведь время, в которое жила писательница, было на редкость беспокойным и изобиловало, можно сказать, поистине судьбоносными для всего человечества событиями. Одна Великая Французская революция чего стоит! Плюс Война за независимость в Северной Америке, плюс континентальная блокада, учиненная Наполеоном против ненавистных ему англичан, и последовавшие за блокадой войны уже на самом континенте. Трафальгарская битва, сражение при Ватерлоо и прочее. А если вспомнить про промышленную революцию, которая началась в самой Англии, про восстание луддитов и восстание в Ирландии, то можно себе представить, сколько подходящих тем для содержательных бесед было у современников Джейн Остин.

Но только не в ее романах! Все эти страсти-напасти, казалось, бушуют далеко-далеко, в неком ином измерении, никак не соприкасаясь с судьбами героев и никак не влияя на развитие сюжетов ее книг. И ничем, кстати, не нарушая душевный покой этих самых героев. В полном соответствии с одним из ее высказываний, взятом из романа «Доводы рассудка».

«А ведь покой — замена счастью».

Разве что единожды Джейн Остин позволила себе иронично-колкую реплику, вложив ее в уста одной из героинь романа «Гордость и предрассудки» и тем самым дав понять своим читателям, что она, в общем и целом, в курсе того, что творится в мире.

«Пять тысяч фунтов и холостой? Да это же лучшая новость со времен Ватерлоо».

Двигаемся дальше. Воспитание? Чисто английское. То есть сдержанность, сдержанность и еще раз сдержанность. В словах, в поступках, в отношениях с людьми. То самое, чему учил юную простушку Таню Ларину искушенный циник Евгений Онегин: «Учитесь властвовать собою…» Судя по всему, в семье Остинов этот принцип блюли свято. Сколь ни глубоки твои чувства, сколь ни остры твои переживания, изволь держать их при себе, не выставляя на всеобщее обозрение. Впрочем, вполне возможно, для Джейн с ее ироничным, наблюдательным умом и тягой к одиночеству такая жесткая самодисциплина была и не в тягость. Недаром одна из ее героинь роняет вот такие горькие слова:

«Очень мало людей, которых я люблю, и еще меньше тех, о ком я хорошо думаю».

Наверное, именно это малособытийное, размеренно скучное существование с раз и навсегда заведенным порядком и ходом вещей, который неукоснительно соблюдается изо дня в день, из года в год, и так всю жизнь, от рождения и до смерти, и подвиг юную Джейн вступить на стезю литературного творчества. Писать она стала очень рано, причем родные отнеслись к ее литературным опытам весьма благосклонно. Правда, с одним непременным условием: писать — пиши, но только исключительно для себя и для домашнего чтения в кругу семьи, то есть пиши в стол. Недаром много позже один из ее братьев, самый любимый, Генри Томас Остин на полном серьезе утверждал в своих мемуарах, что никакая слава не заставила бы его сестру «поставить свое имя ни на одном произведении ее пера».

Вот они, провинциальные нравы, во всей их красе! Это в столичных салонах горячо обсуждают литературные новинки, написанные в том числе и женщинами: Анна Радклиф, Мэри Годвин-Шелли, Мэри Эджворт. А в провинции к подобным беллетристическим экзерсисам дам по-прежнему относятся с большим подозрением и даже с осуждением. Тем более — дочь священника!

Стоит ли удивляться после этого, что самый первый роман Джейн Остин (из числа опубликованных), который вышел в свет в ноябре 1811 года, появился без имени автора. На обложке красовалось сакраментальное: *«Сочинение одной дамы»*. Спустя год с небольшим публикуется и второй, самый известный роман Джейн Остин, можно сказать, обессмертивший ее имя: «Гордость и предрассудки», и тоже анонимно. Пресса настроена благожелательно, рецензии и отзывы в основном положительные, но! Какого-то судьбоносного разворота в литературной судьбе самой писательницы они не сделали.

Наверное, так случилось потому, что Джейн по-прежнему коротала свою жизнь в провинции. Последние годы, последовавшие после смерти отца (Джордж Остин умер в 1805 году), она вместе с сестрой и матерью поселяется вначале в Саутгемптоне, потом женщины перебираются в крохотный городок Чотон, графство Гемпшир, откуда Джейн лишь изредка наезжает в Лондон к старшим братьям Френсису Уильяму и Чарльзу, которые сделали блестящую карьеру военно-морских офицеров, дослужившись впоследствии до адмиральских чинов. Здесь, в Чотоне, в скромном кирпичном домике возле главной дороги из Винчестера в Госпорт (в котором ныне располагается мемориальный музей писательницы), Джейн Остин провела последние годы своей жизни, с 1809-го по 1817-й. Здесь же ею были написаны последние романы: «Мэнсфилд-парк», «Эмма» и «Доводы рассудка».

Впрочем, вполне возможно, что проснуться знаменитой, как это случилось с Байроном, Джейн Остин помешали громкие литературные новинки тех лет. В 1812 году появляются первые две части знаменитой поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», в 1813 году Перси Биши Шелли публикует свою прославленную «Королеву Маб», годом позже выходит в свет роман Вальтера Скотта «Веверли». Легко затеряться в такой звездной компании, не так ли? Затеряться и отступить в тень, переместиться на второй план, а то и вовсе стать персонажем литературной массовки. Тем более, просто *«одна дама»*. Можно только догадываться, сколько еще таких дам коротали в те годы свой досуг в провинциальной тиши, марая листы почтовой бумаги (на которой, к слову, любила писать сама Остин) и заполняя их поэтическими виршами или душещипательными историями о любви в стиле столь популярного в те годы Сэмюэла Ричардсона. Которыми потом развлекали своих соседей и родственников, устраивая им читки по вечерам.

А потому все в жизни Джейн Остин случилось так, как случилось: мимолетный успех, даже некоторая известность, и почти сразу же полное забвение, продлившееся долгие и долгие десятилетия. Наверное, проживи она подольше, и ее творческая судьба могла бы сложиться иначе. Возможно! Но опять же ирония. Недаром все тот же профессор Питер Конрад справедливо замечает, что избыточная ирония порой раздражает, а писатель, пишущий в таком ключе, способен, вольно или невольно, настроить против себя своего же потенциального читателя, не очень искушенного по части понимания всех тонкостей и красот литературного стиля. Уж слишком раскованной, по меркам начала XIX века, была манера письма Джейн Остин в сопоставлении с теми авторами, кто числился в ее современниках.

Потребовалось время и еще раз время, чтобы все расставить по своим местам и повернуть читателя лицом к лицу к писательнице, способной рассказывать о самых пустяшных и мелких событиях провинциальной жизни таким языком, что получаешь наслаждение от каждого прочитанного слова.

Сама помню, как попала в плен к Джейн Остин, едва открыв ее роман, тот, который «Гордость и предрассудки», и прочитав первую фразу:

'It is a truth universally acknowledged, that a single man in a possession of a good fortune must be in want of a wife'.

«Вот истина, которую вполне можно назвать универсальной: состоятельному одинокому мужчине в обязательном порядке нужна жена» (перевод автора статьи), — поняла, что уже не успокоюсь, пока не дочитаю весь роман до конца. И прочитала! И получила тысячу удовольствий! И продолжаю получать до сих пор, когда изредка листаю романы своей любимицы на досуге.

Воистину прав Сомерсет Моэм, который в свое время тоже поучаствовал в возрождении интереса к имени великой английской писательницы, когда в своем эссе, посвященным ее творчеству, написал следующее:

«Романы Джейн Остин — развлечение в чистом виде. Если вы полагаете, что развлекать читателя — это главная цель писателя, то ей принадлежит особое место среди таких писателей. Писались романы и более значимые, например, «Война и мир» или «Братья Карамазовы», но чтобы читать их с толком, нужно быть свежим и собранным, а романы Джейн Остин чаруют, каким бы вы ни были усталым или удрученным».

Так все же, кто она, эта чаровница и кудесница стиля, которой удалось наполнить особым, а иногда и совершенно новым смыслом даже самое заурядное, знакомое всем со школьных лет английское слово? Значит, точно «первая леди английской литературы»?

При всей своей любви к Джейн Остин остереглась бы от подобных скоропалительных умозаключений. Ведь классическая английская литература, и в частности литература XIX века, подарила миру целую плеяду замечательных писательниц, имена которых у всех на слуху. Недаром Гилберт Честертон, кстати, большой поклонник творчества Джейн Остин, прозорливо заметил однажды, что настоящий английский роман викторианской эпохи создан, в первую очередь, усилиями женщин, а уже во вторую и в третью — мужчинами, которых мы *apriori* числим в классиках.

Да, пожалуй, сердечное участие Шарлотты Бронте в судьбах своих героинь трогает нас больше, чем незлобивая ирония Джейн Остин. Да, горячая страстность Эмилии Бронте в ее романе «Грозовой перевал» не может оставить равнодушным ни одного читателя. Да, Джордж Элиот достигла поистине недосягаемых высот, обличая мещанство в таких своих общепризнанных шедеврах, как «Миддлмарч» или «Мельница на Флоссе», расцветив палитру столь популярных в те годы «романов нравов» исклю-

чительно своими, только ей присущими красками. Да, трудно переоценить тот вклад, который внесла своим творчеством Элизабет Гаскелл в создание так называемого «социального романа». Самое время процитировать редко цитируемого в наши дни Карла Маркса. Так вот, анализируя роман Гаскелл из манчестерской жизни под названием «Мэри Бартон», в котором писательница талантливо описала, как именно голод и нищета способны толкнуть рабочих на самые радикальные протесты против существующих порядков, Маркс отнес саму Гаскелл, наряду с Чарльзом Диккенсом, Уильямом Теккереем и Шарлоттой Бронте к «блестящей плеяде английских романистов» всех времен.

Ну, а если снова вернуться к имени Джейн Остин?

Ведь если честно, то иногда немного досадуешь и даже раздражаешься, когда сталкиваешься с очередным трюизмом в рассуждениях героев Остин. Напрасно, мне кажется, сравнивают иные пылкие апологеты ее творчества (коим в наши дни воистину несть числа) афоризмы писательницы с афоризмами, скажем, мадам де Севинье, Ларошфуко или Монтеня. Потому что, когда смотришь на все ее медитации беспристрастным оком, то понимаешь, что далеко высказываниям Остин, и по глубине, и по отточенности мысли, до тех бессмертных сентенций, которые оставили после себя эти гениальные афористы. Иное воспитание, образование, иной круг общения, иное все.

Но вот берешь в руки томик с романом Джейн Остин и точно знаешь, что впереди у тебя два или три часа сплошного удовольствия. Читайте Джейн Остин, дорогие читатели! Если повезет, читайте в оригинале. Читайте в переводах, самых разных и всяких. И лишь только если очень-очень утомитесь от чтения, позвольте себе расслабиться и переключиться на просмотр кассет с экранизацией ее произведений. Насколько я в курсе, на сегодняшний день экранизировано все, что только можно экранизировать из ее литературного наследия.

А на прощанье скажу так: давайте не будем спешить с распределением мест: первое место, второе, третье… В конце концов, у нас же с вами не спортивная эстафета и не бег наперегонки. Воспользуемся мудрой формулировкой французских королей (которая, впрочем, не уберегла их от печального финала) и повторим вслед за ними: Джейн Остин — *первая среди равных.* Да, именно так! Скромная дочь провинциального священника Джейн Остин — это первая леди английской литературы среди равных ей дам, составляющих славу и гордость этой самой литературы. Читайте и убеждайтесь в этом сами. И конечно, получайте удовольствие! Обязательно удовольствие.



Ирина ЛЕОНОВА

Жизнь по вертикали

Путь актрисы, актера не усыпан розами и премиями, он труден, извилист... Как он не прям и не прост в любой профессии, в любом деле, которое делаешь хорошо, с открытой душой...

Л. А. ЛУЖИНА



Мое блокадное детство

Лариса Анатольевна Лужина хотела стать актрисой всегда, с детства. Желание это было естественно, как воздух. Ведь когда ты дышишь, то это подразумевается как само собой разумеющееся?

Однако все по порядку. Жизнь состоит и делится на дни, недели, годы.

«*Было жаркое лето 1937 года, моя мама Евгения Адольфовна, а в те юные годы просто Женя, загорала с подругой у стен Петропавловской крепости, тогда это считалось модным местом для купания. И вдруг она замечает, как вдоль Невы идут два красивых молодых человека в белоснежных рубашках с короткими рукавами и в начищенных ботинках. Это был мой отец Анатолий Иванович Лужин*».

Молодые люди познакомились и вскоре поженились. Семья мужа не приняла невестку. Все, не только отец с матерью, но и три брата и сестра, перестали поддерживать отношения с Анатолием. (Потом, когда Лариса станет известной актрисой, на одном из творческих вечеров в Риге к ней подойдет мужчина и представится: Павел Иванович Лужин. Это был брат Анатолия Ивановича, ее родной дядя. Она навестит его семью, они многое вспомнят, но душевного тепла так и не возникнет. Да и что может соединять родственников, которые долгие, долгие годы ничего не знали друг о друге?)

С другой стороны можно понять родственников отца. Каждая мать желает счастья своему ребенку. А тут молодая женщина, разведенная, без специальности (мама всю жизнь проработала простой рабочей), да еще с ребенком на руках. (*Мама уже была замужем — выскочила в 16 лет, а чтобы расписали, даже два года себе прибавила! Родила от этого Володи Корсакова сына и дочь. Мальчик умер в годовалом возрасте, осталась одна Люся. Но муж пил безбожно, и мама от него ушла. Встретила папу. Ей тогда 23 года было, а уже сколько всего пережила! Из-за раннего брака и рождения детей ни профессии, ни образования.)*

Одно достоинство — смазливое личико. Но Анатолий Иванович был непреклонен, и молодые люди вскоре поженились.

Отец Ларисы Лужиной был моряк, штурман дальнего плавания. Он ходил в загранплавание на корабле с гордым именем «Лахта», названном в честь исторического района Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Отец привозил маме красивые наряды, а детям удивительные игрушки. До сих пор сохранился плюшевый медведь с вращающимися черными глазками, как талисман, как память об отце и детстве.

4 марта 1939 года родилась Лариса.

«*Блокаду я помню только со слов матери. Почему-то запомнилось окно, на подоконнике которого стояла большая синяя банка, украшенная золотыми звездами*».

Анатолий Иванович с первых же дней ушел в ополчение, а мать целыми днями работала на заводе, дома Лариса оставалась со сводной сестрой от первого брака мамы — Люсей. Когда началась война, Людмиле исполнилось шесть лет. Оставляя за старшую, девочке строго-настрого наказывали, чтобы она вместе с сестренкой спускалась в бомбоубежище при первых же звуках сирены, но ребенок боялся идти в подвал по длинным темным лестницам, и Люся вместе с Ларисой прятались под кроватью. Там сестренок и находила встревоженная мать.

Анатолий Иванович умер в начале 1942 года, но не от ранения, а от истощения. «*…Он был ополченцем, защищал форт «Серая лошадь» недалеко от Кронштадта, его ранило, и он слег. Госпиталь оказался переполненным, и папочка долго и мучительно умирал дома — от ран и голода. Когда его не стало, под подушкой обнаружили несколько корочек хлеба, которые сам не ел, чтобы сохранить для меня. Мама зашила папу в одеяло, вытащила из подъезда. По сторонам дороги лежали трупы, которые несколько раз в неделю собирал грузовик и отвозил на кладбище, чтобы похоронить в общих могилах*».

Вскоре умирает и сестренка Люся.

«*…Только недавно я нашла могилу своего папы. Долгие годы меня мучило, что я не знаю, где он похоронен. Предполагала, что на Пискаревском кладбище, в братской могиле. Помощь предложил телеканал. Когда мы приехали на место, я заметила чайку, которая садилась на один из обелисков. Сразу подумала: это папа мне знак подает. Пошла туда, чтобы возложить цветы, как вдруг птица взлетела, и я увидела на земле рядом весенний крокус. Один-единственный, больше не было ни травинки! А через несколько дней мне позвонили поисковики и сказали, что отец захоронен именно там*».

Погибает при обстреле бабушка, мама Евгении Адольфовны. Однажды, возвращаясь домой, женщины вошли уже во двор, когда начался обстрел, бабушка только успела сказать дочери: прижимайся к стене, — как вдруг упала. Вроде не было никакого взрыва, а бабушка лежала недвижима. Осколок снаряда попал ей в висок.

Ели все: варили кожаные ремни отца, клейстер с обоев, и вдруг… прорыв блокады 27 января 1944 года и неожиданно (Лариса Анатольевна до сих пор не может понять почему?) ее с мамой вывозят из Ленинграда.

Мама собирает самое ценное, и они отправляются в теплушках в дальние странствия. Конечным пунктом их пребывания становится далекий город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. (*Ленинск-Кузнецкий — город [с 1925 г., ранее, в 1922—1925 гг. Ленино, в 1763—1922 гг. Кольчугино] в России, административный центр. Основное богатство города — уголь, запасы которого исчисляются миллиардами тонн.)*

Людей высаживали просто на платформу, и местные жители подходили и разбирали эвакуированных в свои семьи.

«…И вот мы остались на перроне вдвоем, никто к нам не подошел, и так мне почему-то горько стало, что я почувствовала, как глаза наполняются слезами».



Вот мимо этих глаз не смогла пройти их благодетельница — тетя Наташа, которая уже собиралась возвращаться домой.

«*Смотрю, стоишь ты, такая худенькая, а в огромных глазах такая недетская печаль, что сердце у меня в груди похолодело*».

Ощущение от города осталось, как от большой деревни, так как жили первое время почему-то в землянке, потом перебрались в дом. Возле землянки росла ягода, похожая на чернику, со странным ругательным названием, но очень вкусная. Еще появился новый друг — собака по кличке Букет. Тетя Наташа подарила суконную куртку с большими накладными карманами, и надев ее на легкое платьице, Лариса вместе с другими ребятишками весело каталась с горок. Это занятие очень хорошо запомнилось еще тем, что не было теплых штанишек, и голая попка девчушки леденела в первую очередь.

Евгения Адольфовна устроилась на мясокомбинат, и на Новый год руководство предприятия устроило для детей работников праздник.

И вот тогда состоялся первый дебют юной актрисы.

Представляете, стоит маленькая худенькая девчушка и читает стихотворение Твардовского «Исповедь танкиста».

Чтобы понять, почему все слушатели плакали, привожу это замечательное стихотворение полностью.

Был трудный бой. Все нынче как спросонку.
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить...

Лет десяти-двенадцати, бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду ведрами не труд.
Выносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют.

Шел бой за улицу, огонь врага был страшен.
Мы прорывались к площади вперед.
А он гвоздит — не выглянуть из башен.
И черт его поймет, откуда бьет?

Тут угадай-ка, за каким домишком
Он примостился: столько всяких дыр...
И вдруг к машине подбежал парнишка:
«Товарищ командир, товарищ командир,

Я знаю, где их пушка, я разведал,
Я подползал, они вон там, в саду!» —
«Да где же, где?» — «А дайте я поеду
На танке с вами, прямо приведу!»

«Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище!»
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка, мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырем.

Подъехали. «Вот здесь». И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даем,
И эту пушку заодно с расчетом
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем.

Я вытер пот, душила гарь и копоть.
От дома к дому шел большой пожар.
И, помню, я сказал: «Спасибо, хлопец!» —
И руку как товарищу пожал.

Был трудный бой. Все нынче как спросонку.
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

«*Все женщины плакали, а директор взяла меня на руки и подарила мне котлету. Ее вкус и запах я запомнила на всю жизнь».*

Спустя сорок лет на одном из творческих вечеров Ларисы Лужиной это же стихотворение прочтет ее внук Матвей, и у зрителей реакция будет та же. Видно, дети и война несовместимы в мирозданье, даже тогда, когда речь идет только о творчестве.

Наступила весна 1945 года, и Евгения Лужина решила возвратиться в родной город.

Ехали назад опять в теплушках, сидя на полу. У всех имелись узелки, кроме них. В первые дни по приезде в Ленинск-Кузнецк Лужиных обворовали. Унесли все: платья, белье, пальто, а главное — сахар, тогда это было печально, а сейчас обидно. Лариса Анатольевна четко помнит, как ранним утром распахнулась дверь теплушки и в солнечных лучах возник силуэт молоденького солдатика, который как закричит:

— Бабоньки, до Ленинграда осталось сорок километров!

«*Находившиеся в вагоне женщины заволновались. Стали переодеваться, краситься, расчесываться. А мы с мамой как сидели на полу, так и не пошевелились, у нас же не было ничего нарядного».*

Родной город их не ждал. В квартире на Нарвском проспекте жили другие люди, и Евгения Адольфовна с Ларисой отправились к своему ангелу-спасителю Анне Сергеевне Щербине, первой жене брата Карла-Густава.

В 1940 году Карла-Густава Трейера направили на работу в Эстонию, где он возглавил кафедру марксистско-ленинской философии в Таллиннском университете. Старый большевик, бравший Зимний, настоящий коммунист, твердо веривший в победу коммунизма на всей планете, он был не только образованным, но и глубоко порядочным и ответственным человеком. И Анна Сергеевна, и Карл-Густав были замечательными людьми, но совместная их жизнь не заладилась. По приезде в Таллинн умирает их новорожденная дочь. Может, по этой причине, ведь не каждая семейная пара может пережить столь страшное испытание, может, потому что молодая женщина так и не смогла полюбить старинный эстонский город, но перед самой войной она приезжает в Ленинград.

Ее возвращение, скорее всего, и помогло выжить Ларисе. Всю блокаду Анна Сергеевна проработала врачом в госпитале на Васильевском острове, скорее всего, она давала, может быть, какие витамины.

Маленького роста, плотненькая женщина была не съедена только чудом. Когда она возвращалась с ночного дежурства, на нее из подворотни набросили

лассо, и если бы не проходящий мимо патруль, неизвестно, что бы произошло с Анной Сергеевной в дальнейшем. Случаи каннибализма имели место среди обезумевших от голода людей.

Лариса помнит, как мама рассказывала о дворничихе с их двора, которая, когда умерли ее детки, сошла с ума. Женщина не похоронила их, а долгое время ими питалась.

(Лариса Анатольевна на протяжении многих лет состоит в обществе блокадников Ленинграда. Каждый год мэрия Москвы организует встречи в Центрах досуга для оставшихся в живых блокадников, которых с каждый годом становится все меньше и меньше… «*...и если в прошлом году накрывали три стола, то в этом всего один».)*

Карл-Густав, узнав об отсутствии жилья у сестры, послал приглашение поселиться ей с маленькой дочкой у него в Таллинне.

«...в Эстонии жил мамин брат. Во мне ведь столько кровей намешано! По маминой линии есть эстонская и норвежская. (Ее отца звали Адольф Густавович Трейер.) А родословная папы — вообще что-то потрясающее! Я совсем недавно ее узнала. Оказывается, Лужин он был по матери, а отца звали Иоганн Робертович Шведе. И по национальности он был швед. Но сначала — откуда взялась эта фамилия — Шведе. Мой прапрадед, некий господин Хамербаум, служил комендантом одной из шведских крепостей на территории нынешней Эстонии. И когда Россия начала воевать с Карлом XII, сдал эту самую крепость Петру I. Сам, без боя. Разумеется, Карл хотел его за такое дело повесить, и предок мой, деваться некуда, остался в России. Петр его прятал, при себе держал. А когда появлялся с ним на каких-нибудь ассамблеях, на вопрос «А это кто?» отвечал: «Да дер шведе!» — «какой-то швед». И вот когда у Хамербаума появились жена и дети, они стали носить фамилию Шведе, поскольку настоящая как бы оказалась замарана. Потом эти Шведе верой и правдой служили России. Среди них были адмиралы, контр-адмиралы, инженеры, художники... Картина одного из моих предков висит в Третьяковской галерее — я специально ходила смотреть. А прадед Иоганн Робертович строил железные дороги».

Тетя Аня сшила девочке чудесное платье в красный горошек, и мальчишки во дворе долго еще кричали девочке вслед: «Красный горошечек, в тебя все мальчишки влюблены!» Неудивительно, что на долгие годы Лариса сохранила любовь к материалу в горошек.

Жизнь в Таллинне

Ранним утром поезд прибыл на Московский вокзал в Вышгород. Странно было ехать в кэбе, и даже не смущало то, что каждая клеточка организма подпрыгивала в такт колесам, грохочущим по булыжной мостовой.

Они подъехали к четырехэтажному дому, горделиво возвышавшемуся среди огромных деревьев. Это был удивительный дом, построенный в 1937 году, под стать современным домам, с домофоном и телефоном.

Квартира дяди состояла из трех жилых комнат, и была еще четвертая для прислуги размером шесть метров, около кухни. Большая ванная с биде, на кухне электрическая плита, встроенная в деревянный шкаф. В подвале находилась общая прачечная для жильцов десятиквартирного дома, где стояли столы для глажки белья. А огромный чердак был местом для игр, где особенно удавались прятки среди сушившегося белья.

Ларису с мамой поселили в комнате для прислуги, в ней помещались стол, узкая кровать, на которой спала мама, девочка ютилась на трех стульях, составленных вместе. Это не было жестоко по отношению к сестре, просто в одной из комнат жил еще один родственник по имени Август с женой — тетей Катей.



В квартире был балкон, на котором стояло кресло-качалка, и Лариса, с удовольствием сидя в нем, любовалась городом и катала удивительную плетеную коляску для кукол, которая, по-видимому, ранее принадлежала дочери хозяина дома. Владелец дома, немец по национальности, бежал при наступлении Советской Армии.

В Таллинне находилось много пленных немцев, и Лариса вместе с детьми нередко бежала за колонной военнопленных, когда те возвращались после работы в казармы, задорно крича вместе со всей ребятней:

— Ein, zwei, drei!
Фриц, не отставай!
Котелок держи на пузе,
кашу уплетай.

На ногах у многих девочек красовались босоножки-колотушки, подошва у них была сделана из дерева, она сгибалась только посредине, гром от них стоял по всей улице!

Детство в большинстве случаев помнится как самое счастливое время жизни, даже несмотря на голод, нужду и сиротство.

«*До сих пор ем мандарины с кожурками. В детстве, когда у нас с мамой не было денег, моей главной мечтой было попробовать этот фрукт. Помню, их начинали продавать перед Новым годом, и мне казалось, что повсюду стоял мандариновый запах. Однажды я не удержалась и, пока никто не видел, подобрала валявшиеся возле урны шкурки. Съела их за секунды. Так сбылась моя мечта*».

Избирательна человеческая память — все плохое постепенно стирается.

До седьмого класса обучение проходило раздельно, а потом школы объединили, и девочки стали учиться вместе с мальчиками.

Лариса с удовольствием занималась в драмкружке, которым руководил артист Русского драматического театра Иван Данилович Рассомахин. Вместе с ней играли в кружке Игорь Ясулович, Владимир Коренев, Виталий Коняев, Лиля Малкина. Лариса также посещала Академию художеств, где занималась прикладным творчеством — росписью по тканям. А еще они всем классом ухаживали за одинокими могилами на кладбище.

Евгения Адольфовна устроилась на работу на мясокомбинат. И Лариса на всю жизнь запомнила вкус жидкого гематогена и рыбьего жира, которые заставляла пить мама. Избавление от «витаминного счастья» наступило только тогда, когда Евгения Адольфовна устроилась работать на кондитерскую фабрику «Калев».

Несмотря на угрозу наказания, вплоть до тюремного срока, и что фабрика охранялась жесточайшим образом (у проходной всегда дежурил отряд конной милиции), работницы умудрялись выносить несколько конфет для своих детей. Наверное, с высоты прожитых лет это звучит ужасно, но глядеть в постоянно голодные глаза ребенка еще горше.

Там же, в Таллинне, их нашла Елизавета Ивановна Бридина, одна из сестер отца, которая, как и вся семья, противилась браку своего брата Анатолия с Евгенией. Она жила в Таллинне с тремя дочерьми, жила очень бедно, так как ее муж умер. У Елизаветы Ивановны в Таллинне никого не было, и нужда заставила обратиться к бывшей невестке. Евгения Адольфовна всю жизнь помогала родственникам чем могла.

А личная жизнь не складывалась у Евгении Лужиной, несмотря на то, что она была еще молода и привлекательна. Что-то неуловимо несчастливое присутствовало в ее судьбе. Одно время она встречалась с врачом из пленных немцев. Лариса помнит, как однажды тот, придя к ним в гости, подарил ей резиновый мяч.

Только потом, когда Лариса уже выросла и уехала из Таллинна, мама стала жить гражданским браком с Михаилом В. Он работал дальнобойщиком, водил огромные фуры, чем вызывал восхищение всех мальчишек. Вскоре Михаил скоропостижно умер от инсульта.

«*Я чувствую вину перед мамой. Мы с ней непростительно мало общались. Я всегда была как бы сама по себе. До 80-го года она жила в Таллинне, а потом я перевезла ее в подмосковный городок Пушкино. Решила, что ей там будет лучше. Ошиблась. Не нужно было ее трогать, выдергивать пожилого человека из привычной среды. Мало того, что у нее здесь никаких знакомых, так и виделись мы редко — я приезжала к ней пару раз в году. Когда у мамы случился сердечный приступ, меня не было рядом. Ее не спасли. Приехавшая по вызову неопытная девочка не могла попасть в вену. А потом заставила маму спускаться пешком с пятого этажа по лестнице к машине. До больницы маму довезли, а вот помощь так и не оказали — она скончалась, пока оформляли бумаги.*

Мамочку похоронила в Ивантеевке. Езжу туда раз в год, в конце мая, чтобы могилу поправить, положить букет, посадить цветы. Правда, там из-за тени и влажности ничего не приживается. Зато сами по себе растут ландыши и в мае покрывают ее могилу белым ковром…»

Женская судьба Лужиных-Трейеров вообще складывалась своеобразно. Это пошло со времен начала правления Николая II, когда мастеровой швед Иохан Шведе (их род осел в России еще со времен Петра) повстречал красавицу, тверскую крестьянку Анну. Не в силах противиться своему чувству, он обратился с просьбой к царю разрешить ему жить с оной девицей. И Николай II подписал документ, в котором значилось, что тот может жить гражданским браком и числиться супругом Анны сроком на десять лет. Дело в том, что Иохан уже имел семью — жену Матильду и детей, но как истинный католик он не счел себя вправе оставить семью.

Проживали они в Царском Селе, и за десть лет родилось четверо детей, по вышеназваной причине все они носили фамилию матери — Лужины.

Когда Лариса заканчивала школу, умер дальний родственник Август, и они перебрались в его большую светлую комнату, окна которой выходили на улицу Каупмехе, где в небольшом здании бывшего костела расположился филиал Таллиннской киностудии.

После окончания школы Лариса Лужина едет в Ленинград для поступления в Институт театра, музыки и кинематографии.

Может, волнение, может, то, что ее попросили спеть, а Лариса Анатольевна, смеясь, говорит, что пение не самая лучшая сторона ее натуры, она не прошла и первый тур. Ее не приняли, отказав с вежливой формулировкой, что девушка говорит с акцентом.

Дело в том, что акцент наверняка присутствовал, так годы, прожитые в Прибалтике, и общение дома на эстонском языке наложили отпечаток на чистоту речи.

Дебют в кино

Лариса возвращается домой и устраивается на фармацевтическую фабрику, но монотонная работа по упаковке медпрепаратов быстро наскучивает, и она переходит работать на фабрику «Калев», в цех, где производят зефир. Конечно, когда ты ешь это восхитительно воздушное лакомство, то не думаешь, в каких условиях оно превращается в кондитерское чудо. И поэтому Лариса, чтобы уди-

вить друзей на Новый год, сама изготовила две огромные зефирины и вынесла их, подложив под грудь. Никто же не будет искать в столь пикантных местах? Девушка выдержала только год в сахарной пыли, от которой закладывало легкие и слезились глаза. А долгие, долгие годы не только не могла есть зефир, но и смотреть в его сторону.

Помог Карл-Густав. По его рекомендации она стала работать секретарем у министра здравоохранения Эстонской ССР товарища Гольберга.

Работа может показаться несложной, но не для Ларисы. В обязанности входило отслеживать газетные материалы, отвечать на письма (почему-то в конце каждого месяца катастрофически не хватало почтовых марок, и приходилось докупать на собственные деньги), а в них иногда описывались душераздирающие истории, что производило тягостное впечатление на юную душу. Но, пожалуй, самым неприятным, что входило в обязанности девушки, было осуществлять правильной выбор посетителей, то есть определять, стоит того или иного страждущего пускать на прием в кабинет министра.

И раз Лариса ошиблась. В приемной работала еще одна секретарша, человек уже взрослый и состоявшийся, которая всегда четко знала, кого из посетителей можно пускать к министру, а кого направлять к его помощнику товарищу Побусу. И надо же было случиться, что именно в отсутствие опытного товарища в приемную пришла пожилая пара, вид у них был до такой степени беззащитно-несчастный, что Лариса разрешила им пройти в кабинет руководителя.

Оказалось, что «жалобщики» прибыли из лепрозория, который в те годы находился недалеко от Таллинна, в местечке Кууда. Министр Гольберг, конечно, их выслушал, но после того посещения Ларисе Анатольевне Лужиной был объявлен строгий выговор.

Как-то просматривая газеты, девушка увидела объявление об открытии в их городе Дома Мод, куда приглашались девушки для показа одежды.

Лариса решила попробовать и пошла на просмотр. Параметры требовались такие же, как и сейчас, только теперь рост около 190 см, а при росте 172 см (Лариса была тоньше требуемых параметров — узкие бедра, маленькая грудь) ее поставили на демонстрацию одежды для подростков.

В современном мире выходят глянцевые журналы, в которых описываются успех и красота топ-моделей, возводящих многих из них в ранг самых оплачиваемых, самых привлекательных, самых, самых... Создается нездоровый ажиотаж вокруг мира моды, который доводит многих девушек до нервного срыва. А в начале шестидесятых эта профессия называлась скромно — манекенщица, и выходили милые девушки не на подиум, а на «язык», и не походкой «от бедра», а просто красиво шли, с прямыми плечами и гордо поднятой головой. Теперь показ мод шоу, а тогда это была просто работа, которая требовала терпения, так как примерки проходили по 5—6 часов и в большинстве случаев — ежедневно.

Но Ларисе все нравилось, и она была беспредельно счастлива, когда ее перевели на демонстрацию вечерних платьев.

«...Вы представляете, когда у тебя нет ни лишнего платья, ни пальто, а тут выходишь на сцену в летящих шелках и изящных туфельках, то просто дух захватывает от того, что ты находишься в центре огней, что ты молода и красива. Для меня каждый выход был праздником и ощущением счастья. Сцена и аплодисменты! Меня так и звали “Улыбающаяся манекенщица”».

Новое увлечение секретарши не понравилось министру. В то время работа манекенщицы воспринималась негативно, и товарищ Гольберг объявил, что его секретаршей не может быть девушка «легкого поведения».

Но как гласит мудрая поговорка? «Что ни делается — все к лучшему!»

Как-то, возвращаясь домой, Лариса заметила, что у павильона киностудии толпится много народу. Проходил отбор в массовку для фильма режиссера

Игоря Ельцова «Незваные гости», съемки как раз проходили именно в том здании, филиал которого располагался недалеко от дома Ларисы Лужиной, а сама студия находилась в центре на пл. Победы. Кто-то увидел красивую девушку (тогда только прошел фильм «Колдунья» с Мариной Влади, и все девушки носили прически а-ля колдунья и облегающие платья, подчеркивающие фигуру) и пригласил принять участи в массовке.



«Вешние воды».

Сюжет детектива о шпионах, и действие происходит в Стокгольме.

И вот как же бывает удивительно в жизни человека! Всегда представляется случай, когда может выпасть удача или появиться такой человек, который станет в твоей жизни ангелом-хранителем.

Лейда Лайус стала тем человеком, который связал судьбу Ларисы Анатольевны Лужиной с кинематографом.

(***Лайус Лейда Рихардовна родилась 26 марта 1923 года в Хорошево, СССР. Окончила Таллиннский театральный институт (1950) и ВГИК (1962). В 1951—1955 гг. — актриса Таллиннского театра имени Кингисеппа. С 1960 года — режиссер Таллиннской киностудии (ныне «Таллиннфильм»). Сняла документальные фильмы: «Родился человек» (1975), «Детство» (1976), «Следы на снегу» (1978) и др. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1979). «Игры для детей школьного возраста» (1985). Ушла из жизни 6 апреля 1996 года в Таллинне.)***

Лейда училась во ВГИКЕ у Довженко, вместе с Ларисой Шепитько. Как фронтовичку ее направили от Таллиннской киностудии на учебу в Москву. А в фильме «Незваные гости» (1959) Лейда проходила практику в качестве ассистента режиссера.

«*Она подошла и спросила, могу ли я петь. Я испугалась, помня свой неудачный опыт при поступлении в театральной институт, где я не пела, а кричала песню «Легко на сердце от песни веселой», но мне так хотелось играть, что я, конечно, утвердительно кивнула головой. Меня подвели к режиссеру, и он поинтересовался:*

— В какой тональности поете?

— В своей, — невозмутимо заявила я.

И о чудо! Меня утвердили на эпизодическую роль — певицы кабаре.

Я вызубрила песню на английском языке и отправилась на съемки, трепеща от страха. Меня одели в красивое вечернее платье, натянули длинные перчатки, дали микрофон и сказали: открывай рот и говори текст. Оказывается, о счастье. Меня за кадром озвучивала профессиональная певица, притом иностранка. Я тогда еще не знала, что озвучивание происходит после съемки картины».

В это время со студии им. Горького в Таллинн приехал помреж искать актеров для фильма «Две жизни» режиссера Леонида Лукова. Сюжет был таков. В 1917 году князь Нащекин недооценил сильную любовь солдата Вострикова к своей сестре Ирине. Даже когда тот, раскрыв монархический заговор и посадив за решетку князя, дал возможность Ирине увидеть брата… А теперь в марсельском порту случайно встречаются двое: турист, советский генерал Семен Вос-

триков, и бывший князь белоэмигрант Сергей Нащекин, прислуживающий в портовом кабачке…

Сделали несколько крупных портретов, но пробы не утвердили, объяснив отказ молодостью актрисы. Главную роль, женщину-вамп, отдали Маргарите Володиной. В фильме присутствовали постельные сцены, и Лариса в душе была рада, что она не прошла. Хотя в картине играли замечательные актеры Николай Рыбников, Вячеслав Тихонов, Элла Нечаева, Станислав Чекан, Алла Ларионова, Маргарита Володина, Георгий Юматов, Людмила Чурсина, Любовь Соколова.

Да к тому же Лариса была влюблена. Первая любовь пришла к девушке в 16 лет. Ее любимого звали Павел Скороделов, он учился в Таллиннском мореходном училище. Они познакомились на танцах, которые каждые выходные проводились в мореходке. Молодые люди встречались около года, но до близких отношений дело не дошло. Потом Павел окончил училище и уехал в другой город. Перед отъездом он подарил Ларисе гитару, на которой играл на вечерах. Обещал писать, но свое обещание так и не выполнил. Лариса тогда не знала, что в родном Иркутске Павла ждала любимая девушка. Их любовь разрушилась в один день, когда на гитаре лопнули сразу все струны. Спустя несколько часов после этого Лариса узнала, что ее возлюбленный женился и у него родился ребенок.

«*…Спустя много лет я приехала в Иркутск с картиной «На семи ветрах». И встретила там Пашу. После фильма он подошел ко мне, мы долго сидели за одним столиком, разговаривали. Внешне Паша почти не изменился, только стал малость пожухлым, потускневшим. Видно, судьба его не сложилась. В Иркутске ведь только речное пароходство, а Паша мечтал об океанских лайнерах. Подумала тогда: «Слава тебе, Господи, что до замужества дело не дошло!» А то бы я не добралась до столицы и не стала киноактрисой. И никто бы не знал Ларису Лужину…*»

В это же время на Мосфильме приступали к съемкам картины «Мир входящему» режиссеров Александра Александровича Алова и Владимира Наумовича Наумова. Им требовалась девушка на роль немки. Тогда в Советском Союзе все ездили в Прибалтику снимать натуру для иностранных фильмов и искать актеров с «европейскими» лицами. Ларисе пообещали, что ее скоро вызовут на пробы в Москву.

Однако успех как-то обходил юную актрису стороной. Фильм «Незваные гости» был вскоре снят с проката (см. «О кино»), как и фильм гениального режиссера Герберта Раппопорта «Дождь и солнце» не имел большого успеха у зрителя.

Мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой

Лейда вернулась на учебу во ВГИК. В этом же, 1959 году, Сергей Аполлинарьевич Герасимов набирал в свою мастерскую учеников, но зимой исключил двух девочек. По этому случаю делали объявление не только в газетах, но и по телевизору, о дополнительном наборе на курс мастера. Добрая Лейда, узнав об этом, примчалась к Герасимову и начала показывать фотографии Ларисы из фильма, где та с обнаженными плечами выступает в софитах ночного кабаре. Сергей Аполлинарьевич пожал плечами и сказал: «*Ничего не понимаю. Пусть эта девушка на фотографиях приезжает, я на нее посмотрю*».

Лейда звонит на студию в Таллинн, пока разыскивают Ларису и сообщают о том, что ей срочно надо приехать в Москву, пока она собирает деньги на билет, приходит телеграмма. Ее вызывают на пробы на «Мосфильм» к Алову и Наумову!

И вот юная актриса в столице! Поселили ее в гостинице «Украина», и Герасимов приглашает Лейду и Ларису прийти к нему домой на прослушивание, а жил

он вместе с Тамарой Федоровной Макаровой в большом красивом доме в торце гостиницы, где и проживала Лариса.

«*…Квартира была изумительной красоты. Тамара Федоровна Макарова сидела в большом кресле и куталась в большой пуховый платок. Сергей Аполлинарьевич сел на стул у рояля. Я все свое внимание сконцентрировала на прекрасном лице хозяйки. После просмотра фильма «Каменной цветок», где она играла Хозяйку Медной горы, я ее просто обожала.*

А Герасимов какой-то лысоватенький, хмурый. Я стала читать монолог «Тишина» о Зое Космодемьянской. Чувствую — не нравится. И в самом деле, Сергей Аполлинарьевич, не дослушав, сказал, чтобы я читала стихотворение. И я начинаю: «Ландыши продают». А тогда появился шлягер «Ландыши», и его мотив и написание музыки, тогда почему-то очень критиковали.

Он: эта, что ли, песня «Ландыши»? Я: нет, другая.

А Герасимов был классик. В том смысле, что чтил, знал и любил классическую литературу, музыку, живопись. Очень любил Пушкина. Чувствую, что я ему не понравилась.

Лейда так волновалась, что все лицо покрылось красными пятнами. Понимаю, что я провалилась. Глаза непроизвольно наполняются слезами. Тамара Федоровна начинает ласковым голосом меня спрашивать, где я работала, чем интересуюсь…

И уже отчаявшись, я спросила: «Можно, я прочитаю монолог Ларисы из «Бесприданницы»? Тогда этот фильм вышел повторно, где монолог блистательно исполняла Нина Алисова («Бесприданница», 1936 г., реж. Яков Протазанов. Фильм получил золотую медаль на Международной выставке в Париже в 1937 г.).

Я села на стул у двери и представила, что я Лариса и гляжу вдаль за Волгу, и что у меня жизнь кончается, и все пропало… И так мне стало жаль себя, что даже не знаю, как я смогла дочитать монолог до конца и не разрыдаться на его середине.

— А что ты такая рослая? Ну-ка, сними ботинки, — неожиданно говорит Герасимов.

И вот я стою перед ним в одних чулках, еле ноги держат.

— Ладно, не реви, беру, — сказал Герасимов.

Я как стала прыгать.

— Ты что, спортсменка? — смеется учитель.

— Да, я на коньках катаюсь и в волейбол играю.

— Вот и хорошо, а то некому честь факультета защищать.

— А волосы красишь?

— Хной мою.

Так я стала студенткой ВГИКа.

Наверное, если бы я поступала на общих основаниях, не поступила бы, так как от волнения была очень зажата.

На следующий день я была зачислена в институт. Другие педагоги не возражали. Слово Сергея Аполлинарьевича Герасимова было законом во всем киноискусстве. Только во время учебы я поняла, почему Герасимов заставил меня снять ботинки. У нас на курсе учились Галя Польских, Жанна Прохоренко, Николай Жариков, Сергей Никоненко, Николай Губенко, Жанна Болотова, Лида Федосеева-Шукшина потом к нам пришла. И все они были среднего роста, а мужчины еле до 170 см дотягивали. И старше я их была, так как школу окончила в 57-м году, на год позже, потому что осталась на второй год во 2-м классе. Кстати, у меня претензии к школе по этому поводу. Я думаю, маме некогда было за мной следить. Я у нее одна после войны осталась, она работала, чтобы меня поднять на ноги.…Надо было учителям не оставлять меня на второй год. А я пришла в третий класс, нормально занималась, а через неделю меня перевели


«Ярослав Домбровский».

обратно. Потому что я осенью не написала какой-то диктант. Педагоги должны были понимать, что девочка теряет год. Поэтому я во ВГИК поступила, когда мне было уже 20 лет, а Жанне Болотовой было 16.

Помню, как она ко мне подошла и сказала: а ты молодец, что не красишь ресницы, Сергей Аполлинарьевич этого не любит. А я вообще их не красила, только когда на подиум надо было выходить, а насчет челок Сергей Аполлинарьевич говорил так: «Чем больше у человека лоб, тем он умнее, и поэтому лоб нужно не закрывать, а развивать». Студенты ко мне сначала снисходительно относились, я пришла только на второй семестр, а потом все наладилось, у нас был очень хороший, дружный курс».

Сергей Аполлинарьевич был очень хорошим человеком, очень добрым, хотя иногда бывал резким. Герасимов любил учеников, всегда помогал им чем мог, а Тамара Федоровна незаметно подсовывала деньги в карманы ребятам, которые жили в общежитии, таким, как Николай Губенко, Георгий Склянский и Владимир Буяновский, которые носили одну кожаную куртку на троих. Сергей Аполлинарьевич и Тамара Федоровна, словно родители, окружали ребят заботой и вниманием.

Николай Губенко рассказывал: *«Мы были готовы работать 24 часа в сутки, лишь бы нас полюбили наши мастера, это была наша единственная цель, чтобы Тамара Федоровна и Сергей Аполлинарьевич нас полюбили»*. Он же вспоминал довольно забавный эпизод, связанный с женой режиссера, Тамарой Макаровой: *«Нас было несколько человек на курсе, кто жил на одну лишь стипендию, конечно, мы временами голодали. И Тамара Федоровна специально для нас проводила уроки этикета. Выглядело это так — варилась огромная кастрюля сосисок, резался хлеб, и Тамара Федоровна учила нас пользоваться ножом, вилкой, учила правильно кушать. А на самом деле — так вот затейливо, не вводя нас в смущение, кормила голодных студентов». И для Тамары Макаровой, и для Сергея Аполлинарьевича было в порядке вещей заступиться за студентку, у которой страдала учеба из-за бурного романа: «А вдруг это большая любовь?!», — мимоходом сунуть студенту в карман денежную купюру или поехать навещать ученика на другой конец Москвы. Такое отношение выливалась в горячую любовь, обожание со стороны учеников и всяческое восхваление своих педагогов».*

Как настоящий педагог Сергей Аполлинарьевич был и тонким психологом.

На курсе учился студент Владимир Буяновский, и у него ничего не получалось, и каждый раз от отчисления его спасал Герасимов. Учитель ждал — год, ждал два, поддерживал Владимира. И вот наступает время выпускного спектакля, где Буяновскому поручают сыграть роль дядюшки в одноименной пьесе «Дядюшкин сон», и тот так играл, что вся Москва съезжалась на спектакль,

а актеру было всего 20 лет! И больше такого «дядюшки» никто никогда не видел! Учитель дождался триумфа своего ученика.

«*...Многие снимались — я, Жанна Болотова, Галина Польских, но только с разрешения Герасимова. Он не любил, когда без его согласия шли сниматься в кино, так как считал, что нерадивый режиссер не только не сможет на экране раскрыть юное дарование, а перечеркнет все усилия педагога. Сниматься надо только у хороших режиссеров, внушал он своим подопечным, и только там, где можно чему-то научиться*».

«На семи ветрах»

В 1962 году Герасимов приступает к съемкам фильма «Люди и звери», в фильме принимают участие все его ученики, кроме Ларисы. Кто не получил роль в картине были устроены на должности помощников, ассистентов, осветителей… Съемки шли год. Экспедиция направлялась и на Урал, и на Кубу. Ларису надо было тоже куда-то пристроить, а Герасимов знал, что Станислав Иосифович Ростоцкий(21.04.1922—10.08.2001) вместе с Александром Аркадьевичем Галичем (19.10.1918—15.12.1977) приступают к съемкам фильма «На семи ветрах», и заставил взять Ларису на роль главной героини Светланы. Но Ростоцкий принял эту новость без энтузиазма, у него на примете была другая актриса, и отношения между юной актрисой и режиссером с первого же дня не заладились.

Чтобы понять сложившуюся ситуацию, надо немножко рассказать о выдающемся режиссере Станиславе Иосифовиче Ростоцком. Он был художник, скульптор своих героев, и во время съемок режиссер влюблялся в созданное им творение. Когда Станислав Иосифович снимал картину, ему важно было открыть новое лицо. Актрис он снимал только по одному разу. Исключение составили Светлана Дружинина, Ирина Шевчук, Ольга Остроумова. В первой картине — большая роль, а во второй — маленький эпизод.

Станислав Иосифович вообще не терпел, если ему не отвечали взаимностью, сразу же охладевал к объекту обожания. Он был очень обаятельный человек, начитанный, эрудированный, веселый, душа компании. Все его обожали, а Лужина не поддалась его чарам.

«*А я не могла в него влюбиться, так как всю жизнь влюблялась исключительно в операторов, а Ростоцкий не мог этого пережить. Вот и на съемках этого фильма мне очень нравился Вячеслав Михайлович Шумский. Очень тонкий художник и замечательный человек. Ростоцкий только с ним снимал свои картины*».

На съемочной площадке отношения получились натянутыми, при том, что при всей кажущейся мягкости Станислав Иосифович был очень требовательным человеком, да к тому же Ростоцкий и Тихонов были друзьями, и Галич тоже видел свою героиню совершенно по-другому…

«*У меня было непонятное состояние. Ничего не выходило. Зачем-то выкрасили в блондинку. Видимо решили, что белый цвет делает образ более беззащитно-нежным, а мне этот цвет ну совсем не идет, и как оператор ни старался, на пленке образ выходил блеклым*».

С отснятым материалом Станислав Иосифович поехал в Москву к Герасимову с требованием снять Лужину с главной роли. Но Сергей Аполлинарьевич не разрешил заменить актрису, обвинив режиссера в том, что тот плохо работает с актерами, не может, как скульптор, слепить свою Галатею.

Тамара Федоровна передала Ларисе большое письмо.

В нем мудрый педагог советовала думать только о роли, работать и не обращать внимания ни на что. К примеру, взять тетрадку и сочинить образ Светланы: откуда она родом, кто ее родители, о чем она мечтает.

«*…и я почему-то решила, что Светлана приехала из Владивостока, очень долго добиралась до Сталинграда. Устала. Но каждый день приближал ее к встрече с любимым, и потому в душе у девушки горел огонек нетерпения от ожидания счастья… Я и сейчас так же готовлюсь к каждой роли. Я должна не играть, а жить своей героиней. Обязательно читаю сценарий, учу свои сцены наизусть, как правило, вечером, чтобы во сне словно «переспать» с мыслями своей героини*».

Постепенно все наладилось, правда, с исполнителем главной роли актриса так и не смогла найти общего языка.

«*Я, по-видимому, ему была неинтересна. Вячеслав Тихонов, слава которого тогда была уже огромна! Он был абсолютно впереди всех по популярности среди советских актеров! Его любили женщины. Тогда он уже снялся в фильмах «Дело было в Пенькове», «Чрезвычайное происшествие». И работать с Тихоновым было очень тяжело. На нем всегда лежал такой налет… превосходства. Он был таким снисходительным, что ли. Это очень раздражало! По сюжету мы играли тонкую любовную историю, а контакта между нами, актерами, совсем не было! Он даже не разговаривал со мной. И все замечания по моей работе говорил режиссеру. И хотя мы играли близких людей, вне кадра Тихонов со мной даже словом не обмолвился. Переговариваться предпочитал через режиссера. Помню, все шептал Ростоцкому: «Студентка не справляется». Однажды я не выдержала, обратилась к нему при всех: «А вы можете высказать мне все это в глаза?» В общем, расстались мы без малейшей симпатии друг к другу. Доиграв до конца фильма, мы так и не наладили отношения. Правда, уже по прошествии времени Вячеслав Васильевич через Тамару Федоровну Макарову передал в мой день рождения коробку конфет и открытку, в которой приносил свои извинения. Посмотрев фильм, он пришел к выводу, что я сыграла достойно. Все это в прошлом, но правда, когда спустя много лет мне предложили сняться вместе с Тихоновым в одной картине, я отказалась, боялась, что все то тяжелое, что я пережила на съемках картины, может повториться, а мне не хотелось разрушать дружеские отношения, которые сложились спустя годы*».

Фильмы в те годы снимались долго. Не было компьютеров, цифровых камер.

Сейчас одну серию снимают за полтора часа, а в те годы снимали 6—7 месяцев. Очень долгий процесс. Экспедиции длились по 2—3 месяца.

Съемка картины — это целая жизнь. Все жили фильмом, судьбами героев, как говорится — все были в материале, даже осветитель мог написать целую историю к картине, не говоря уже о костюмерах и гримерах. Сейчас все по-другому.

И вот в 1962 году фильм «На семи ветрах» вышел на экраны. И несмотря на такое обилие статей и рецензий, критики встретили фильм холодно.

Особенно негативно о фильме писал Николай Николаевич Кладо, почитаемый и уважаемый в мире искусства критик.

Но зритель полюбил картину. Фильм и его создатели стали принимать участие в мировых фестивалях.

Легкой поступью по красной дорожке…

«*…Это был 62-й год, существовал так называемый «железный занавес», поэтому мало кто выезжал за границу, исключением были киношники. Мы были в этом отношении счастливые — актеры же, творческие люди. Для нас «занавес» открывался…. Правда, я приехала из Эстонии. Таллинн тоже можно было считать заграницей. Я читала много книг, в основном французскую литературу, и поэтому мне очень хотелось попасть во Францию. И вот моя мечта исполнилась. Можете себе представить, что время было такое, еще недостаточно*

хорошо было и с одеждой, и с продуктами. Обилие прекрасных вещей, удивительной архитектуры, да и сам Париж, который произвел завораживающее впечатление, и то, что все можно увидеть, потрогать, купить, конечно, потрясало. У нас проходили Недели французских фильмов, но то на экране, а то наяву. Но мы, молодые актрисы советского кино, тоже выглядели великолепно.

...Я жила в общежитии, а у нас было очень много иностранцев. Вместе с нами на курсе учились трое индонезийцев, и они привозили какие-то вещи, и мы иногда покупали у них красивые платья. А так как я в свое время работала в Доме моделей в Таллинне, то обратилась за помощью в Таллиннский дом моделей, и мне прислали два прекрасных вечерних платья. Так что у меня был хоть какой-то багаж. У нас в делегации, состоявшей из отечественных киномэтров, было две девушки. Возглавлял ее Сергей Аполлинарьевич Герасимов, а в состав вошли Владимир Александрович Познер, Райзман, Чухрай, Кулиджанов, Ростоцкий, которые не первый раз поехали за границу. А мы, я и Инна Гулая, попали впервые. У нее, в отличие от меня, имелась только пара ситцевых платьев, и все. И когда нас встретила Надежда Петровна Леже, то сразу же взяла нас под свое крыло (жена художника Леже, она сама русская, из Рязани, тоже художница), потому что, когда она нас увидела, то сказала: как же так, у Инны ничего нет, надо Инне купить платье. Я так расстроилась, подумав: ну зачем я взяла с собой вечерние платья, лучше бы у меня тоже ничего не было. Но Надежда Петровна мне тоже купила платье. Богатая женщина, у нее имелось, по-моему, шесть машин, одну из которых Надежда Петровна предоставила нашей делегации. А нам с Инной она подарила по платью. Ей — красное, яркое, с великолепным капроновым шарфом (тогда капрон только-только входил в моду). А мне — маленькое, в стиле Коко Шанель, только не черное, а голубое, кружевное, на бледно-голубом шелке. Очень красивое!

И вот в мой первый выезд за границу произошел конфуз, который мог мне стоить всей карьеры. Тогда в моде был твист, а у нас много ребят из Франции учились, и один из них мне говорит: «Лариса, ты едешь в Париж, а твист умеешь танцевать?» Я ответила, что не умею, а он: «Представляешь, а вдруг тебя там пригласят танцевать? Давай я тебя научу». И он меня научил. И меня действительно пригласили. За мной ходил один американский журналист, который все время просил, чтобы я станцевала твист, почему-то на столе и в русских панталонах. Я никак не могла понять, при чем тут русские панталоны. Я сказала, что не танцую твист, тем более на столе. И все-таки, когда был прием, который устраивала наша делегация, он ко мне подлетел и пригласил танцевать. А я прижалась к стенке и говорю: я не пойду. А Сергей Аполлинарьевич говорит: Лариса, иди и танцуй. И я пошла и стала танцевать. Потом этот журналист исчез, и тут же появился какой-то латиноамериканец, который начал со мной танцевать. Все вокруг остановились, и этот американский журналист начал снимать. А потом мои фотографии появились в Paris Match, где было написано «Сладкая жизнь советской студентки». Хотя там приличные фотографии, ничего особенного. А когда мы вернулись в Советский Союз, то журнал тут же положили на стол Екатерине Фурцевой. А следующая поездка сразу должна была проходить в Карловых Варах. И наш фильм «На семи ветрах» должен был быть там представлен. Приходит Станислав Ростоцкий и видит список делегации, где Лужина вычеркнута жирной красной чертой. Он спросил у Фурцевой, почему не едет героиня фильма. «Она себя плохо вела во Франции, ей вообще нечего там делать больше», — ответила она. Если бы за меня не заступился Сергей Аполлинарьевич, который пришел и сказал, что это он виноват в «танцевальном инциденте», а также Григорий Чухрай, и Ростоцкий... Меня в состав делегации включили. Благодаря этому я побывала и в Осло, и в Иране. Видимо, министру надоело выслушивать просителей, и она сказала: пусть едет куда хочет».



С Отто Меллисом. 1980-е гг.

Сергей Аполлинарьевич считал Ларису Лужину актрисой театральной и поэтому договорился на ее прослушивание во МХАТе, но тут ее включают в делегацию, которая должна принимать участие в фестивале в Каннах. Она не смогла устоять… Канны! «*…а теперь жалею, может быть, это был бы очередной подарок судьбы, а я им, увы, не воспользовалась. А мне так нравится стоять на сцене, чувствовать живое дыхание зала, держать зрителя в напряжении…*»

Но… побывать на красной дорожке мечта всех актрис и актеров! Триумф славы и признания!

«*…Вот насчет того, когда мы были в Каннах. В то время нам вообще не разрешали ни с кем общаться. Нам сказали: из номера одним никуда не выходить. Герасимов, когда они уезжали, допустим, на встречу с Антониони, нас с собой не брал, решив, что мы еще девчонки, ничего в этом не понимаем. Они сами ехали, а нас оставляли в номере. Правда, однажды, нас взял в гости режиссер Лев Кулиджанов к Марку Шагалу! Тот жил неподалеку от Канн, в городке Ванс. Жена его ушла по делам, и мы остались с Шагалом одни. У него были яркие голубые глаза и совершенно седые волосы. Мы долго разговаривали. Я запомнила одну историю, которую он рассказал. Как к нему в гости заходил немец, служивший во время войны в люфтваффе летчиком. Этот человек восхищался Шагалом как художником. Так вот, он не нашел ничего лучшего, чем принести в подарок Марку Захаровичу фотографию, которую сам снял с самолета, — разрушенный бомбами Витебск. А надо знать, как Шагал любил свой родной город и всю жизнь мечтал туда вернуться! На прощание художник подарил мне свой рисунок с автографом. Вот только в Москве я этот рисунок передарила — Александру Галичу. Вообще-то, я собиралась привезти Галичу из Парижа пепельницу — красивую, медную, которую можно класть на подлокотник кресла. Но когда я узнала, что Саша в больнице после инфаркта, мне захотелось прибавить к подарку что-то еще. И я отдала ему рисунок Марка Шагала. Наверное, сейчас я бы так не сделала. Но в те времена все виделось иначе. Ну подумаешь — Шагал и Шагал, зато Галич будет рад… Еще я там познакомилась с Робером Оссейном. Помню, в холле гостиницы подходит ко мне мужчина и говорит по-русски: «Привет, мамочка!» Его лицо мне показалось знакомым, и я начала гадать, кто же это, пока не вспомнила, что видела его фотографию дома у Жанны Болотовой. Портрет, вырезанный из журнала «Советский экран», висел у нее на стене,*

потому что Жанна была влюблена в этого актера — Робера Оссейна (вскоре он сыграет Жоффрея де Пейрака в «Анжелике, маркизе ангелов»). Русский Робер знал с детства, а «мамочками» почему-то называл всех женщин. И вот он меня спрашивает: «Русская?» — «Русская». Пару минут поговорили, после чего Робер заявляет: «Пойдем ко мне в номер». Я, конечно, отказалась. Он уговаривает: «А чего ты боишься? Я же не буду на тебя кидаться, просто поцелую...» Кое-как отделавшись от него, я подошла к Станиславу Ростоцкому и все рассказала, и тот за меня вступился: «Робер, это моя артистка, что ты к ней пристаешь?» А он в то время был мужем Марины Влади! Познакомилась с Натали Вуд и Моникой Витти. Но мы с ними особо не общались, к сожалению. Время такое было, нельзя было общаться. Иначе вообще бы никуда не выехала».

После Канн были Осло, Варшава… Последовали новые роли, новые интересные предложения.

В 1960-е годы Лариса Лужина создала на экране галерею образов романтических девушек, озаренных тихим и ясным внутренним светом. Таковы Нина в «Тишине» В. Басова (1963), Вера в «Большой руде» В. Ордынского (1964), которые являются олицетворением верности, честности, преданности людям и своему делу.

«Море Черное»

В замечательную актрису и красивую девушку Ларису Лужину влюблялись многие мужчины, среди них немало и знаменитых. Был у нее роман, если можно так назвать, с Булатом Окуджавой. Теплые отношения длились около года. До того как обратить внимание на Ларису Лужину, Булат Окуджава был увлечен актрисой Жанной Болотовой, около года она была его музой, но так случилось, что буквально за один вечер все изменилось.

«…4 марта 1962 года мы отмечали мой день рождения у нас в общежитии при ВГИКе, — вспоминает Лариса Анатольевна. — *Среди моих друзей была и Жанна Болотова, которая сказала, что на праздник чуть позже придет Окуджава. И оставила для него место рядом с собой… Но когда он пришел, то сразу подсел ко мне. И сказал, что восхищен моей героиней в фильме «На семи ветрах», который только что вышел на экраны. Возможно, его привлекло и то, что мы тогда были похожи с Жанной, я носила такую же челочку, у меня тоже большие глаза… В общем, он влюбился».* После того вечера роман с Болотовой ушел для Окуджавы в прошлое, и он начал ухаживать за Ларисой. Она стала его постоянной спутницей на всех вечерах с друзьями, на всех концертах «для своих» и посиделках на кухне. «*Он водил меня за руку, как маленькую девочку, я ведь была еще совсем юной, в жизни ничего не видела. Он ввел меня в круг московской богемы. Например, помню, как отмечали день рождения писателя Юрия Нагибина. В гостях у Нагибина собрались люди, познакомиться с которыми было счастьем. Ахмадулина читала стихи. В то время на каждых посиделках кто-то обязательно читал стихи, и как правило — свои. Но Белла, конечно, ни в какое сравнение не шла с теми, кого я когда-либо слышала. Это было поразительно… А потом Булат поворачивается ко мне и спрашивает: «Где наша гитара?» В тот вечер он был в ударе, много пел. Помню еще Лидию Вертинскую. Потрясающая красавица, которая для меня так и осталась Птицей Феникс. Она много рассказывала о своих дочках, тоже красавицах, помню даже ее фразу: «Марианна и Настя — вот мои произведения искусства!» Фильм «Человек-амфибия», где снималась младшая — Настя, тогда стал сенсацией. А Настиным партнером был Володя Коренев, с которым у нас в десятом классе был полудетский роман — мы оба тогда жили в Таллинне, занимались в одном драмкружке. Помню, как ходили с ним на знаменитый Таллиннский мостик,*

который назывался «Горка поцелуев». А потом жизнь нас развела. Володя сразу после школы поехал в Москву, в ГИТИС, а я до того, как поступить во ВГИК, еще снималась в кино в Таллинне, так что на какое-то время мы потеряли друг друга... От Нагибина мы вышли поздно. Булат провожал меня до общежития, мы шагали по пустынной улице, такие легкие, веселые, чуть пьяные… О чем мы с ним разговаривали в тот вечер и вообще весь этот год? Как ни стараюсь воскресить в памяти — не помню. Наверное, по большей части сдержанно молчали. Нам было с ним о чем помолчать... Своим друзьям и знакомым Окуджава представлял меня так: «Это Лариса. Мой талисман». И никто ничего у него больше не спрашивал. Всем и так было понятно, что Булат Шалвович — человек увлекающийся. А меня вопрос моего статуса абсолютно не волновал. Я была молодой, наивной, думала: да разве что-то плохое происходит между нами? Я знала, что у него есть семья. И от знакомых слышала, что там все как-то очень сложно. Но я не думала на эту тему. Жена и сын — это все у Булата дома, на закрытой для меня территории. А моя территория — другая».

Как большой мастер поэт Булат Окуджава всегда находился в состоянии влюбленности. Увлекшись, он носился со своим «приобретением» и представлял новую даму сердца всем своим друзьям. Таких девушек поэт называл «мой талисман», но хоть и знакомил их со всеми друзьями, скрывал от семьи. *«…И я на целый год стала таким талисманом. Но у нас были платонические отношения. Конечно, мы целовались, пережили немало романтических моментов. Ведь он обладал потрясающим обаянием. Эти глаза — большие, карие… Он внешне был очень интересным. Хотя и невысокого росточка, щупленький… А его шикарная шевелюра, вьющиеся густые волосы, полысел он уже позже. А еще когда гитару брал в руки… Но до более близких отношений у нас не дошло. Я не знаю, почему. Это ведь от него зависело. Он вел себя так деликатно, сдержанно, ко мне относился, как к драгоценному сосуду, оберегал. Сексуальных домогательств, как сейчас принято говорить, с его стороны не было. Только большая нежность*».

А за Ларисой, чуть ли не с первого курса, стал ухаживать Алексей Чардынин.

«…из Таллинна я переехала в Москву и поселилась в общежитии ВГИКа в Ростокино. Рядом с общагой находилась железнодорожная станция «Яуза», и мы с ребятами часто садились на пригородные поезда и отправлялись путешествовать по Подмосковью. Чаще всего бывали в Загорске, в Троице-Сергиевой лавре. Помню, приехали на Пасху. А там народу целая толпа. Всех ребят из общаги я потеряла, рядом остался только Леша Чардынин, который учился на оператора. Я схватила его за руку и не отпускала, а потом почему-то стала плакать навзрыд. Так на меня подействовала служба. Чувствовала какое-то эмоциональное очищение и умиротворение.

Так случилось, что мы с Лешей влюбились друг в друга и стали жить вместе».

Целый год Алексей терпел ухаживания Окуджавы, но потом не выдержал…

«…*Леша был очень ревнивым человеком. Не верил, что между мной и Булатом нет близких отношений. И в итоге мне пришлось сделать выбор и порвать отношения с Окуджавой. Понимаете, тут надо знать Окуджаву. Для него наши романтические отношения еще не означали, что надо непременно переводить их во что-то реальное. Он не форсировал события. А я… Мне и в голову не могло прийти что-то решать в наших отношениях, вся инициатива исходила только от него. Я была молчаливо влюблена, а он черпал в своем чувстве вдохновение. Впрочем, я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы я не встретила Алексея...*

Я всегда была неравнодушна к высоким, фактурным красавцам. И как бы меня ни завораживал Булат, он все-таки не относился к моему типу мужчин. Да и отношения наши были какими-то неземными, неопределенными. В отличие от Булата, студент операторского факультета Алексей Чардынин не склонен был деликатничать. Его натиск был решителен, да и по возрасту, по внешним данным Леша мне куда больше подходил. И я подумала, что настоящая любовь —

это все-таки не совсем то, что происходит между мною и Окуджавой... Конечно, скрыть от Леши мою нежную дружбу с Булатом было невозможно. Поначалу Чардынин как-то снисходительно относился к его ухаживаниям, верил, что мы просто поехали на концерт, на выставку, в гости. Но потом все чаще стал раздражаться: «Что у тебя с ним?!» Да и от Булата утаивать такое событие, как появление в моей жизни Леши, не хотелось. Пришлось решать. И вот я набралась смелости объясниться с Булатом. Рассказала ему все. Мне казалось, что Окуджава отреагировал спокойно. Мы попрощались так же, как всегда. Но с тех пор он вообще перестал звонить. А поскольку с Алексеем у нас все шло по нарастающей, я почти из-за этого не переживала…

Но вот несколько лет спустя, уже выйдя за Чардынина замуж, я куда-то собралась ехать, села в поезд, выглянула в окно и… увидела Окуджаву на перроне. Я выбежала из вагона, бросилась к нему. Я ужасно рада была его видеть... Но Булат повел себя так, будто мы плохо знакомы и мой порыв неуместен. Просто сухо со мной поздоровался и пошел дальше. Я ужасно расстроилась. Чуть ли не в слезах вернулась в свой вагон. Думала: «Что же случилось? Почему такое отношение? Может, кто-то меня оговорил?» Только спустя годы, поумнев, я поняла, что Окуджаве было по-настоящему больно, когда его «талисман» предпочел спуститься с пьедестала на грешную землю. А может, просто оттого, что ему предпочли другого мужчину... И то, что в его отношении ко мне было много отеческого, тут решительно ничего не меняло...

О том, что Булат посвятил мне стихотворение, я долго не знала. Только спустя годы после нашего расставания Сергей Никоненко показал мне сборник стихов Окуджавы, где у одного стихотворения обнаружилось посвящение: «Л. Лужиной». Сейчас думаю: была бы в молодости умней — больше бы запоминала, записывала, находясь рядом с такими людьми».

Море Черное
Непокорная голубая волна все бежит,
все бежит, не кончается.
Море Черное, словно чаша вина,
на ладони моей все качается.
Я все думаю об одном, об одном,
словно берег надежды покинувши.
Море Черное, словно чашу с вином,
пью во имя твое, запрокинувши.
Неизменное среди многих морей,
как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Черное на ладони моей,
как баркас уходящий, качается.

(*Булат Окуджава родился в 1924 году. В 1937 году его отца расстреляли, а мать провела много лет в лагерях. В 17 лет Булат ушел на фронт добровольцем. После войны начал писать стихи. Популярность пришла к Окуджаве в 1961 году, когда он стал исполнять свои песни под гитару.)*

Работа в кино

В 1964 году закончилось обучение во ВГИКе, и теперь подопечные Герасимова вступали в жизнь в другой ипостаси — не студенты, оберегаемые своим учителями, а актеры. Лариса в годы учебы много снималась и не задумывалась о практической стороне жизни, и поэтому после выпускного вечера у нее не оказалось ни прописки, ни постоянного места работы. И образовался замкнутый круг: нет прописки — нет работы, без прописки не брали на работу, хотя оставили на Мосфильме в Театре киноактера.

Только на съемочной площадке можно было передохнуть от всех житейских проблем. Съемки в фильмах: «Тишина», «Встреча в конце зимы» («Беларусьфильм»). И снова на помощь пришел Сергей Аполлинарьевич. Он прописывает Ларису в мужскую комнату в общежитие для актеров на Дорогомиловской улице. Сей факт очень будоражил обитателей комнаты, куда определили молодую девушку, хотя за многие годы она ни разу там не появилась. В этот же год Лариса Лужина поступила в Театр киноактера, в котором служит и по сей день.

Личная жизнь была прекрасна. Лариса вышла замуж за Алексея Чардынина, и они сняли комнату на улице Горького у вдовы знаменитого актера Алексея Дикого, где прожили вплоть до 1966 года. *(Алексей Денисович Дикий — советский актер, театральный режиссер. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии — в том числе дважды за исполнение роли И. В. Сталина в кино. Родился 24 февраля 1889 г., в Днепропетровске, Украина. Умер 1 октября 1955 г., в Москве.)*

В комнате стояла детская мебель, все очень миниатюрное. Повсюду висели уникальные картины, стоял дорогой фарфор, стеллажи были полны редкими книгами. А еще в квартире обитали два кота, которые почему-то терпеть не могли голые женские ноги. Набрасывались неожиданно, больно царапаясь. Лариса их очень боялась. Но все сглаживалось удивительной атмосферой, царившей в доме. Тетя Шура, так звали хозяйку дома, в прошлом из «балетных», служила в Большом театре. Поэтому к ней частенько заходили удивительные люди: профессор Генрик Томашевский (выдающийся польский артист, хореограф, педагог, основатель Вроцлавского театра «Пантомима»), Тимофеев (К. А. Тимофеев. Доктор филологических наук, профессор кафедры древних языков), приезжали артисты из Ленинграда, частенько бывал Евтушенко, и впервые Лариса услышала из уст поэта запрещенное для издания стихотворение «Благодарность». Профессиональная память позволила сразу его запомнить на долгие годы. Лужина читала его на творческих вечерах. Частенько наведывался Светлов Михаил Аркадьевич. Он почему-то совсем не любил мыться, а хозяйка всякий раз настойчиво просила: «Миш, ну прими ванну!» Как-то раз он не выдержал: «Шура, я буду ее принимать только тогда, когда ее будут выдавать в таблетках!»

«*…Удивительно, многих из тех, с кем виделась лично, разобрали на афоризмы*».

Алексей дружил с Владимиром Высоцким, и тот частенько забегал к нам на огонек. Как-то раз он обратил внимание на гитару, которая висела на стене, ее подарили Дикому цыгане, инструмент был замечательный, знаменитой Краснощекинской фабрики, и Высоцкий загорелся ее приобрести. Володя долго уговаривал хозяйку, но кто мог устоять перед обаянием артиста. Наконец сдалась и тетя Шура, правда, за приличную сумму — сто рублей.

Однажды Володя говорит: «Леша, послушай, какую песню я написал твоей бабе!»

«*…я много рассказывала Володе о своих поездках по миру, и в итоге он написал про меня песню под названием «Она была в Париже». Эта песня прозвучала на всю страну в фильме «Вертикаль», где я сыграла главную женскую роль. Все думали, что это песня про Марину Влади, но режиссер Станислав Говорухин рассказал всем, что это песня про меня. После этого и пошел в народе слух, что у нас с Высоцким роман! Избавиться от них я не могу до сих пор, так же как и от фразы, что фильм «Вертикаль» моя «визитная карточка», с чем я совсем не согласна.*

По поводу Марселя Марсо очень забавно было. Я ему показывала фотографии, и на них никакого Марселя Марсо не было, так как я не была с ним знакома. Но у меня была фотография, где Бернар Блие, французский актер, говорит мне что-то на ухо. И Володя, видимо, увидев эту фотографию, для пущей важности



С Алексеем Булдаковым.

написал про Марселя Марсо. Конечно, тот известный мим, мировая известность».

В эти годы произошел еще один забавный случай.

«В 1964 году, когда мы находились в Париже, нашу делегацию пригласили на фестиваль в Варшаву. А в Париже мне подарили, не помню кто, замечательные духи Magriffe, я их обожаю всю жизнь.

И вот при встрече в аэропорту Богдан Порембо случайно выбивает мою сумочку, та падает на асфальт, и флакон духов, который находился без упаковки, разбивается. Богдан очень расстроился, не говоря уже обо мне. Стараясь загладить неловкость, Порембо говорит: «Не переживайте, я вам все компенсирую».

Проходит довольно много времени, когда раздается звонок из Бюро пропаганды киноискусства. Мы каждый год выезжали по стране на творческие встречи, и в этот раз мы выступали в Федоровском Городке, откуда, говорят, возили воду царям.

Звонит ассистент режиссера Богдана Порембо и извиняющимся голосом говорит о том, что режиссер Богдан Порембо предлагает мне всего лишь маленький эпизод и ей неудобно об этом даже говорить такой известной актрисе. Правда, съемки этого эпизода будут проходить в Париже. «О, если в Париже, так я вообще готова молчать и в эпизоде», — подумала я и дала свое согласие.

Примчалась в Москву, и вот я целых пять дней в прекраснейшем городе Европы. Поселили всю группу в небольшую частную гостиницу под названием «Принц» неподалеку от Марсова поля. Спустя столько лет Богдан помнил о духах и так решил их утрату компенсировать.

Номера были удивительные, крохотные комнаты, где помещалась большая кровать, напротив огромное зеркало и биде. Потом мы узнали, что раньше здесь находился публичный дом. Но я была счастлива сыграть роль Елизаветы Дмитриевны в фильме "Ярослав Домбровский"».

Талант Ларисы Лужиной привлек внимание немецких кинематографистов. В 1965 году режиссер студии «ДЕФА» Иоахим Хюбнер увидел ее на телевизионном экране в картине «На семи ветрах» и пригласил для съемок в многосерийном фильме «Доктор Шлюттер». Лужина сыграла сразу две главные роли: антифашистку Еву и ее дочь Ирену, которая после гибели матери продолжает борьбу в антигитлеровском подполье.

За время работы в ГДР Лариса Лужина снялась в шести картинах, в том числе двух многосерийных. Здесь же актриса впервые сыграла роли из русской классики — Марью Николаевну в «Вешних водах» (1968) и Варвару Павловну в «Дворянском гнезде» (1969), поставленных по одноименным романам Ивана Тургенева. Немецкие зрители высоко оценили работу Ларисы Лужиной: по опросу одного из журналов, она была признана популярнейшей актрисой в ГДР. Роли, сыгранные ею в телевизионных фильмах «Доктор Шлюттер» (1964—1967), «Встречи» (1968) и др., были высоко оценены: за участие в фильме «Доктор Шлюттер» актриса стала лауреатом Национальной премии ГДР; дважды получала награду «Золотой лавр телевидения», а также награду Общества германо-советской дружбы «Золотой знак». Актрисе предлагали остаться жить и работать в Германии, но она не согласилась. Четыре года съемок в Германии (помните, как Алов и Наумов не утвердили Ларису на роль немки, так как посчитали, что у той славянский генотип?) не пошли на пользу отношениям двух молодых людей. Их брак шел к завершению. Это неправда, что разлуки укрепляют! Разлуки делают людей чужими. Лариса старалась при любом удобном случае вырываться в Москву хоть на пару дней, ну, а что делать молодому красивому мужчине, которого любили женщины, оставаясь на долгое время в одиночестве в большом городе?

Лариса знала об увлечениях мужа, да и у нее самой было небольшое приключение в ГДР — молодой красивый актер Клаусс Бамберг, а на съемках очередного фильма Лужина тогда была увлечена другим партнером Александром Фадеевым, сыном классика советской литературы и экс-супругом Людмилы Гурченко. Но эта тайная дружба принесла Ларисе немало неприятностей. Фадеев сильно пил и в периоды запоев становился неуправляемым. И в отличие от Людмилы Марковны, Лужина так и не решилась официально зарегистрировать свой союз с Фадеевым. И спустя время она благодарила небеса, что сделала такой выбор. «…*Саша очень сильно пил — до такого состояния, что мне приходилось постоянно спасать его чуть ли не от смерти. Приезжаю как-то в Переделкино, смотрю — он, пьяный, от ревности или еще бог знает от чего, пытается застрелиться. Насилу ружье отняла. Теперь я знаю: если бы связала с ним судьбу, ушла бы из жизни точно*».

И при этом Лариса и Алексей ревновали друг друга страшно. Ни один ее приезд не обходился без конфликтов. И вот в один из приездов Лариса узнает, что у мужа появилась девушка, с которой он постоянно живет в ее отсутствие. Выяснять отношения начали в присутствии матери Евгении Адольфовны, и Алексей, не выдержав, ударил Ларису по лицу. А в это время в Москве находилась делегация кинематографистов из Германии, и бедная женщина должна была их сопровождать.

«*…вот так и ходила в темных очках, так как под глазами образовались большие синяки. Стыд пережила ужасный!*»

В 1970 году Лариса Лужина и Алексей Чардынин развелись. К сожалению, когда разводишься, не знаешь, чью сторону примут общие друзья. Так и в случае развода Лужиной и Чардынина многие остались с Алексеем. Владимир Высоцкий занял позицию друга, с которым они дружили на протяжении всей жизни, а с Ларисой обходился единственным словом «здрасьте» и проходил мимо, даже спустя много лет.

В эти годы на смену ее лирическим героиням приходят сложные и глубоко драматичные образы: Анфиса в картине «Любовь Серафима Фролова» (1968),

Мария Макшеева в фильме «Жизнь на грешной земле» (1973). Особое место в творчестве Ларисы Лужиной занимает роль Анны Тимофеевны Гагариной в фильме «Так началась легенда» (1976). Это была ее первая возрастная роль, сыграть которую — непростая задача для любого актера. Героиня впервые входит в кадр совсем молодой девушкой, а в финале предстает в образе пожилой женщины.

Испытание любовью

После первого развода актриса не разочаровалась в любви. Тогда она верила, что впереди ее обязательно ждет тот единственный, с которым она проживет всю свою жизнь. Вторым мужем Ларисы Лужиной стал Валерий Шувалов, тоже кинооператор, тоже выпускник ВГИКа. Он часто встречал Ларису в коридорах института, но влюбился в нее спустя несколько лет, когда они столкнулись на съемках фильма «Золото». Валерий посмотрел на Лужину через объектив и понял, что пропал.

Шувалов понимал, кто она, звезда кино, мечта миллионов мужчин, и кто он. Прошло всего несколько лет, и он снял такие фильмы, как «Не может быть», «Экипаж», «Интердевочка». Но тогда он был всего лишь вторым оператором на картине. Однако Валерий не сдавался, ухаживал за Лужиной несколько месяцев. И постоянно называл нежно — Ларочка. А когда актриса перенесла микроинсульт, Валерий Шувалов дни и ночи просиживал у ее больничной койки, не отходя ни на минуту от своей Ларочки.

Микроинсульт случился вскоре после инцидента на съемках фильма «Один из нас». Машина, в которой находилась актриса, на большой скорости врезалась в каток. «*Может, от этого произошло, потому что через какое-то время, когда я уже приехала в Москву, мы с Валерой встречали Новый год, я выпила бокал шампанского, и у меня что-то с головой случилось*, — вспоминает Лариса Анатольевна. — *И потом выяснилось, что у меня кровоизлияние. Мы это установили только через пять дней*».

После микроинсульта врачи предупредили: актриса может не перенести беременность и роды, не исключено, что кровоизлияние повторится. Это звучало как приговор, ведь Лужиной было уже 30 лет, она давно мечтала о ребенке, а тут… Но через несколько месяцев она узнала, что беременна. Все девять месяцев актриса молилась, чтобы ребенок родился здоровым. Все прошло благополучно — в 1971 году на свет появился Павел. Кстати, расписались Валерий и Лариса уже после рождения сына. Они сохранили хорошие отношения после развода, несмотря на то, что с тех пор прошло очень много лет.

Иногда актрису спрашивают, почему у нее лишь один сын, и не жалеет ли она, что не родила еще. Никто и не догадывается, что Лужина счастлива, что перехитрила медицину хотя бы раз.

После родов у Лужиной совсем не было молока. Она просто не знала, что делать и куда бежать. Оказалось, решение проблемы совсем рядом, этажом ниже: соседка Галина Жданова тоже только что родила сына. Детский врач, узнав, что у Галины много молока, которое она даже выливает, предложила его ребенку Ларисы. Так Галина стала молочной матерью для Павла и подругой для Ларисы.

Этот брак продержался почти семь лет. Инициатором развода стала Лариса Лужина.

Галина Жданова первой узнала, что Лужина решила развестись с мужем. Лариса каждый раз бросалась в отношения как в омут с головой, не оглядываясь. И каждый раз искренне верила, что нашла, наконец, ту самую настоящую любовь.

В 1978 году она снималась в фильме «Встреча в конце зимы», сценарий

которого написал молодой актер Владимир Гусаков. Он и пленил актрису. Когда спустя несколько лет Гусаков завел роман на стороне, Лариса едва не наложила на себя руки. По ее словам: «*Володя был не таким удачливым, как его мать (писательница Лидия Вакуловская). Володины сценарии особо не шли, фильмы по ним уже не снимали. К тому же, я много ездила, подолгу отсутствовала дома. А муж часто оставался дома один. Но Володя — красивый мужик, на которого просто гроздьями вешались бабы. Ему было сложно устоять перед соблазнами. А я страшно переживала измены. Были моменты, когда мне просто не хотелось жить*».

Новое кино

В конце 80-х, когда она переживала очередной кризис в семейных отношениях, в стране начались преобразования. Весь быт, все моральные устои, принципы стали рушиться на глазах. Везде царили хаос и неразбериха. Перемены коснулись и кинематографа. Денег не было, да и кино в одночасье стало никому не нужно.

«*…никаких сбережений не было, да и самой сберкнижки как таковой не имелось. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день мы будем жить в совсем другой стране, в стране с другими социальными ценностями?! Пришлось выживать. Мне всю жизнь везло на хороших людей. Я познакомилась со Светланой Ефимовной Прониной, которая работала директором детского центра «Солнышко» в Перово, где для детей работало много различных детских студий. Вот и я долгое время вела театральную студию для ребятишек в возрасте от 8 до 12 лет. В течение трех лет ездила по всей стране с антрепризным спектаклем «Курица» Николая Каляды. Перед всей страной встала забота о куске хлеба. Мы вместе с Зинаидой Кириенко объездили с выступления весь Хабаровский край, БАМ…*»

Жизненный путь народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной, сыгравшей в более чем 70 фильмах и сериалах, полон невероятных событий, счастливых встреч, взлетов и падений. Но образ романтической женщины, озаренной внутренним светом, всепобеждающей улыбкой и человеческим достоинством, она сумела сохранить и пронести через все.

«…*В молодости цыганка нагадала мне много мужей, но сказала, что в конце жизни я останусь одна. Так и случилось. Я жалею только об одном браке, втором… у нас была крепкая, хорошая семья. От него у меня единственный сын. Мы могли бы и дальше жить, если б я не совершила глупость. Я влюбилась в актера Владимира Гусакова и забыла о семье. Просто обо всем забыла, даже о том, что у меня есть ребенок! Я предала своего мужа, и судьба мне потом за это отплатила… Третий муж поступил со мной точно так, как я поступила с Валерием. Через десять лет меня бросили, и это было для меня катастрофой, ужасной трагедией. Спасительной соломинкой для меня стал концертный администратор Вячеслав Матвеев. В 90-е он устраивал творческие встречи актеров со зрителями, но этот брак большая ошибка: семья должна строиться не на дружбе, а на любви, а ее-то как раз и не было.*

Я живу одна. Моя семья — это семья моего сына Павла. Он окончил Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ), где познакомился со своей будущей женой Марией, в настоящее время работает звукорежиссером на «Мосфильме». Со многими режиссерами — Шахназаровым, Говорухиным, Хотиненко… Я стараюсь им помогать, ведь тяжело в наше время поднять троих детей. У меня трое внуков — Даниил, ему сейчас 17 лет, Матвей — 14 лет, и Прохор, которому пять лет. Вижу я их довольно редко, не чаще раза в месяц. Иногда старших внуков даже не узнаю, так быстро они растут и меняются. В общем, честно говоря, крайне редко вижу семью сына, я снимаюсь в сериалах, где идет беспре-



рывный процесс съемок. Я абсолютно четко осознаю, что это не шедевры, но зато благодаря этому могу зарабатывать сама, мне ведь нужно как-то жить... И я работаю честно. И в тех условиях, которые есть, стараюсь сыграть хорошо, насколько это возможно. А сериалы, в которые я ввязалась, страшно длинные — двести, триста серий... Сниматься тяжело! Тем более что у меня проблемы с ногами, точнее, с одной из них. Я уже совсем не могу ходить на каблуках, поэтому пришлось отказаться от работы в театре. Я и без каблуков-то хожу с трудом! Мне бы уже давно надо заняться этим вопросом. Правда, в одном сериале мне повезло с ролью. Играю парализованную женщину в инвалидном кресле. Они мне даже стеснялись это предлагать, а я очень обрадовалась. Самое то для меня! В общем, надеюсь в ближайшее время заняться здоровьем...»

«...Я жалею лишь о том, что молодость прошла, а я проводила очень мало времени с сыном, не замечая, как он растет, взрослеет. Ведь я бесконечно снималась, и Павел уже с одного годика находился то на попечении моей мамы, то двоюродных сестер. Только летом выпадало время побыть с сыном рядом. Летом формировалась актерская бригада, которая выступала в Крыму с программой «Моя жизнь кинематограф». В нее входили звезды советского кино. Поездка длилась полтора месяца, и мы давали по два концерта в день, однако многие стремились стать участниками данного коллектива. Ведь, прежде всего, это был отдых на море, который и давал возможность побыть со своими детьми рядом. Паша даже подрабатывал, помогал звукорежиссерам на концертах. Мы там подружились с Евгением Моргуновым, Геннадием Корольковым, с нашим администратором Людмилой Бускевич...»

За годы своей кинематографической карьеры Лариса Анатольевна Лужина снялась в более чем 70 фильмах. Среди последних ее работ — роль Прасковьи Долгоруковой в картине Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Для актрисы это была первая костюмная роль. Затем были роли в сериалах «Нет спасения от любви», «Юнкера», «Охота на изюбря», «Возвращение Турецкого». В 2006 году на экраны вышел сериал Владимира Краснопольского «Любовь как любовь». Лариса Лужина и Сергей Никоненко сыграли в нем роли Платона и Татьяны Лобовых. Критики отметили необыкновенную достоверность, с которой актеры изобразили своих героев.

«*Сериалы позволяют мне неплохо зарабатывать. Конечно, я бы хотела, как раньше, сниматься в большом кино, где больше возможностей раскрыться. Но настоящий артист никогда не халтурит, даже в крошечном эпизоде. Да и мне везло на партнеров. Может, мне не совсем повезло творчески, что у меня не много было значимых фильмов, но все равно у меня были и режиссеры интересные, и партнеры. С Анатолием Кузнецовым у меня были замечательные отношения, мы с ним в нескольких фильмах снимались. Я очень благодарна была Иннокентию Михайловичу Смоктуновскому в фильме «Исполнение желаний», где он мне просто помогал сыграть роль такой аристократичной женщины из*

высшего света. У меня поначалу не очень получалось, потому что я всегда играла таких деревенских женщин, простых. Владимир Заманский, Игорь Ледогоров, Ленечка Куравлев, да, наверное, всех и не назовешь. Я же говорю — мне везет на встречи с прекрасными людьми».

У Ларисы Анатольевны много друзей и подруг, потому что она умеет дружить.

«Дружба с Аллой Ларионовой завязалась случайно. Мы не играли с ней в одних фильмах, она ведь начала сниматься гораздо раньше меня. Познакомились на гастролях, в концертной бригаде. И как-то так у нее легла ко мне душа, и мы стали общаться все чаще и чаще… Ларионова помогла мне приобрести дачу на Истре, там мы до сих пор живем по соседству с ее дочерью Аленой, я поддерживаю с ней связь. Очень жаль, что Алла рано ушла из жизни… Я думаю, что ее сломала смерть Николая Рыбникова. Это очень тяжело — остаться одной после 33 лет счастливого брака. Она говорила: «Мне неинтересно жить. Я ничего не хочу». С таким настроем трудно жить на свете».

Сейчас я дружу с Натальей Гвоздиковой, Юрием Черновым, Татьяной Конюховой».

Работу в театре и кино Лариса Лужина сочетала с педагогической деятельностью. В течение ряда лет она преподавала актерское искусство в Московской детской академии народного художественного творчества «Россия» при департаменте образования Правительства Москвы.

Лариса Анатольевна Лужина удостоена звания Народной артистки РСФСР (1989); награждена медалью «За трудовые заслуги», орденом Петра Великого (2004). Кавалер ордена Дружбы.

В Свободное время Лариса Анатольевна любит бывать на природе, читать, шить. Увлекается музыкой, отдавая предпочтение классике и ретро. Среди любимых музыкальных произведений — опера Э. Грига «Пер Гюнт», вальс композитора Молчанова из фильма «На семи ветрах».

«…Два года назад у меня начались простои в работе — режиссеры не предлагали значимых ролей ни в кино, ни в театре. Кто-то из знакомых посоветовал помолиться святому Спиридону. К нему обращаются при материальных проблемах. Мощи этого святого находятся на Кипре, а в наших храмах отдельной иконы чаще всего нет. В церкви меня научили: нужно ставить свечу к иконе Всех Святых. Там обязательно есть и Спиридон. Я много раз молилась ему и почувствовала поддержку, предложения о работе стали просто сыпаться. Каждый день у меня чем-то занят. Считаю, все благодаря этому святому! А потом произошло еще одно небольшое чудо. В храме Святого Филиппа я нашла единственную в столице икону святой мученице Ларисе, под этим именем я и крещена. Теперь я нередко приезжаю к этой иконе, в тяжелые моменты жизни прошу поддержки. Тогда многие люди крестились в основном дома, просто приглашали священника. А покрестилась я, когда проводила сына в армию. Посадила его в автобус — и сразу в храм. Будто что-то привело меня туда! Сказала батюшке: «Хочу поддерживать сына молитвами». И он тут же совершил обряд. В моем доме есть уникальная икона Иисуса Христа, которая была освящена в 1906 году. Подарили мне ее в 1982-м. Еще одно почетное место занимает в моей квартире изображение Матронушки, которая мне очень близка. Ее образок всегда со мной!»

«Улыбка — вот то, что меня выручает*. Как-то шла по центру и увидела в витринах отражение грустной старушки. С ужасом поняла, что это я. Но как только улыбнулась, сразу вроде бы и ничего себе женщина стала. «Снимаю» улыбку только дома, на своей территории. И для меня лучшее средство от старости и болезней — работа».*

Валерьян КИСЛИК

О красноармейце Науме Кислике, его друзьях и не только…

...и памятью ведет
вот этот след ребячий
под кровлю, где жильцов
давно простыл и след.

Наум КИСЛИК



Почему о красноармейце? Ведь он всю жизнь писал стихи. Да, но первое стихотворение было опубликовано в какой-то фронтовой газете и подписано: «Красноармеец Н. Кислик». Вот как об этом писал поэт: «Однако N, писатель и майор, которому мой случай был не внове, перелистав изделие мое, достал листок и дал команду: «В номер!»

В каком-то смысле красноармейцем Наум Кислик остался навсегда.

Однако самое первое стихотворение, которое я услыхал от него, было сочинено вот при каких обстоятельствах. Как-то родители ушли в гости и оставили нас одних. Я уже собрался заплакать без видимой причины, и тогда Наум стал сочинять мне стихи. Интересно, что мне было около четырех лет, но я кое-что запомнил на всю жизнь. Ведь он эти стихи сочинил и больше никогда не повторял. «Гулял в саду, нашел дуду и опустил ее в воду. Плывет, плывет в воде дуда, в дуду набралася вода…» Это было бесконечно длинное стихотворение и оканчивалось так: «И чтоб штаны не потерять, он стал руками их держать». Не знаю, как в смысле поэзии, но плакать мне расхотелось.

Наум хотел, скорее всего, стать художником. Помню, к какому-то юбилею А. С. Пушкина он нарисовал в углу ватманского листа школьной газеты в виньетке тушью портрет А. С. Пушкина в профиль. Потом, уже в эвакуации, цветными карандашами нарисовал с фотографии портрет В. В. Маяковского. Кстати, поэзию Маяковского любил с детских лет. Более того, рисунки Наума печатал даже московский журнал «Юный художник».

Порой бывают такие воспоминания, которые не относятся к творчеству, а каким-то образом просто характеризуют человека, и они тоже бесценны. И хотя курить Наум начал еще до школы, поведением характеризовался примерным, учился на отлично и в каждом классе получал похвальную грамоту. Читать начал еще до школы. Бегал с друзьями по дворам, играл в игры, больше всего любил волейбол. Посреди соседнего просторного двора была вытоптана площадка для волейбола. Между столбов натянуто то, что некогда называлось волейбольной

сеткой: пара веревок вдоль и несколько поперек. Всегда назначался судья, который должен был определить, прошел мяч через сетку или над ней.

Мы жили в Витебске на улице Дзержинского, на первом этаже двухэтажного дома. Квартира была большая: кухня с большой печкой, проходная комната, где жил часовой мастер Фишкин с женой, и две наши — в одной из комнат была наша с братом спальня. Окна из комнаты Фишкина и гостиной выходили во двор, но были несколько ниже уровня земли, поэтому, чтобы войти в квартиру, нужно было спуститься на две-три ступеньки. Окно из спальни выходило в другой двор, где был мой детский сад. Это окно находилось уже над землей, так что в дождливую погоду мама открывала его, я выпрыгивал и бежал в детский сад кратчайшим путем.

В 1925 году мама уехала в Москву к своему старшему брату, где вскоре родился Наум. Зарегистрировав сына, родители вернулись в Витебск. Когда появился я (это случилось 1 апреля, но через 10 лет), Наум сидел на заборе и не поверил, что у него родился брат, считал, что его обманывают.

За три месяца до начала войны отца взяли на военные сборы, где он и встретил войну на границе с Польшей. Хорошо помню, как он еще в период сборов приехал домой в военной форме и с револьвером. Освобожденный от патронов револьвер я с трудом затащил на подоконник и показывал соседским ребятам.

Когда Витебск уже подвергался обстрелам и бомбежке, мама забрала нас с Наумом к своей маме, которая жила в другом районе города. Однажды ночью раздался стук в дверь и в комнату ввалился в плащ-палатке отец. Он рассказал, что чудом спасся из окружения, благодаря тому, что умел водить машину. Он остановил попутку и погрузил туда раненых. Шофер сказал, что забежит в магазин за продуктами (магазины уже были брошены). Отец долго ждал и пошел в пустой, как оказалось, магазин. Водитель, думаю, сбежал.

Отец пробыл у нас какие-нибудь минуты и на прощанье сказал:

— Уезжайте куда только можете, чтобы духу вашего здесь не было.

Наум был типичным советским ребенком: радовался успехам индустриализации, победам в освоении Севера, гордился за свою страну. Когда Испания боролась против фашистов, он, как и многие мальчишки его возраста, готов был встать «на самом опасном, на самом главном участке сраженья». Так писал поэт уже в 1950 году в стихотворении «Идут герильерос». «В ударные роты интербригады давно записалось мое поколенье».

Внутренний мир поэта лучше всего раскрывают его произведения. Приведу строки из стихотворения, написанного молодым Наумом.

В житейское море я вышел давно,
и годы бегут к тридцати,
а сердце
все тем же волненьем полно,
как в самом начале пути.
Я много ходил,
сухопутьем пыля,
от синих морей в стороне,
но часто
воскликнуть по-детски:
— Земля! —
хотелось неистово мне.
Я верю,
что каждому в жизни дано
нехоженой тропкой пройти,
и пусть хоть немного,
хоть что-то одно
упрямо искать
и найти.
Пусть только
высокая
ясная цель
маячной звездою горит,

ведь столько еще
неоткрытых земель
в том мире,
что нами открыт!
Покуда сердце
на все тормоза
не станет в положенный срок,
пусть ветер, и ливень, и солнце в глаза,
и версты,
и версты дорог.

Это стихотворение стало для меня как бы научным кредо, хоть что-то одно искать и найти.

По чистой случайности последним эшелоном мы бежали из Витебска. Состав тянулся по открытому месту, а далеко над лесом кружили самолеты. Люди напряженно всматривались в небо то с одной, то с другой стороны вагона. Потом были слышны взрывы, и даже, говорили, снаряд попал в последний вагон поезда.

В Орше мы сидели на перроне: мама на каких-то вещах, я у нее на руках. Была тихая ночь. И вдруг земля содрогнулась, и в небо взметнулся фонтан огня: снаряд попал в складское помещение за железнодорожными путями.

В конце концов мы оказались в Набережных Челнах. Подселили нас к одной татарке. Жили мы на горе, где находились конный двор, детский сад, столовая и жили работники элеватора. Маму взяли на работу, меня определили в детский сад, а Наум пошел учиться в школу. Гора, где мы жили, отделялась от города притоком Камы — Челнынкой, через которую была паромная переправа. С одного берега до другого был протянут металлический прут, и с помощью деревянного приспособления и ручных усилий плот передвигался.

С нами жила родная мамина сестра (жена младшего брата моего отца) с дочкой. В тяжелейших боях у д. Ярцево под Москвой младший брат отца погиб смертью храбрых (так было написано в похоронке). Он был пулеметчиком. Вскоре после этого Наум, который учился в 10-м классе и которому еще не исполнилось восемнадцати, ушел добровольцем на фронт.

Средняя школа —
направо,
прямо —
военкомат.
Здорово держится мама,
хлюпает маленький брат.

Он уходил зимой. Мы с мамой стояли на высоком берегу Камы и смотрели сверху, как через замерзшую и покрытую снегом Каму по протоптанной дорожке передвигалась цепочка черных точек с заплечными мешками.

Наум попал в Сарапульское пулеметное училище. Их выпуску не дали окончить училище и отправили на фронт. Где-то на Курской дуге Наум получил тяжелейшее ранение в голову. О том, что случилось, потом рассказано в стихотворении «Письмо от Ивана Русакова».

А случай в том,
что был я просто ранен,
но кем-то
в скорбный список
занесен.
И в тыл помчался
треугольник Ванин,
покуда я
смотрел нездешний сон…
Иван писал,
что пал я, как герой.
А я ни мертвым,
ни героем не был.

Но так случилось, что письмо из госпиталя мы получили раньше, а от Вани чуть позже.

После госпиталя Наума списали в тыл, и он приехал к нам уже в Чкалов (Оренбург), где жил дедушка. Чтобы заработать хоть какие-то деньги на жизнь, Наум стал писать картины и продавать на рынке. Помню, как он сделал копию картины Васнецова «Богатыри». Его натюрморт висел даже какое-то время в музее. Была написана картина, где на тахте возлежала восточная красавица, а перед ней стояла ваза с фруктами. Фрукты мы видели только на картине.

После ранения его долгие годы мучили головные боли. И все же, несмотря на запрет врачей, он поступил в Чкаловский пединститут. По прошествии многих лет, когда стали проявляться возрастные болезни, ему сделали множество рентгеновских снимков. Один из них он показал мне: часть черепа и верхняя челюсть, как звездное небо, были усеяны мельчайшими осколками.

Отец вернулся не сразу после окончания войны. В 1946 году их часть отправили на переформирование в г. Горький. Там у него случился первый сердечный приступ. Ему было 43 года. В том же году мы переехали с демобилизовавшимся отцом в Минск, куда его пригласили довоенные друзья на работу. Наум должен был окончить курс и позже приехать к нам.

Послевоенный Минск лежал в развалинах. Отец получил квартиру в одном из двух неразрушенных домов на ул. Завальной. Квартира требовала ремонта: в одной из стен зияла дыра. Одну комнату заняла наша семья, а другую — мамина сестра с дочкой.

Наума приняли в университет на филфак. При этом он должен был досдавать много предметов. Мужское население курса состояло из фронтовиков (кто из действующей армии, кто из партизан). И несмотря на тяжелое время, думаю, оно было самым веселым в их жизни, по-настоящему студенческим.

К учебе они относились серьезно, но хотели наверстать то, что отобрала война: заводили знакомства с девушками, устраивали литературные вечера, танцы.

Писатель Леонид Коваль, поступивший в университет в 1947 году, в своей книге «Дневник свидетеля» (Рига, 2006) пишет: «Собирались на литературные дискуссии. Жадно следили за публикациями в журналах. Читали стихи. Литературным пророком и авторитетом был Наум Кислик, талантливый поэт, фронтовик, остроумец и совесть студенчества. Алесь Адамович уже тогда был известен своей принципиальностью и честностью, хорошим литературным вкусом…»

Если студенческая жизнь протекала достаточно весело, активно, интересно, то события, происходившие в обществе, не могли не наложить свой отпечаток на всю нашу жизнь в целом.

Соседями по этажу у нас были симпатичные и доброжелательные белорусы — Петр Семенович и Степанида Яковлевна с детьми. Степанида Яковлевна часто обращалась к маме за помощью и делилась с ней своими проблемами. Никогда при этом не возникали какие-либо межнациональные конфликты. Однажды Степанида Яковлевна, придя с рынка, сказала маме: «Говорят, что евреи продают на рынке отравленные грибы!» Вскоре осознав, что она сказала, пришла извиняться… Сталинская антисемитская кампания проявляла себя не только на рынке, но и во всех сферах общественной жизни. Идеологических врагов изобличали в науке, искусстве, литературе, в театре, кино. Люди, многие из которых во время войны защищали Отечество, были пригвождены к позорному столбу, лишались работы, становились изгоями.

Об этих событиях Наум рассказывал мне с великой болью. Ситуация действительно была безвыходной и безнадежной: самая передовая, демократическая и справедливая система в мире, ум, честь и совесть нашей эпохи (как она о себе объявляла) обрушила всю свою мощь против людей определенного рода. Конечно, события общественной жизни формировали мировоззрение студентов, вырабатывали в них правила поведения. Одни, которые готовили себя в партийные функционеры, полностью полагались на честь и совесть партии и не имели своей

чести. Партия им за это платила определенными жизненными благами. Другие вооружались цитатами из трудов вождей мирового пролетариата, решений съездов партии и могли спокойно существовать в качестве профессоров вузов. Сложнее всего было тем, кто сформировал себя как личность, имел собственное мнение, но не мог его отстаивать.

Очень скоро после поступления Наума в БГУ в нашем доме появились Саша Адамович, Олег Сурский, а позже и Валентин Тарас. Несмотря на тяжелое послевоенное время, мама всегда кормила ребят. Иногда после их ухода говорила: «А чем же я вас завтра кормить буду?»

Саша Адамович впервые пришел к нам, когда мы еще жили на ул. Завальной.

И сколько я его помню, он никогда не выпивал, в отличие от остального студенчества. И это была его принципиальная позиция. Когда случались застолья и собирались друзья брата (уже на ул. Фрунзе, возле парка Горького), Саша как всегда был энергичен, в меру весел, активно участвовал в беседе, иногда сам поднимал какую-нибудь тему. И таким он оставался на протяжении всего вечера.

Никогда в компании Наума не велись пустые разговоры. Слушать ребят было всегда интересно…

Был такой случай. Собрались пойти в кино Саша, Наум и я. День был летний, очень жаркий, и перед кино решили сходить на Комсомольское озеро. Искупались, обсохли и уже уходили, как вдруг услыхали крик: «Человек утонул!» Кричал пацан и показывал рукой на воду недалеко от берега. Не успел я сообразить, что надо делать, как Саша сбросил с себя одежду и уже нырял. Когда я нырнул, то увидал, что вода совершенно мутная и ничего не видно (тогда, возможно, впервые, озеро чистили земснарядами и основательно замутили воду). Почти сразу приехали спасатели, вытащили беднягу, откачивали и увезли в больницу.

Сюда же на ул. Фрунзе к Науму Саша стал приносить рукописи глав романа «Война под крышами». Помню, как однажды Наум вышел из своей комнаты, когда Саша ушел, и торжественно-таинственным голосом сообщил: «Саша написал роман!» И в интонации и словах звучала гордость за друга. Саша регулярно появлялся в нашем доме, чтобы рассказать о своих делах, о различных ситуациях в Академии наук БССР. Приходил всегда порывистый, оживленный, громкий. Было такое ощущение, что принес потрясающую новость, настолько он был небезразличен к тому, что происходило в Академии наук или в Москве. И это продолжалось даже тогда, когда он уже жил в Москве.

Саша плавал с друзьями (Наумом, Олегом Сурским, Валентином Тарасом) на лодке по рекам и озерам Беларуси. Но даже вдвоем с Наумом им было хорошо. Они как бы дополняли друг друга.

После окончания университета Наум получил направление в г. Дриссу (Верхнедвинск). Совсем недалеко от переправы через Западную Двину стояла просторная изба, часть которой была отгорожена, и там были сооружены клетушки, которые хозяин сдавал. В одной из них жил Наум, а еще в какой-то жила женщина с новорожденным ребенком, не то вдова, не то мать-одиночка. Про это написано в стихотворении «Как учитель сочинял стихи»:

Не то здесь волки-переярки,
не то немецкие овчарки,
поодичавшие с войны,
в полях плутали до весны.
Не то между плетней
поземки
с тягучим посвистом текли…
Ночами в маленьком поселке
учитель сочинял стихи.
Без передышки, без помарки
взгонял по лесенке слова.
Стенали волки-переярки.
Томилась за стеной вдова.

Горела вся, себя не помня,
а ночь длинней, чем бабий век,
а той зимою ровно в полночь
в поселке вырубили свет.
И тьма покрыла б все грехи…
И керосину было жалко…
Но и при тлении огарка
учитель сочинял стихи.

После работы в школе нужно было приготовить себе еду, проверить тетради, подготовиться к следующему дню и только после этого садиться за стихи. А свет вырубали каждый вечер…

Наум еще принимал экзамены, когда я приехал к нему в Дриссу, чтобы упаковать его библиотеку в ящики. Закончился трехгодичный срок его учительства, и он собирался возвращаться в Минск. Утром, перед уходом в школу, он каждый раз оставлял мне какие-то деньги, чтобы я купил на рынке творог (удивительно вкусный!) и бутылку дриссенской газировки (розовая, слегка подслащенная вода). А обедать мы ходили в чайную.

Зашли попрощаться с Наумом два молодых учителя — белорусского и английского языков. Погрузили ящики с книгами на подводу и отправились в путь. До станции было несколько километров. Телега поскрипывала колесами, увязающими в дорожном песке…

Возвратился Наум еще на ул. Завальную. Начал с того, что обошел все редакции газет и литературно-художественных журналов. Нигде не взяли на работу. Но были друзья, да и помог, как это часто бывает, случай.

Аркадий Александрович Кулешов, тогда еще не Народный поэт БССР, но уже лауреат двух Сталинских (Государственных) премий СССР, издавал очередной сборник стихов на русском языке. В этом сборнике предполагалось печатать известное школьникам стихотворение «Коммунисты», которое уже было переведено каким-то поэтом, позже оказавшимся «врагом народа». Для нового перевода друзья Наума посоветовали А. Кулешову дать эти стихи поэту Кислику. После А. Кулешов попросил познакомить его с поэтом. Они долго беседовали, и на прощанье Кулешов спросил у Наума, где он работает, и попросил телефон для связи. Узнал, что Наум ищет работу… И через пару дней Наума приняли в журнал «Полымя», где ранее ему было отказано в месте. С этого времени началось их тесное сотрудничество, переросшее в многолетнюю творческую дружбу.

В памяти сохранился такой эпизод, связанный с А. А. Кулешовым. Как-то Наум был с ним в Москве — то ли на совещании, то ли они приезжали в «Новый мир» к А. Т. Твардовскому. Остановились в тогда еще новой гостинице «Россия», но на разных этажах. Утром Аркадий Александрович позвонил Науму и пригласил его в буфет на завтрак. Когда они уже сидели за столиком, мимо них прошла женщина, с которой Кулешов поздоровался. «Это, — сказал он, — известная Роза Кулешова» (однофамилица А. А. и экстрасенс. — *В. К.*). Когда она шла обратно, Кулешов широким жестом пригласил ее к столу и сказал: «Роза — это поэт Наум Кислик из Белоруссии, он не верит в чудеса, пожалуйста, покажите нам что-нибудь из Вашего репертуара». Роза села к столу и попросила какой-нибудь лист с напечатанным текстом. Словно ожидая этого, А. А. Кулешов достает из внутреннего кармана пиджака вчетверо сложенный лист плотной бумаги, одна сторона которого была с текстом, а другая — чистая. Кулешов положил бумагу текстом к столешнице и разгладил лист. Роза возложила руки сверху и через короткое время сказала: «Страница поделена на две части, справа напечатано по-русски, а слева, я полагаю, на белорусском». Действительно, это был бланк, где сказано, что А. А. Кулешов имеет открытый счет в Госбанке СССР. За спиной у Розы уже стояли посетители буфета и с интересом смотрели на чудеса представления. Почувствовав внимание зрителей, Роза сбросила туфли, поставила

ноги так, что ступни смотрели назад, и предложила зрителям подносить к ступням металлические предметы. Таким образом она безошибочно отгадала ножи, вилки, ложки и даже определила достоинство монет. Затем, надев туфли, под аплодисменты зрителей, покинула буфет.

В скором времени в журнале «Юность» было опубликовано стихотворение «Эпизод с солью», и Наум получил от главного редактора Бориса Полевого письмо, что отныне Наум является их автором. Но больше в журнал он стихи не предлагал.

Приведу высказывание Григория Березкина из предисловия к одной из книжек Наума.

«Наум Кислик — такой же представитель поколения поэтов-фронтовиков, что и Александр Межиров, Сергей Орлов или Григорий Поженян. Под некоторыми стихами Кислика о памяти, потрясенной впечатлениями боя, мог бы подписаться любой из них. Например, под этим, о покойном комвзвода, который приходит в сны поэта и, тыча цигаркой в “чисто поле”, все еще ждет: “Сейчас пойдут танки…Танки, — слышишь, — танки!” Или под посвященными Василю Быкову строками, в которых то же чувство бессрочности военного опыта: враги “все не хотят отдать то кочку, то высотку… И ненависть опять берет меня за глотку”».

Напомню, эти стихи были сочувственно встречены А. Т. Твардовским, который в письме к А. Кулешову от 25 декабря 1969 года писал так: «Я дал согласие на перевод Кислику (речь шла о переводе поэмы “Далеко от океана”. — *Г. Б.*) — это, судя по одним стихам в “Юности” (Твардовский имел в виду “Эпизод с солью”. — *Г. Б.*) человек серьезный».

В этот же период Наум много переводит белорусских поэтов и прозаиков: Р. Бородулина, П. Бровку, Я. Брыля, А. Велюгина, А. Вертинского, С. Гаврусева, С. Дергая, А. Карпюка, Я. Коласа, В. Короткевича, А. Кулешова, Я. Купалу, И. Мележа, П. Панченко, А. Пысина, А. Русецкого, М. Стрельцова, М. Танка.

Помню, как Наум вышел из своей комнаты (в это время он переводил Р. Бородулина) и сказал: «Рыгор великий мастер! И переводить его трудно».

Если сказать, что жизнь Наума стала в Минске налаживаться, это будет некоторым преувеличением. В 60-е годы без серьезных оснований редактор увольняет Наума, проработавшего в журнале около семи лет. Суд восстановил его на работе, но он сразу же подал заявление на увольнение.

Как-то Наум собрался с духом и послал подборку стихов в «Новый мир» А. Т. Твардовскому. Он ничего не сказал даже мне. И даже когда пришел журнал с его стихами, сказал не сразу. Забавная история, которая произошла с одним из его стихотворений. В этой же книжке «Нового мира» была опубликована подборка стихов Б. А. Ахмадулиной. Наум открыл ее стихи и показал среди них свое стихотворение («…И, отстояв за упокой…»), которое редактор отдела поэзии по ошибке внесла в подборку стихов Ахмадулиной. Наум написал редактору. Получил извинения. Но история имела продолжение.

В 1977 году в Грузии решили издать сборник стихов Б. Ахмадулиной. Редактор-составитель сборника Г. Маргвелашвили обнаружил в «Новом мире» стихотворение Б. Ахмадулиной, которое ранее нигде не публиковалось, и включил его в сборник. Как-то, будучи в Москве, Наум сидел с К. Ваншенкиным в ресторане ЦДЛ, обедали и, естественно, выпивали. С этой же целью, но за другим столиком сидела Б. Ахмадулина. Когда она проходила мимо, К. Ваншенкин сказал: «Белла, отдай Кислику гонорар!» Все дружно посмеялись, а вскоре Наум получил увесистую бандероль от Ахмадулиной с книгой стихов «Сны о Грузии» (изд. «Мерана». Тбилиси, 1977). На первой странице было написано: «Дорогому Науму Зиновьевичу Кислику в глубоком смущении и с пылкой надеждой, что 142-я страница этой книжки не станет причиной вражды и печали, но, напротив, положит начало доброму знакомству». И дата: 16 мая 1978 г. А на 142-й странице: «Как видите, это стихотворение Ваше, а не мое, что с грустью и стыдом удостоверяю. Белла Ахмадулина».

Еще когда Наум работал в журнале «Неман», я услыхал от него о Григории Соломоновиче Березкине. Это потом я познакомлюсь с ним, и он часто станет приходить к нам, и я его услышу и поражусь колоссальному знанию его русской и мировой поэзии и литературы вообще. И уже совсем потом прочту замечательную статью Владимира Мехова «Березкин, каким его помню» («Мишпоха», № 18), где собраны не только самые значительные факты его биографии, но показано и то, чем он был для белорусской литературы, и приведены высказывания о нем заметнейших фигур белорусской литературы — Алеся Адамовича и Рыгора Бородулина.

Меня же в рассказе Наума о нем поразила биография этого человека, в чем-то схожая с биографиями очень и очень многих людей сталинской эпохи. Когда собирались друзья, Гриша, заходя еще только в прихожую, уже шумел: «Хлопцы! Водки мало!» Это была обычная шутка и никак не характеризовала их компанию, как «питную» (выражение В. Быкова).

Федя Ефимов был постоянным участником всех совместных мероприятий по обсуждению наболевших литературных и политических вопросов. У Наума есть стихи — посвящение, и в них такие строчки: «Живой и здоровый Гриша Березкин заходит в мой дом и приводит друзей — Вальку, Федю, Игоря, Сашу…»

Федор Архипович Ефимов родился в крестьянской семье в Воронежской области. Хотел связать свою жизнь с армией, и поэтому в его биографии было и суворовское училище, и пехотное, и курсы политсостава, но при этом заочно окончил Литинститут. После окончания службы в армии осел в Минске, где до 1967 года работал зав. отделом очерка в журнале «Неман». С 1968 года началась сложная полоса в его жизни, он был исключен из рядов КПСС за выступление против вторжения советских войск в Чехословакию. Федю перестали печатать — лишили куска хлеба. Семья осталась, без преувеличения, на голодном пайке. Федю все же печатали под псевдонимом. Кроме того, часть своих переводов Наум отдавал Феде.

Как сказал когда-то Наум:

Нас Бог
по-разному отметил,
и черт по-разному кружил,
и всяк по-своему в ответе
за то,
как он
на свете жил.
Не исключен и нагоняй —
подобный факт предвидеть надо.
А что положена награда,
пусть в это верит
негодяй.
Но мудрецы и простаки
равно
не ждут себе медали
ни за высокие печали,
ни за веселые грехи.

Можно только пожалеть, что Василь Быков поздно переехал в Минск. И хотя заочно они с Наумом познакомились сравнительно давно, но для дружбы нужно было частое общение. Валентин Тарас очень подробно рассказал, как случилось его первое знакомство с В. Быковым, в главе «Дарога да Васіля» в книге «На выспе ўспамінаў».

В. Тарас работал тогда в газете «Звязда», а Наум в отделе поэзии и прозы в газете «Літаратура і мастацтва». Узнав, что Тарас едет в Гродно, обрадовавшись, сказал: «Цудоўна! Абавязкова зайдзі ў “Гродзенскую праўду”, перадасі ад мяне прывітанне аднаму чалавеку».

І распавёў, што на мінулым тыдні ў «ЛіМ» паступіла па пошце апавяданне журналіста з «Гродзенскай праўды», нейкага Васіля Быкава — рэч выдатная! Якіх-небудзь сем старонак на машынцы, уражанне, нібы прачытаў аповесць, такі ёмісты змест… Ён, Навум, такога не сустракаў. Яшчэ ён сказаў, што напісаў аўтару ліст, паведаміў, што рыхтуе апавяданне да друку і будзе прапанаваць яго ў адзін з бліжэйшых нумароў «ЛіМа». Але я ўсё роўна абавязкова павінен зайсці ў «Гродзенскую праўду». «Пазнаёмішся, паглядзіш, што за ён. Мне здаецца, што свой, блізкі нам чалавек» («На выспе ўспамінаў». Беларускі кнігазбор. Мн., 2004).

Мне хорошо запомнилась первая встреча и знакомство с Быковым. Как-то мы вместе с Олегом Сурским, Валентином Тарасом и Наумом плыл по Неману от Березовки до Гродно. Путешествие само по себе было незабываемым — лето стояло необыкновенно теплое. Когда мы, наконец, приплыли в Гродно, Наум с Олегом отправились в город, а мы с Валентином остались в лагере на берегу. Вернувшись, Наум сказал: «Василь, оказывается, уехал, но я объяснил, где мы остановились». Я-то не знал, о ком идет речь. И понял только потом. На следующий день, когда тени от деревьев на берегу потянулись к воде, появился Василь Быков. Первое впечатление от Василя было, что он чем-то взволнован и озабочен.

Когда мы уже сидели там же на берегу за импровизированным столом, Василь, обычно молчаливый, в основном отвечал на вопросы, которые ему задавали все присутствующие. Уже тогда партийная цензура и стражи «социалистической собственности» начали травить молодого писателя, который в первых же произведениях заявил о своей позиции — позиции непричесанной правды.

Здесь же, на берегу, Василь Владимирович рассказал, что получает огромное количество ругательных писем от старых партизан и генералов, которые обвиняют его... С другой стороны, много писем в поддержку он получает, в частности, от служителей церкви, которые тоже угадали талант писателя и хотели бы обратить его в веру.

Так он просидел у нас на берегу весь вечер, и даже когда сам не говорил, озабоченно оглядывался на окружающие кусты, подозревая, что за ними может скрываться «двуногий жучок». Я говорю об этом, чтобы ясно стало, в какой атмосфере мужал талант писателя, постоянная затравленность и ощущение того, что за тобой следят, за каждым твоим шагом и вздохом. Однажды, когда В. Быков был у Наума, имел место такой эпизод, с этим связанный и подробно рассказанный В. Тарасом в его книге. Василь выглянул в окно и спросил у Наума, что это за белая «Волга» с антенной стоит против окон на другой стороне улицы. «Нас слухаюць», — сказал Василь…

В своей книге в главе «Дарога да Васіля» Валентин Тарас много говорит о Василе Быкове и Науме Кислике. И, естественно, останавливается на трагической для Наума теме, возникшей с перестройкой. «Пераскокваю праз дзесяцігоддзе з вялікім гакам — у тыя часы, калі не было той нашай “кіслікаўскай” кампаніі. Дакладней, той, якой яна праіснавала да перабудовы, да найноўшага этапу гісторыі нашай краіны, калі мы апынуліся перад выбарам: з кім мы? З новай Беларуссю, з адраджэнскім рухам, які з моманту свайго ўзнікнення напрыканцы 80-х атаясаміўся з постацямі Зянона Пазняка і Васіля Быкава, ці супраць іх? Для некаторых з нас выбар аказаўся балючым, драматычным, перад усім для Навума… Калі разваліўся Савецкі Саюз, Навум успрыняў гэта як страту Радзімы, пра што сказаў у адным з апошніх сваіх вершаў:

Земля и родина…
А если
вдруг — ни того и ни другого,
зачем ты приколдован к бездне,
к пустому воздуху прикован?
Смирись, что корни анемичны,

признай, что ветви сухоруки…
Но есть могилы, а не мифы,
и горе говорит по-русски.
На сломе времени, на склоне
судьбы
и поквитаться нечем,
и отмолчаться нечем,
кроме
текущей в жилах русской речи.

Я бы сказал, что он еще раньше понял, что фактически потерял друзей, что язык, который их объединял (он ведь много переводил произведений из белорусской поэзии и прозы для русской литературы), их и разъединил.

Друзья были единственной радостью в его одинокой жизни.

Закончилось второе тысячелетие с его кровопролитной войной и трагической историей создания, почти векового существования и распада первого в мире социалистического государства. Настало новое время, в котором Наум Кислик не видел себя, да и возраст был немалый. Наступило время, когда все можно купить — от полета в космос до куска государственной границы. Люди расстались с последними иллюзиями и идеалами последнего столетия. Все больше становится наемников и все меньше добровольцев.

И самая последняя цитата из А. А. Дракохруста. «29-го (декабря. — *В. К.*) похоронили Наума. “Госпиталя, госпиталя — обетованная Земля...” Это он написал после тяжелого ранения, когда был еще совсем молодым. Вот и умер в госпитале. Умер, как сам предсказал в стихах, “по истеченьи крови всей”. Стихи, к сожалению, сбываются. Кровь хлынула горлом.

Трагически одинокая жизнь. Был горд и раним и никого не пускал к себе в душу. Наверно, потому и довел себя до состояния, когда уже не только лечить, но и оперировать было невозможно. Его смерть для меня — как осколок в сердце.

Трудный, неуступчивый характер, мудрец, глубоко страдавший, по-видимому, от неполноты своей жизни. Яростный полемист, убежденный и не терпящий малейших возражений. Но прежде всего — поэт. Крупный талант. И в Москве не потерялся бы, о, нет!

Зря мы порой обижались на Наума. У него в последние годы была тяжелейшая депрессия, близкая, судя по всему, к депрессии Слуцкого. Печально, но мы, друзья, оказались бессильны в борьбе с нею. Когда вот так вплотную соприкасаешься со смертью близкого, почти родного человека, виднее тщета наших усилий, наша вседневная суета. Нас держит на плаву и заставляет что-то делать сила инерции. Пожалуй, одна она.

Наума проглотила яма крематория. Остался пепел. Может, душа жива? Кто знает?

…А на помощь в холодную полночь
только юность свою позовешь…

Это он написал очень давно. Не исключаю, что в реанимации позвал. Но было уже поздно.

И вот оно — сбывшееся пророчество:

…Лишь одна тебе будет отрада,
то, что сам ты по строчкам сложил,
будто жизнь свою прожил, как надо,
а теперь умираешь, как жил.

Я благодарен Богу, что он подарил мне такого брата и его друзей. Они научили меня многому.

Искусство суждения

Ольга НИКОЛЬСКАЯ

Ради людей…

Русский прозаик Евгений Шишкин, живущий и работающий в Москве, хорошо известен белорусскому читателю. Его произведения печатались в книге «Память сердца» (сборник произведений белорусских и русских писателей о войне, 2010 г.), в журнале «Нёман», а также неоднократно в журналах «Полымя» и «Белая Вежа» в переводах на белорусский язык. И каждая публикация этого писателя вызывает самые добрые отклики читателей. Они отмечают, что писатель умеет создавать захватывающие сюжеты, что его произведения отличаются глубоким психологизмом, правдивостью в отображении самых разных жизненных явлений.

Если говорить о сюжетах, то напомню: одни считают, что в литературе их 36, другие — семь, а кто-то и вовсе говорит об очень малом количестве. К примеру, их «всего четыре», утверждает аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. (Ссылаюсь на Борхеса потому, что его цитируют наиболее часто, когда речь заходит об этом, подчеркивая и следующее его высказывание: «…сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде».)

Если согласиться со сказанным, то следует заметить следующее: необычайно важно, как в этих «рамках» будет развиваться повествование, как будут действовать герои, какова степень таланта мастера, вынесшего на суд читателя свое творение…

Поэтому и неудивительно, вновь же говоря о количестве сюжетов, что когда читаешь новое произведение о широко известном событии, невольно возникают ассоциации с уже прочитанными книгами. Наверное, поэтому начало романа Евгения Шишкина «Бесова душа», неоднократно издававшегося в России, частично уже известного в русском и белорусском вариантах, вызвало у меня приятные воспоминания о «Тихом Доне» Михаила Шолохова. Жизнь деревни, красота русской природы, душевность людей того времени, того поколения.

Вчитаемся, вслушаемся, всмотримся в строки романа: «Ночь уже истекла. Недолга, колебима ранним светом майская ночь! Небо поднялось над землей, вобрав в свою глубину звездную россыпь. Лишь яркие одиночки еще держали точечную синь на светло-фиолетовом фоне. Соловей смолк, а иные птахи еще не пробудились, и тишина была первозданна, сбереженная будто со времен ненаселенного мира. Казалось, даже слышно, как оседает роса и трава под нею чуть шевелится… От леса, который уже начинал просвечивать и стряхивать мглу, тянуло прохладой…»

Так же хорошо было и на душе у главного героя. Его пьянило и дурманило чувство свободы. И хоть впереди ждала война, в этот момент осужденный на четыре года тюрьмы Федор Завьялов был на свободе. «Никто его не сторожит. Не слишком голодно ему и не страшно. И вон оно, утро-то, все такое свободное!» Как замечает автор: «Каждому — хоть на долю минуты высокое счастье!» Хотя, как нам кажется, вся жизнь Федора была пронизана и другим счастьем — счастьем любви

к Ольге. В самые трудные минуты в тюрьме и на войне именно воспоминания о ней давали силы, чтобы жить и продолжать борьбу, наполняли все вокруг смыслом.

Когда-то Федор, вятский парень, горячий, необузданный в своих чувствах и действиях, в порыве ревности пырнул ножом городского парня, обратившего внимание на его девушку Ольгу. Выжил тот парень, а Федору — тюрьма. Там он о войне и узнал, оттуда и пошел на нее, «добровольцем в штрафбат»… И пошла, понеслась по ее дорогам нелегкая жизнь штрафника, солдата на передовой, когда смерть на каждом шагу, когда в мгновения между смертью и жизнью вспоминается Ольга, родные, былое, и представляется еще не прожитое, которого, может быть, никогда и не будет…

Вот, собственно, и все, в «рамках» чего и развивается пронзительная история любви и жизни Федора, этакой «бесовой души»…

И тут, в разговоре о чувствах, хочется заметить следующее: при прочтении романа у меня возникла еще одна ассоциация, уже с произведением нашего великого белорусского писателя Ивана Мележа. Вспомнились «Людзі на балоце». А именно история любви Василя и Ганны. Образ Василя Дятла, как и образ главного героя романа «Бесова душа» Федора Завьялова, неоднозначный. Оба героя не всегда ведут себя «правильно» в соответствии с ожиданиями окружающих. Но поступают всегда так, как велят им их совесть и душа. Ганна Чернушка Ивана Мележа и Ольга из романа Евгения Шишкина тоже во многом похожи. Обе «первые красавицы на деревне». Они олицетворяют собой идеал славянской женщины: гордость и решительность, нежность и заботливость, но самое главное — умение любить и жертвовать всем ради своей любви.

Ни Ганне с Василем, ни Ольге с Федором вместе быть не было суждено. Сила внешних обстоятельств не дает молодым людям стать счастливыми, создать свои семьи. И хоть силы эти разные: в первом случае против союза молодых людей выступают родители Ганны, во втором влюбленные расстаются из-за собственного глупого и эгоистичного поведения, в результате которого сами на себя и навлекают много бед. Мысль прослеживается одна: настоящая любовь — не только большое счастье, но и немалое испытание. Быть вместе получается не всегда, и тут важно, смогут ли люди простить друг другу ошибки и обиды, чтобы через всю жизнь пронести это великое чувство.

Главную интригу — что же случилось с Федором во время взятия Берлина — писатель раскрывает не сразу, заставляя нас узнавать страшную правду постепенно. Понятно, что Федор жив. Но почему же тогда он не возвращается домой, война ведь окончена и дома его ждут мать и Ольга?

«…когда за всех родных и знакомых уже подняты или поминальные, или заздравные чаши, когда раменские парни, которые остались на службе, присылали с этой службы свои фотокарточки, — теперь с маетой неведения проходил каждый Ольгин день. В безвестности Федора было что-то странное, закрытое для простого понимания. Да что ж с ним такое? Где он? Ни на одно письмо не откликнулся. Как в воду канул».

Читатель понимает: с главным героем что-то произошло. Ольга пишет письмо в часть «по старому фронтовому адресу Федора». Когда его читает врач, понимаем: скорее всего, в результате взрыва Федор лишился рук.

«Жду, когда ты меня обнимешь, — вслух прочитал он (врач Малышев. — *О. Н.*), сделал обильную затяжку и тихо ответил на последнюю строчку написанного: — Нет, милая девушка, он тебя уже не обнимет. Нечем ему тебя обнять».

Врач решает прочитать письмо Завьялову и идет в ту самую «последнюю» палату, один из пациентов которой, наполовину обгоревший майор Куликов, недавно застрелился во дворе больницы. Страшную правду читатель узнает, когда Малышев оказывается возле постели больного.

«В медсанбате Федору отпилили обе ноги выше колен. На том же операционном столе, чуть позже, по локоть откромсали левую, безнадежно раздробленную пулеметной очередью руку. Правую, последнюю конечность, тоже поврежденную пулей, ампутировал хирург Малышев уже здесь. В эвакогоспитале: по ней распространялась гангрена…. Четвертовали, — подумал Малышев…»

Эта правда оглушает, вызывает бурю эмоций. Как так? За что? Зачем так круто, так беспощадно, так жестоко поступает писатель со своим героем? Осталась ли для него хоть капля надежды на счастье?

Привыкнуть к новому телу невозможно, и главный герой мучается, не в силах смириться со своим новым положением.

«Федор безмолвно стонал, скрипел зубами, зажмуривал глаза. Хотел назад, в сон, в забытье. Пускай сон будет самым зверским, пускай будет кровь, страдание, пускай фронт, тюрьма, — пускай что угодно, но где он — не калека, не лежачий урод, а человек, способный бежать, стрелять, драться, валить лес, рыть могилы, дойти до уборной и сделать естественное без чужой помощи».

Когда читаешь о душевном состоянии героя, о его переживаниях, чувствах, невыносимых муках, невольно возникает мысль о самом писателе. Как он, слава Богу, никогда не испытывавший того, что пришлось пережить его герою, может так тонко и точно чувствовать все переживания искалеченного Федора Завьялова, так глубоко проникать к нему в душу... Может, потому, что для писателя нет чужой судьбы. Вот и рассказывает об этом так правдиво, что и читатель будто наяву видит все, что происходило и происходит с главным персонажем романа «Бесова душа».

Несомненно, создавая свое произведение, писатель внутри себя глубоко проживает судьбы людей, о которых пишет. Он мысленно роднится с ними, все время думает о них, понимает самые мельчайшие движения их души, иначе невозможно было бы все это изложить на бумаге так, чтобы это по-настоящему взволновало читателя. И это тоже требует таланта.

А пережить писателю в своем воображении вместе со своим героем пришлось немало: несчастную любовь, тюремное заключение, войну, инвалидность. Но самое главное, что удалось Евгению Шишкину, — это проникнуть в самые потаенные уголки «бесовой души» Федора Завьялова, понять ее такой, какова она есть. «Федька, бесова душа!» — так называл Завьялова его дед Андрей. Именно он ближе всего был главному герою по духу. С отцом Федор не мог найти общий язык, они слишком разные. Федор был похож именно на «хромого разбойника» — так некоторые называли деда Андрея в Раменском: такой же горячий и вспыльчивый.

Пожалуй, это и есть та главная тайна, которую пытается раскрыть на протяжении романа писатель, — тайна русской души, мятущейся, рвущейся наружу, умеющей любить до смерти и ненавидеть до безумия, прощать и самому каяться — умеющей верить сразу и в Бога, и в «красный флаг».

В парадоксальном названии романа заключена вся его суть: какая у беса может быть душа? А у человека может быть именно такая. Ведь он — венец Божьего творения, оказался самым сложным и неоднозначным существом на земле, сотканным из противоречий.

«Мне с чужим-то проще бывает столковаться, чем с самим собой, — задумчиво сказал Федор… — На меня и раньше такое находило. Все, бывало, кажется, чего-то самого главного в жизни недопойму. Будто сам себе не хозяин… Какой я, к лешему, коммунист?.. Душой-то к вере тянуться бы, да и в ней у меня истинного понятия нету…»

Так он говорит своему боевому товарищу, после того как ему, бесстрашному воину, бывшему заключенному, предложили вступить в партию.

Там же в уста его фронтового товарища Захара автор вкладывает толкование необходимости веры в Бога:

«С Божьей верой, Федька, человеку о смерти думать легче. И умирать не так боязно. До последней минуты все какая-то надежа на Бога есть. Иль спасет, иль после смерти к себе на небо примет…»

На протяжении всего романа образ главного героя Федора Завьялова неоднозначный. Его нельзя отнести ни к категории положительных персонажей, но и отрицательным не назовешь. Порой он очень добр и нежен, иногда груб и горяч, временами жесток и беспощаден. И, пожалуй, эта беспощадность и неоправданная жестокость ярче всего проявились по отношению к музыканту Симухину, с которым Федор лежал в одной палате в госпитале после осколочного ранения. С первой минуты знакомства к музыканту у Федора возникла неприязнь. «Внешне замаскированная и беспричинная, между Федором и Симухиным все больше завязывалась игра. Федор включился в нападение от ничегонеделания и госпитальной скуки…» Завьялов дает Симухину умереть, хотя мог помочь ему, просто позвав на помощь врачей. Однако, видя, что соседу ночью стало плохо, он намеренно уходит из палаты в уборную и возвращается только когда тот уже не дышит. Именно в этот момент, когда главный герой проявляет необъяснимую жестокость, присущую малым неразумным детям, ради забавы разрезающим пополам червячка, в глазах читателя он перестает быть положительным персонажем. И становится человеком с той самой загадочной «бесовой душой», в которой одновременно уживаются и светлое начало, и темное.

В конце своей жизни Федор Завьялов все же приходит к Богу, хотя, опять-таки, не всем своим существом, потому что в словах его сослуживца Захара есть истина: «С Божьей верой, Федька, человеку о смерти думать легче». Федор не может принять и «простить» высшие силы за свою изувеченность, за ту несправедливость, которая творится на земле: за смерть сестры Таньки, своих друзей-однополчан, за ужасы войны. Он не принимает и не доверяет Божьей власти «здесь, в земном существовании». Но принимает «неземного бога…» без колебаний… Там, только там, когда истечет его здешний срок и он сойдет с грешной земли на иное пребывание, у него будет радость встреч, не сбывшихся тут… Там Федор встретит своих умерших родных и друзей, а главное, там он не будет инвалидом и в конце концов, когда придет время, увидится и с Ольгой.

Именно эта последняя вера в загробное существование остается для Федора единственной надеждой на счастье. Она и любовь к Ольге и толкают его на роковой шаг.

«Ведь не будь Ольги, не существуй ее вообще, он бы в Раменское даже таким калекой стремился. К матери. Мать есть мать. Перед ней не стыдно. Любым примет. Во всякое время укроет… Да ведь Ольгу-то никуда не денешь! И душой от нее нигде не схоронишься! Лучше б и не было у него никогда этой Ольги! Не знать бы никакой любви!»

Для себя Федор видит единственный выход — поскорее отправиться к «неземному богу», к умершим отцу, сестре, друзьям.

«Он опять глядел на себя поверх одеяла с диким изумлением, ошарашенно. Там, где должны быть руки, — коротко, и там, где ноги, — коротко. Федор сжимался всем пообсеченным телом и неслышно плакал».

Главный герой романа совершает свой последний поступок. И то, с каким трудом, болью и душевной тяжестью он дается ему, еще раз доказывает, что Федор Завьялов сильный человек. Даже когда физические возможности до предела ограничены, он все равно остается хозяином своей жизни и сам делает выбор, хотя, согласно религии, нет страшнее греха, чем самоубийство. Но как доктор Малышев не смог применить это слово к застрелившемуся майору Куликову, так и к Федору Завьялову оно не применимо. Просто не может человеческая душа принять все это и перенести, какой бы сильной она ни была, есть предел и ее воз-

можностям. И думается, там, куда так стремился в последние минуты своей жизни Федор Завьялов, об этом знают и не осудят его.

«Это только кажется, что когда смерть прежде срока — это нежелание жить. На самом деле, когда так погибают, это огромное желание жить. Хорошо жить!» Так говорит в своей поминальной речи доктор Малышев.

Решив уйти из жизни, Федор предопределяет и судьбу Ольги. Пройдет много лет после войны, и вот как отзовется эхо их любви, блуждающее все это время в старом доме с белой сиренью под окном, которую так любил Федор.

«Недавно в том доме умерла старуха Ольга. Многие считали, что она вдовая солдатка. Замужем она, однако, никогда не была…»

Помимо судеб Ольги и Федора Евгений Шишкин рассказывает и о судьбах других людей: родителей и сестры своего героя, его односельчан, тех, с кем ему пришлось коротать тюремный срок, друзей-однополчан. Почти каждый из них понес потери. И всему виной стала война.

Роман потрясает своей эмоциональностью и глубиной. В каждом слове чувствуется любовь, с которой автор относится к своей стране, к ее истории, людям.

У Евгения Шишкина свой взгляд на различные исторические события. Он категорически не согласен с теми современными, с позволения сказать, историками, которые пытаются «переосмыслить» события прошлого и представить их в новом свете. Некоторые из них, по прошествии времени, сидя в уютных кабинетах и глядя в окно на чистые улицы своих мирных городов, рассуждают об ошибках, совершенных Сталиным и Жуковым во время Второй мировой войны. Например, нужно ли было штурмовать Берлин?..

Тут, соглашаясь с позицией историка Шумилова, Евгений Шишкин пишет: «Зверя нельзя одолеть по человеческим правилам. Весь философствующий ум мгновенно пропадает, когда на хозяина этого ума набрасывается волк и цапает его за ляжку… Железная воля Сталина и талант Жукова были востребованы самой сутью войны. Сперва укротить зверя любой ценой, а потом удавить его окончательно. Странно было бы укрощать зверя не по звериным, кровавым правилам, а добивать в белых перчатках…»

Писатель уверен: легко судить других постфактум, гораздо сложнее действовать в экстремальной ситуации, быстро реагировать на нее, принимать решения и брать на себя ответственность за их последствия. Это прерогатива людей сильных и волевых, к ним относился и Федор Завьялов. Однако сам главный герой себя таким не считал и в конце дал такую оценку своей прожитой жизни:

«Оглянешься назад-то, и выходит, вся жизнь моя как-то посередке оказалась. Меж любовью и ревностью кидало. Меж красным флагом и церковным крестом. Теперь между жизнью и смертью остался. На середке-то всегда шторм сильнее. Вот и тяжко мне нынче…»

В романе немало различных философских рассуждений. Писателя волнует все, что связано с его народом.

«Новые поколения набирали силу, убыстряли ход жизни, и порой в суете и алчности затевали новые распри и совершали подлости, не памятуя о прошлом и забывая самый больной русский вопрос: «Зачем все это?»

В наши дни этот вопрос, к сожалению, опять актуален как никогда и является не только русским, а, пожалуй, и общечеловеческим.

Радует, что и сегодня такие важные и сложные вопросы общечеловеческого значения глубоко волнуют современных русских писателей, один из которых — Евгений Шишкин. А это значит, что настоящая великая русская литература жива. И существует она, как и всякая такая литература, не ради денег и обогащения отдельных личностей, а ради и для людей.

С точки зрения рецензента

Главный талант Елены Тулушевой



В Минске в Издательстве Змитера Коласа вышла книга прозы молодой российской писательницы Елены Тулушевой «Виною выжившего», в которую вошло 13 рассказов. Издание осуществлено при содействии Союза писателей Беларуси, небольшое предисловие к нему написал Лауреат Государственной премии Республики Беларусь Георгий Марчук, в конце книги — аналитическая статья о творчестве писательницы заместителя главного редактора журнала «Наш современник» (Москва) Александра Казинцева. Замечу, в России, где творчество Елены Тулушевой уже широко известно по многочисленным публикациям в журналах, где она имеет награды различных писательских форумов и является стипендиатом Министерства культуры РФ, на момент выхода книги в Минске отдельного сборника, в котором были бы собраны ее произведения, еще не было.

Наверное, кому-нибудь из читателей это покажется странным: как так, почему сначала мы…

Ничего странного здесь нет: как замечает Александр Казинцев, за два года рассказы Елены Тулушевой широко печатались в ведущих литературных журналах России, Беларуси, Казахстана, Германии и Эстонии. А также вышли в переводах на китайский, арабский, болгарский и сербский языки.

И еще: столь пристальное внимание нашего творческого союза к молодой российской писательнице Елене Тулушевой не что иное, как продолжение прекрасной творческой традиции, существовавшей в не такие уже и далекие так называемые доперестроечные времена, когда литераторы России окружали заботой и вниманием особо одаренных наших прозаиков и поэтов, а белорусские ведущие мастера слова — российских.

Оставим то, что касается политики, политикам, вкратце скажу о взаимоотношениях писателей. Так вот, тот же журнал «Наш современник», который, к слову, и открыл Елену Тулушеву как писательницу, напечатав ее первые рассказы, на протяжении многих лет знакомит российского читателя с белорусской литературой. В нем публикуются произведения прозы, поэзии, критика и публицистика белорусских писателей, как маститых, так и просто известных, и не в последнюю очередь молодых, начинающих: на сегодня всего уже около 200 авторов.

Вот вам и связь! И выход первой книги Елены Тулушевой, этой талантливой молодой российской писательницы, у нас надо приветствовать еще и как факт укрепления творческих

связей между русской и белорусской литературами.

О чем пишет Елена? О жизни. О той жизни, которая окружает нас, но которой иногда мы, занятые своими личными заботами, не замечаем или просто не знаем о ней, пребывая в благополучии.

И когда я об этом говорю коллегам, рассказывая о Елене Тулушевой, о той стороне ее жизни, которая должна быть известна читателю как жизнь писательницы (в сугубо личное мы не вторгаемся), знакомя с ее творчеством тех, кто еще не читал ее рассказы, встречаю удивление: а что, есть такое, о чем мы не знаем?..

Конечно же есть. И эти вещи для каждого из нас очень разные. Да, слышали, не обращали особого внимания: иной, чуждый нам мир…

Но в этот, для многих из нас «иной» мир, в некоторую его частичку, вошла Елена Тулушева. Вошла и как уже довольно опытный врач-психолог, и как просто неравнодушный человек, и как талантливый писатель. Ей, прозаику, и это должны знать читатели, еще нет и тридцати — почему-то считается, что в этом возрасте наступает настоящая зрелость и что в тридцать настоящий прозаик только начинается. Так вот, в том мире она увидела сразу с этих трех точек зрения — врача, просто человека и писателя — неоднозначную, иной раз очень и очень сложную, а то и трагическую жизнь самых разных людей. Увидела, поняла и осмыслила их стремления и помыслы, страданиями и порывы одних вернуться к привычной для нас жизни, а также нежелание других возвращаться, когда пройдена грань, называемая точкой невозврата.

И не просто увидела, поняла, осмыслила — как писатель показала, что такое есть, показала с пронизывающей сердце болью…

Многое, о чем не хочется думать, когда тебе хорошо, оказывается, есть в окружающей тебя действительности. И пока хоть что из этого «много» не коснется тебя, пусть не лично тебя, но кого-то хоть чем-то близкого тебе, — нет твоего личного осмысления и действия нет хоть как помочь, посочувствовать попавшему в беду.

У Елены Тулушевой профессия — помогать: врач. Она работает старшим медицинским психологом Московского реабилитационного центра для подростков, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Имеет два высших образования. Несмотря на столь молодые годы, успела поработать по специальности в США и Франции, изучала опыт врача-психиатра тех стран.

Написал «профессия — помогать» и подумал, что есть еще и человеческое призвание, что ли, помогать. Хорошо, когда это просто человеческое качество, помогать, есть у врача. У Елены оно есть. И как пишет в своей статье о ней Александр Казинцев, «о своих юных подопечных она знает все. Вплоть до номера роддома и обстоятельств появления на свет. Пытается понять, помогает, защищает». И далее замечает: «Писательство предоставляет для этого дополнительные возможности».

Не буду уточнять, какие. Отмечу следующее: очень важно для каждого из нас, если мы люди, где бы мы ни жили, читая Тулушеву, в частности и о подростках, «страдающих алкогольной и наркотической зависимостью», обратить внимание на то, что и у нас такое есть. И это — боль… Их самих, родителей, всех нас, общества…

Елена для своих произведений берет, казалось бы, какую-нибудь самую неприметную, на первый взгляд, ситуацию из чужих нам жизней. Мальчик, обделенный родительской лаской, которого «официальные» тети и дяди могут отдать, как котенка «в хорошие руки», — рассказ так и называется: «В хорошие руки». Бывшая учительница, пожилая Мария Васильевна из одноименного произведения, переживающая, что люди утрачивают доброту; мамы, родная и с «чужим» лицом, желающие настоящего материнского тепла парнишке; дети, подростки, юноши и девушки, родители, дедушки и бабушки… Наконец, просто их знакомые, соседи, незнакомые люди — все они существуют каждый в своем мире отдельно и в их, нашем общем мире.

Удивляет такое разнообразие персонажей молодой писательницы, которых она держит в поле своего внимания и как литератор, и как врач, и как обычный человек.

Удивляет ее пристальный интерес к каждому из них не просто как к литера-

турному герою, но как к реально существующему человеку. А все, о ком она пишет, воспринимаются как совершенно реальные люди. И не зря Александр Казинцев, как старший коллега Елены Тулушевой, известный российский писатель, мастер современной публицистики, исключительно основанной на документалистике, замечает, что она «работает в жанре нон-фикшн».

Что это такое? Для читателей, не вдающихся в тонкости литературы — в принципе это им и не надо, — все же в данном случае стоит пояснить, что же все-таки это за жанр. Нон-фикш — когда автор описывает полностью реальную историю.

Итак, истории в рассказах Елены Тулушевой реальные. Впрочем, если бы эти «реальные» истории нам рассказывала просто врач, просто человек, а не такая талантливая писательница, как Елена Тулушева, то мы знали бы их как «просто истории». Мы не видели бы, например, лицо мальчика, которого отдают «в хорошие руки», не почувствовали бы, что у него на душе, не видели как реальных тех людей, кто решает его судьбу. И боли его не почувствовали, и сочувствие было бы совсем иное: жалко парнишку, да ничего…

А здесь иное: родным становится он. Впрочем, как и многие, о ком повествует Елена Тулушева. И поэтому мы должны уже говорить о ее писательском слове, о том, как она строит предложение, как создает образ, как рисует картину, как ведет повествование. Словом, какая она писательница.

А вы сами почитайте Еленины рассказы. И в книге, и в наших литературно-художественных журналах, в «Нашем современнике». Увидите, что большинство из них начинается с диалога между действующими лицами. Как пьесы. Правда, в начале автор, как требует пьеса, не знакомит нас с действующими лицами. Не дает он им характеристики, не обозначает действия, картины. Вообще в ее произведениях, на первый взгляд, нет ничего общего с пьесами. Может, на первый взгляд? Как сказать…

Елена Тулушева удивительно хорошо, как писатель, владеет диалогом. Часто он очень скупой, фразы кажутся усеченными, но вчитываясь и вслушиваясь в них, видишь действующих лиц ее рассказов, понимаешь характеры, чувствуешь ту внутреннюю драматургию, которая все время держит тебя в напряжении как читателя. Несомненно, настанет черед сценической жизни ее произведений, будут они экранизированы — лично я не сомневаюсь в этом.

Александр Казинцев замечает, что, в частности, «в рассказах Тулушевой привлекает динамизм, легкость письма, живые диалоги, точный язык. Словом — литературное мастерство». С ним нельзя не согласится: у Елены Тулушевой литературное мастерство не столько приобретенное, хотя, несомненно, она его приобретает, совершенствует, оно — проявление таланта. Скажем так, с первых ее рассказов, которые мне посчастливилось читать на русском языке в российских изданиях и переводить для наших на белорусский, было видно: она — писатель от Бога. Это тогда еще 25—26-летняя девушка.

Читаешь, все видишь, во все вникаешь, обо всем задумываешься… Некоторые из тех рассказов вошли в книгу «Виною выжившего», в которой и написанные годом-другим спустя. Все вместе они создают довольно ясное представление о писательском творчестве Елены Тулушевой. И если определять, что главное в ее произведениях, то я полностью согласился бы с известной российской писательницей Марией Свердловой в ее отклике на публикацию рассказов Елены Тулушевой в «Нашем современнике». В частности, с этим: «…главный талант Елены — ее неравнодушие к герою. Умение воспринять чужую боль как свою. Чужой грех, чужую муку взять на себя так полно, как это редко кто может. Взять без капли осуждения, которое заставляет нас брать за волосы наших героев и перевоспитывать».

Ну что ж, будем читать русскую писательницу Елену Тулушеву и мы в Беларуси, на русском и белорусском языках, вникать в суть ее произведений, не делая скидку на молодость автора. Настоящий талант всегда молод, всегда полон сил, всегда развивается, привлекает, зовет за собой.

Владимир САЛАМАХА

С точки зрения рецензента

Вечный поиск любви

Мозаика человеческой жизни, такой многогранной и непредсказуемой в своей парадоксальности, вбирающей в себя сложную гамму противоречивых взаимоотношений, переплетение судеб, неоднозначных ситуаций и поступков, направленных на индивидуальный поиск счастья и любви, избавления от одиночества и обретения душевной гармонии, — вот главные составляющие художественного мира десятой книги серии «Вера. Надзея. Любоў» с интригующим названием «Ева ў пошуках Адама» *(Ева ў пошуках Адама: аповесці, апавяданні / уклад. Віктар Шніп. — Мінск, 2016. — 351 с. — Вера. Надзея. Любоў).*



Героиня одноименного произведения Лилии Бондаревич-Черненко, интеллигентная женщина средних лет, талантливая поэтесса, интеллектуалка, не лишенная иронии и самоиронии, проницательности и тонкого ума, предпринимает попытку переосмысления своего достаточно богатого на взаимоотношения с мужчинами жизненного опыта, всегда, к ее великому сожалению, печального. Пережив болезненный разрыв с мужем, которого любила всей душой, с искренностью и доверчивостью, возвышенностью первой любви, она не утратила веру в новую встречу, предначертанную судьбой, понимая, что «прага спрадвечнай, першапачатковай цэласнасці жыве ў кожным з нас. Жаданне знайсці сваю палавінку бянтэжыць і не дае спакою. Вялікая, невычэрпная, нястрымная патрэба кахаць і быць каханай… Таму і блукаем па светах (рэальных і не) у вечных пошуках… Іншая рэч, што мы так часта памыляемся! Колькі непатрэбных, не тваіх палавінак іншы раз круціцца поруч, лепіцца, ды не прылепліваецца…».

Но каждый новый избранник, носитель определенных мировоззренческих установок, стиля жизни, субъективности и в меру выраженного эгоизма, уходил из жизненного пространства героини, уже не так болезненно затрагивая ее душу. Философски взирая на мир и человека в системе ценностей этого мира, осознавая противоречивые и сложные межличностные отношения двух противоположностей — мужчины

и женщины, их неумолимое притяжение друг к другу, не исключающее, ко всему прочему, столь же частое отталкивание, героиня определяет для себя общеизвестную констатацию, выкристаллизованную из наследия лучших умов научного знания: «Філасофія сутнасці жаночага і мужчынскага пачаткаў — быць разам. І, мабыць, толькі дзякуючы гэтаму можна выбрацца з лабірынта бясколернасці і манатоннасці жыцця, і менавіта любоў пазбавіць, уратуе ад сіроцтва і бяздомнасці сэрца. І пры гэтым моцнае каханне часцей за ўсё застаецца непадзеленым і прыводзіць да балючага канца. Але ж ні адно з іх, па вялікаму рахунку, не безнадзейнае, яно заўсёды дабро і шчасце…»

Следует признать, что героиня излишне не драматизирует ситуацию временного одиночества, в которой бывала неоднократно, не испытывает чувства ненависти или презрения. Осознание онтологической значимости мужчины как необходимой и важной составляющей женской судьбы, его личностных качеств приводит к утверждению известной, но такой часто забываемой многими экзистенциально мудрой истины: «Мужчын таксама трэба паважаць, а не толькі любіць. Яны таксама жывыя і больш непрадбачлівыя, загадкавыя і чуйныя істоты, чым нам здаецца. І ці патрэбна ім наша ахвярнасць? Мужчына ж не храм і не алтар. Лепей даць яму мажлівасць жыць і дыхаць. І самой жыць поруч, калі ён хоча гэтага. І каб абдымкі твае не душылі яго. І не прэтэндаваць на галоўную ролю ў яго жыцці… І не трэба рабіць з адносін карыду. Мабыць, у кожнага павінна быць свая запаведная тэрыторыя і яшчэ адна — агульная. Калі ты пераносіш усе свае жыццёвые інтарэсы ў яго (бо па-іншаму проста не можаш), ён пачынае палохацца. Ён пачынае стамляцца ад гэтага. Для жанчыны ў каханні няма межаў, для яго — ёсць».

Невзирая на череду неудач в любви, парадоксальным образом, с неумолимым постоянством возникающим в жизненном мире героини, она не утрачивает надежду на встречу с истинной любовью, живет ожиданием ее прихода, всегда такого неожиданного, волнительного, нарушающего привычный ход вещей, изменяющего траекторию жизнеустроения, ибо «што ты можаш зрабіць? Адмовіцца ад комплексу Евы? Ад самой сябе? А можа, наноў усвядоміць першаісны змест Евінай душы, якая жыве ў кожнай: жанчына павінна быць побач з мужчынам. І ў гэтым сэнс яе жыцця. Ад гэтага нараджаюцца дзеці. Цвітуць каштаны. Мароз малюе на шкле беласнежныя камеі. Гучыць музыка. Мадонна з дзіцём смяецца з карціны. Вымытая бялізна пахне лавандай. Знікае пыл на мэблі. Суседзі не лаюцца. Няма ні тугі, ні самоты. Ні журботных думак, ні веры ў дрэнныя прыкметы».

Актуализация проблемы межличностного одиночества находит свое воплощение в прозе Людмилы Кебич, где авторское сознание отражает кризис семейных отношений в триаде «муж — жена — сын». Представлена достаточно типичная ситуация невозможности построения нормальных гармоничных взаимоотношений между отцом-эгоистом, снимающим с себя моральную ответственность за судьбы членов семьи, и чутким, проницательным сыном, длящаяся на протяжении восемнадцати лет с момента рождения ребенка. Супруга, практикующий врач-психотерапевт, на протяжении столь длительного времени безрезультатно пытается исправить существующее положение, вызванное бездушием, моральной глухотой мужа-адвоката, которому абсолютно безразличны повседневные заботы сына, его внутренний мир, его болезни.

Более того, бесконечный эгоцентризм мужа приводит к деструкции в линии поведения с женой, духовная связь с которой ослабевает, плавно переходя в границы «одиночества вдвоем». Такая модель поведения, доминантой которого является моральное отчуждение, отсутствие принятия Другого в качестве самодостаточной личности, приводит к нежеланию понимать и принимать интересы Другого. Самосознание мужа, направленное на утверждение *Я-значимости*, отражаю-

щей жизнеустроение только для себя, диссонирует с самосознанием жены, направленным на утверждение *Ты-значимости*, отражающей жизнеустроение, в первую очередь, для других, а потом для себя. Такой диссонанс является помехой для выстраивания модели *Мы-значимости*, направленной на гармоничное функционирование семьи в целом. Однако супруга не желает разрывать семейные узы, ей одинаково дороги и близки и муж, и сын, демонстрируя классический вариант женской жертвенности, суть которой проницательно определил Э. Фромм: «Отдавать себя — единственный способ быть собой». Поэтому, погрустив немного о своей женской судьбе, не впадая в депрессию и отчаяние, она твердо намерена ожидать позитивных перемен («Эпідэмія грыпу»): «І ці то ад таго, што яе не зачапіла сур'ёзна, а ўсяго толькі крышачку драпанула татальная сусветная эпідэмія разбурэння маральнага грунту, спрадвечных ісцін, сапраўдных каштоўнасцей, жыццёвых арыенціраў; ці ад толькі што ўсталяванай у яе падсвядомасці ўпэўненасці ў тым, што ў іх сям'і абавязкова ўсё наладзіцца, бо яна будзе і далей прыкладаць для гэтага ўсе свае намаганні, аддасць любым мужу і сыну ўсю сваю любоў, прыступіла да штовечаровых спраў з незвычайным натхненнем».

Иной модус одиночества находит свое художественное воплощение в прозе Дмитрия Петровича, в которой представлены моменты безграничной душевной боли и отчаяния, болезненно переживаемые мужчинами. Вполне типичные жизненные ситуации, когда, после достаточно продолжительной совместной жизни, жены уходят от порядочных и тонко чувствующих мужей к другим, более молодым и, может быть, более успешным. А покинутые мужья на протяжении длительного времени тяжело переосмысливают так называемую «точку невозврата», окунаясь в ретроспекцию ностальгических воспоминаний.

Р. Роллан проницательно отметил важную значимость любви в жизни каждого человека: «Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам веру в другого человека, но и в том, что мы обретаем веру в себя». Но с уходом объекта любви исчезает не только вера в него, но и вера в себя, что, в свою очередь, приводит к внутренней душевной драме, психологической катастрофе («Замкнёнае кола»): «Адразу пасля расстання гэты боль, здавалася, аплёў-ахапіў душу і цела — не хапала паветра, было цяжка дыхаць. Сэрца, быццам механічны гадзіннік, запавольвала свой ход. Нейкі цяжар давіў на галаву, шыю, грудзі. Хацелася легчы, заснуць і больш ніколі не прачынацца… Але трэба было жыць, працаваць… Цяпер як быццам пачыналася другое жыццё, і неабходна было нанова вучыцца рухацца, гаварыць, думаць. Часам боль прытупляўся, але душа ўсё роўна патрабавала збавення ад бессэнсоўнасці, бяссілля, бяссоннай нудоты ад сузірання рэчаіснасці — жыццё ж навокал віруе!.. А Трыгубін усяго гэтага не заўважаў: адзінота нібыта паглынула яго, прымусіўшы жыць па яе законах…»

Общеизвестно, что бытие человека изначально одиноко, и в системе семейных (или любовных) взаимоотношений, пусть даже самых счастливых и гармоничных, всегда существует неслиянность двух одиночеств, о которой говорили западные экзистенциалисты. Н. Бердяев также вполне убедительно подтверждает это, полагая, что «есть закон духовной непроницаемости, перед которым оказывается бессильным самое глубокое человеческое чувство… есть черта, отделяющая нас от мира, которую не перейдет никто… Мы всегда «одинокие» духовно, мы никогда не сливаемся с другими до полного, конечного единства души и тела, такое единство недостижимо в плоскости естественного бытия». А когда любимый человек выпадает из этой неслиянности одиночеств, собственное болезненное ощущение оставленности и ненужности удваивается, зачастую подталкивая человека к суицидальным мыслям и действиям. Герои прозы Д. Петровича мучительно переживают подобные состояния, при этом нужно

учитывать, что мужское сознание и самолюбие всегда нацелены на сокрытие своих болезненных внутренних чувств, дабы в глазах окружающих не казаться слабым и беспомощным, выражающееся в миробоязни, в жизнебоязни, обнаруживая тонко чувствующие души и сердца («Дождж»): «…Нешта зноў разбалеліся суставы. Дзякуй табе, Божа, за гэты боль. Бо ён, фізічны боль, не такі цяжкі, як маральны. Дзякуючы яму я хоць на нейкі час пазбаўляюся ад гэтых душэўных пакут… Бязлітасны дождж. Ад яго нельга схавацца нават у вадзе. Дзе б ты ні знаходзіўся, маланка здрады заўсёды можа ўдарыць цябе, і тады нават фізічны боль становіцца тваім збавеннем…»

Безусловно, одиночество многомерно, имеет различные модификации и причинную обусловленность, но ситуация экзистенциального одиночества, художественно смоделированная в прозе Тамары Бунто, поражает своей безысходностью и жестоким трагизмом. Добропорядочный семьянин, успешный врач, заведя банальную в своей жизненной распространенности интрижку с коллегой по работе, впоследствии слишком дорого заплатил за небольшую ложь и, казалось бы, ничего не значащую в его жизни супружескую измену. По стечению жизненных обстоятельств, приняв на себя обязательства заботы о дочери его бывшей любовницы, он навлек на собственную семью большие беды. Повзрослевшая девушка, с ярко выраженной психологической деструктивностью и моральным нигилизмом, испытывая эгоистические чувства зависти и неутоленной мести, становится виновницей трагической гибели жены и любимой дочери героя произведения. Мучительное состояние убитого горем отца и мужа, обрекшего себя на одиночество и социальное отчуждение, в своей прежней, достаточно счастливой и успешной, жизни допустившего непростительные ошибки (он еще умудрился стать и любовником повзрослевшей дочери его бывшей подруги), в конечном итоге вполне закономерно завершается трагическим финалом.

Отрадно отметить факт художественной реализации темы мужской преданности в представленной книге. И если в рассказе Анатолия Зэкова «Белая ружа для Надзеі» молодой человек не отрекается от любимой девушки, получившей серьезную травму позвоночника, вполне осознавая степень физических повреждений, он принимает на себя ответственность за их совместную судьбу, то в рассказе Сергея Давидовича «Ды пачуе глухі» ситуация еще более усложненная. Парень полюбил девушку, которая, как часто бывает, полюбила другого и вышла за него замуж, родила детей, но однажды оказалась травмированной молнией во время грозы и осталась глухой, к тому же и ненужной собственному мужу. Драматическая ситуация не испугала преданного влюбленного, именно он приходит к ней в этот трудный период и молча взглядом выражает все, что бережно хранило его изболевшееся сердце. «Молчание в любви важнее слов… в молчании есть свое красноречие, которое доходит до сердца лучше, чем любые слова», — утверждал Б. Паскаль, и он бесконечно прав.

Книга «Ева ў пошуках Адама» содержит разноплановые художественные тексты, отражающие стремление авторского сознания воссоздать многообразие мира и человека, сложность и противоречивость межличностных отношений, заключенных в границах нравственных координат, всегда определяющих неоднозначность их смыслового наполнения.

Инесса МОРОЗОВА

С точки зрения рецензента

Светлой песней строка льется

Живет в Могилеве и плодотворно трудится на литературной ниве самобытный русскоязычный поэт, который, подобно известному белорусскому поэту Алесю Письменкову, строки своих стихов сначала «думает» и носит в голове, а потом уже, выверив их сердцем и отшлифовав в уме, переносит на лист бумаги. Это Михаил Клапоцкий, крестьянский сын из деревеньки Заозерье, что на земле Белыничской. Он несколько последних лет регулярно печатает свои произведения в журналах, хрестоматиях, коллективных сборниках России и Беларуси. За последние четыре года увидели свет также три его оригинальные книги поэзии: «Крылья» (Изд-во А. Н. Вараксина, Минск, 2013), «Душой весенней растекусь» (изд-во «Спутник», Москва, 2015) и «Герани» (изд-во «Союз писателей», Новокузнецк, 2016). Два первых сборника получили положительную оценку литературной критики. А о третьем, «Герани», в котором «светлой песней строки льются», хочу поведать всем читателям, которые любят русскую словесность.

В своем творчестве Михаил Клапоцкий идет вослед за талантливым могилевским поэтом Иваном Пехтеревым и славит край Могилевский и землю Поднепровья. «Я много мыслей добрых // С чувством нежным их в одно сплетал: // В любовь к земле родной, земле прекрасной», — признается автор сборника «Герани». На одном дыхании читаешь его стихи «Родная земля», «Сырое небо в тусклом полусвете…» и многие другие. Поэт звонким словом славит природу родного края:

Как свищет в роще соловей,
Как лунный свет пьют камыши,
Как воздух-мед течет с полей…
Все — жизнь, все — радость для души.

В новом сборнике заметно громче, чем в предыдущих, звучат гражданские мотивы. Так, например, в стихотворениях «Слышь, человек», «О земле», «Там захватили корабль…», «Ах, не ехать нам в каретах…» и других автор размышляет о нашем очень непростом времени, о том — куда и зачем мы бежим:

Резче давим на педали,
Души сжались в пасти тьмы.
Мы на грани, но едва ли
Прямо скажем: «Черти мы?»

С болью поэт воспринимает реальность развязывания темными силами Третьей мировой войны. Не прошел наш автор и мимо угроз, которые люди сами создали и продолжают создавать планете Земля. Он говорит, что Земле обидно за разгул бездушия на воде и на суше. Интерес у читателя вызовут и философские стихи, такие как «Люди те же травы,…», «Я шел один во тьме…», «О вечном звенит трава», в которых поэт поднимает острые вопросы бытия.

Есть у Михаила Клапоцкого и любовная лирика. Говорят, что о любви сказано много, и даже все. Ан нет! Почитайте его стихи «Ты сказала мне «нет»..», «Я готов жить тебя только ради…», «Я осыплю тебя стихами…», «Эти милые глаза…», и др. Вы убедитесь, что автор нашел и свежие слова, и образы для своей возлюбленной.

В основном у Михаила Клапоцкого короткие, но емкие произведения — на одну страницу и меньше. Много четырех- и восьмистрочных стихов. Особенно хороши его стихи о природе. Такие, например, как «Успокоился, спит в скирдах ветер…», «Детство мое — мотылек на ладони…», «Ветер резкой волной…», «Герани», «Весенней ночью плачут звезды», и др. Здесь даже в заглавных строках есть образ, а то и картина. В стихотворении «Береза» поэт признается белоствольной красавице, что у него потребность «петь словами и слезами капать». Он перекликается с тонким белорусским лириком Змитроком Морозовым, у которого: «Хто вершы піша — не паэт, // Паэт, хто сэрцам іх спявае». Наш автор своим сердцем поет их нежно и звонко.

Виктор АРТЕМЬЕВ

Из почты журнала

Вдохновения луч



Свободно время вдаль течет —
Куда-то дни уносятся.
Летят года мои вперед —
Душа в былое просится.

Я иду мимо опустевших домов по заросшей, притихшей улице родной деревеньки с милым названием Сластёны, что в Дрибинском районе Могилевской области. Если за последней хатой преодолеть овраг и подняться на взгорок к высоким грустным березам, можно увидеть небольшое кладбище. Там две дорогие мне могилы — отца и матери. И «хочется в глухой, застывшей, вечной тишине на миг вернуться в детство мне».

Давным-давно недалеко от этих мест стоял крепкий отцовский хутор. Отец, Семен Григорьевич Кудлачев, потомственный крестьянин, славился как мастер на все руки: хлебороб и садовод, плотник и бондарь, сапожник и шаповал. Отвоевав на Первой мировой войне, поколесил по России в поисках счастья и вернулся на землю своих предков. Его рассказы обо всем увиденном и пережитом стали для меня первым учебником жизни.

В 1928 году он женился на Екатерине Артамоновне Лыловой, тихой, работящей, тоже из крестьянской семьи. К этому времени отец овдовел и имел четырех детей. После новой женитьбы на свет появились еще трое, в том числе и я. О маме моей надо сказать особое слово: она умела делить на каждого поровну и ласку, и кусок хлеба.

В тридцатые годы все ближние хутора насильно свели в одну деревню. И отец, пережив это, засучил рукава и возвел новый дом, посадил сад, где разводил разные сорта яблок. Место, где росли саженцы, он нежно называл «Моя школка», как будто они были его дети. Крупные сладкие яблоки хорошо покупали горожане. Отец щедро делился с односельчанами и саженцами, и яблоками. Нашу семью даже прозвали «дядевы», так как дети соседей говорили: «Пойду к дяде за яблоками».

В большой дружной семье я появился на свет 15 января 1936 года седьмым ребенком. «Был мороз, метель мела,

по земле зима брела. Поглядеть пришли меня и соседи, и родня». Пришли, чтобы порадоваться главному чуду на земле — рождению новой жизни — и весело погулять в честь этого события, тем более, что наступил Новый год по старому календарю.

И побежали мои детские годы по тропинкам родных Сластён.

Я здесь мальчишкой босоногим
По лужам весело скакал
И на лужайке у дороги
В лапту с ребятами играл.
Меня манили поле, речка,
Цветущий луг, поющий лес.
Я мог часами на крылечке
Стоять, смотреть на синь небес.

22 июня 1941 года моя сестра Настя пришла домой из клуба и тревожно сказала:

— Только что по радио сообщили: «Война!»

Страшный смысл этого слова я начал понимать, когда «у каждой калитки увидел страданье, заплаканных женщин, картины прощанья», когда ушли на фронт мои братья: Тихон (погиб в 42-м, защищая Ленинград) и Григорий (дошел до Берлина и вернулся домой в 45-м весь израненный).

Солнечные краски мирной жизни сменились черными днями фашистской оккупации. В нашей деревне по распоряжению немецких властей обосновались полицаи. Особенно лютовал свой же, местный, Демьян по прозвищу «Акула». В одном из боев с партизанами ему пулей разворотило челюсть. Немцы вылечили его, но с тех пор у него выпирали зубы, и это придавало ему еще большее сходство с хищником.

Чем ближе в 1943 году подходили наши войска, освобождая родную землю, тем больше зверели немцы и полицаи.

Осенью немцы собрали жителей Сластён и погнали на запад. Нашей семье удалось поселиться в глухой деревне недалеко от Днепра.

Голод и холод, болезни и постоянная готовность во время облав бежать в ближний лес, болота — прятаться, чтобы спастись, выжить. Правда этого времени вошла в мою книгу для детей «Война глазами ребенка».

Вместо хлеба и детских игрушек
Были слезы и выстрелы пушек,
Были крики и стоны, и смерть на бегу…
Время страшное, черное я забыть не могу.

Вернулись мы домой в июне 1944-го. Страшные картины открылись нам по дороге. Несколько месяцев эту землю война перепахивала взрывами, жгла пожарами, начиняла минами, уродовала колючей проволокой. Вокруг — искореженная военная техника, обугленные остатки хат, разбухшие трупы… Мы подошли к родному дому. Он страдальчески смотрел на нас глазницами пустых окон. Двери вырваны, крыша пробита снарядом.

Деревню поднимали всем миром. Осенью я пошел в первый класс. Читать научился раньше у старших братьев и сестер. Первой учительнице Богдановой Надежде Степановне я, став поэтом, посвящал стихи, посылал ей свои книги, переписывался с ней до последних ее дней.

Шел май 1945-го. Солнечным утром мы с ребятами пошли собирать оставшуюся после боев проволоку для ограждения колхозной фермы. Шли, болтали, смеялись. И вдруг раздался страшный грохот. Недалеко от тропинки взорвалась мина, таившаяся в земле. Осколки задели каждого из нас. Мне они врезались в глаза. Я тогда еще не знал, что солнце погаснет для меня навсегда.

Два года мне пытались восстановить зрение сначала в больнице Дрибина, затем в Минске, где меня лечила профессор, знаменитый офтальмолог Бирич Татьяна Васильевна. Я терпеливо выносил боль, но приговор был суров: «Медицина пока бессильна». Татьяна Васильевна ласково и грустно сказала: «Придется, дружок, ехать в специальную школу, где учат читать и писать по системе Брайля. Такая школа есть в Гродно — одна в Беларуси».

И я попрощался со Сластёнами. С тех пор, как покинул родное гнездо,

стараюсь бывать там при любой возможности. Мне особенно дорога моя книга «Признание в любви», изданная Дрибинским райисполкомом в Горках. Эта книга вместила в себя мою нежность и преданность родному краю, его истории, героическим людям — моим землякам, родным и близким.

Сластёны милые мои
На Дрибинщине древней,
Хоть я от вас давно вдали,
Душою я с деревней.

В 1947 году отец привез меня в Гродненскую школу-интернат для слепых детей. Наша школа помещалась тогда в небольшом двухэтажном здании, где первый этаж был полуподвалом, вросшим в землю. Но после деревенских хат это здание показалось мне сказочным дворцом. И еда после голодной деревни была очень вкусной. Правда, хлеба давали малые порции, и его всегда не хватало.

Тяга к привычной домашней жизни постепенно отступала. Надо было приспосабливаться к новой обстановке. На моем пути оказались замечательные педагоги. Среди них — Варвара Николаевна Москалевич. Очень ласковая, добрая, она понимала и чувствовала незрячих детей. Она часто садилась за пианино или брала в руки гитару. Долгими зимними вечерами ее чудесный мягкий голос звучал в маленьком актовом зале, и я, совершенно зачарованный, мог слушать ее песни бесконечно.

Когда мы набивали шишки на лбу или получали другие мелкие травмы, Варвара Николаевна умела и рану обработать не хуже медсестры, а главное, найти такие душевные и теплые слова, что боль и обиды быстро затихали.

Учительница водила нас в старый городской парк, что был рядом со школой, и так вдохновенно рассказывала о деревьях, цветах! А потом говорила:

— Витя, иди сюда, потрогай этот цветок… Обними это дерево, погладь его…

Или вдруг останавливалась и шепотом обращалась к нам:

— Послушайте, ребята, как красиво поют птицы! Кто это?

Мы дружно кричали:

— Воробьи!

— Нет, дети, это синички. Слушайте и запоминайте. А может, кто-то умеет подражать птицам?

И мы начинали свистеть наперебой. Все смеялись, и она смеялась с нами легко, заразительно, переливчато, и казалась мне большой красивой птицей.

Позже, через много лет, когда я стал преподавать музыку и пение в родном интернате, Варвара Николаевна приходила ко мне на уроки и говорила: «Очень красиво у тебя дети поют!» А мои ученики, маршировали в такт песне: «Советские солдаты — молодцы, советские солдаты — удальцы, шапка со звездою, винтовка на ремне. Вот таким солдатом хотелось быть и мне!»

На всю жизнь остался в моей памяти и Яков Исаакович Будовский. Это был учитель от Бога, ставший впоследствии кандидатом педагогических наук, доцентом Гродненского университета имени Я. Купалы. Благодаря ему мы все влюбились в физику и дальние туристические походы. По вечерам, после длительных пеших переходов, нас объединяли тепло костра и задушевные разговоры. Мы слушали рассказы учителя о незрячих людях, мужественно преодолевших темноту и ставших высокими личностями. И мы, уже сами познавшие трудности жизни без зрения, учились понимать, что все, что выпало на нашу долю, НУЖНО И МОЖНО преодолеть.

Потом, когда я стал писателем, в моей домашней библиотеке почетное место заняли книги о незрячих людях: профессоре-дефектологе Б. Коваленко, Заслуженном артисте РСФСР, баянисте И. Паницком, сборники стихов Э. Асадова, Г. Шутенко и другие.

Мир мы познавали прежде всего на слух. Слушая игру на баяне моих старших друзей по интернату, я сам начал подбирать мелодии. Скоро меня приняли в детскую музыкальную школу. И я просто не мыслил дня,

чтобы не взять в руки инструмент. Всегда был среди пионерских, а потом комсомольских активистов, много читал книг по Брайлю и впитывал художественное слово. Но главным смыслом моей жизни стала музыка. Именно она всколыхнула в душе ритм, гармонию, лирическое состояние, что и подготовило основу для будущих моих стихов.

В августе 1954 года я подал заявление в Гродненское музыкально-педагогическое училище и приложил свидетельство об окончании музыкальной школы, где стояли только высокие оценки. В училище на экзамене вдохновенно сыграл отработанные классические произведения, но в списках принятых себя не обнаружил. Я пошел к директору. Павел Максимович Фещенко каким-то вкрадчивым, бесцветным голосом сослался на решение комиссии о том, что незрячим не место в таком учебном заведении. Сначала я растерялся, но взял себя в руки и твердо заявил: «Я хочу учиться музыке и буду учиться!»

Помог мне горком комсомола. Советское «телефонное право» иногда спасало людей. Я был принят.

Учился вдохновенно. Часто выступал на концертах. По республиканскому радио не раз звучала в моем исполнении на баяне фантазия на темы песен о Москве. Словом, «в баян, как в девчонку, влюбился, я видел судьбу свою в нем». Через четыре года я вернулся в родную школу-интернат для детей с нарушениями зрения учителем музыки. Мой педагогический стаж 52 года. Горжусь: более двадцати моих учеников стали профессиональными музыкантами. Живут в моей памяти образы детства, когда я еще видел этот мир, и образы моих любимых учеников. И может быть, поэтому сердце мое заговорило стихами преимущественно для детей.

Первые свои поэтические пробы я принес в Гродненскую районную газету «Сельская новь» (теперь «Перспектива»). На долгие годы газета и литературное объединение при ней, которое возглавлял поэт и краевед А. Цыхун, стали моим литературным университетом.

В областной газете «Гродненская правда» я встретился с Василем Быковым. Он был тогда литконсультантом. Его теплая поддержка и появление моих стихов в этой газете вдохновляли на новые строчки.

Скоро мои стихи и прозу для детей стали печатать российские и белорусские журналы и газеты. Ширился круг друзей по литературному творчеству. Первый мой «критик» — поэт Юрка Голуб. Сдержанно-добродушный, с легким юморком, он своими отзывами в печати о моем творчестве «выруливал» меня к новым образам. Добрыми словами правила мой творческий поиск Данута Бичель, давшая мне потом рекомендацию в Союз писателей.

Как-то мы с женой отдыхали в санатории в Несвиже, где я встретился с Павлом Кузьмичом Пронузо. Он пригласил нас в гости. Деревянный дом грелся теплом солнечных лучей. Пахло сиренью и домашней выпечкой. Его голос, негромкий, с легкой хрипотцой, помог мне преодолеть робость перед известным поэтом. Прочитав мои стихи, он восклицал: «А вот эти просятся на родную мову! Возьму-ка я их и переведу». Тут нас окликнула его жена Татьяна Михайловна. За столом она тактично, боясь ранить, выпытала у меня, как я потерял зрение. «Ох, а мы с Павлом на фронтовых дорогах сколько горя хлебнули!» — откликнулась Татьяна Михайловна на мой короткий рассказ.

Они проводили нас до самого санатория. Пожав мне руку, Павел Кузьмич сказал на прощанье: «Пора книгу делать, Виктор Семенович!» Словно благословил.

В 1981 году в издательстве «Юнацтва» вышла в свет первая моя книга для детей «Я расту» тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров. Я целовал обложку книги, едва сдерживая слезы радости… А с Павлом Кузьмичом мы потом постоянно переписывались, перезванивались. Его письма храню как драгоценную реликвию.

В разные годы мои книги редактировали А. Деружинский, А. Вольский, В. Каризна, Н. Чернявский, С. Молчан, Л. Заболоцкая, И. Фоменкова. Их украшали великолепные иллюстрации Н. Сустовой, С. Волкова, О. Аракчеевой. Это те люди, которые в моей судьбе, порой не только писательской, сыграли большую роль. Называя их имена, я верую, что Мир держится на Доброте и Милосердии.

В 1991 году меня приняли в Союз писателей СССР и БССР. Членский билет подписали Е. Евтушенко и В. Зуенок. Жизнь мою ярко осветили новые лучи вдохновения. При этом обострились и ответственность за каждую новую строку, и более жесткая требовательность к себе.

С распадом Советского Союза появились новые проблемы.

Помню: в Минске, в Доме литераторов, на одном из расширенных заседаний Союза писателей стали раздаваться все более настойчивые призывы писать только на белорусском языке. Я с тревогой обратился к сидевшему рядом со мной Артуру Вольскому: «Что же мне теперь делать? Я люблю родную мову, но перестроиться с русского языка мне вряд ли удастся». И услышал его убежденный ответ: «Пиши, как писал. Если кому понравится, переведут». И как продолжение его слов со сцены прозвучал голос Н. Чергинца: «Я родился в Минске. С детства мыслю и говорю на русском языке. Считаю, что каждый имеет право на свой выбор».

Прошло время. Мои стихи в белорусском звучании П. Пронузо, Н. Чернявского, Г. Раика изданы в 2008 году отдельной книгой «Сонца ранак падарыла».

Как интересно иногда складывается судьба авторского произведения!

В 1998 году в журнале «Дошкольное воспитание» (№5) появилась песня российского композитора Геннадия Чебакова из города Кургана на мои стихи «Солнечные зайчики». Я узнал через редакцию его адрес. Написал письмо с благодарностью и удивлением, что стихи родились в Гродно, а музыка так далеко, в Зауралье. Вскоре пришел ответ: «Мелодии песен, — писал композитор, — я всегда вижу в словах авторов. В «Солнечных зайчиках» заложена мелодия Вашего состояния». Итогом нашей дружбы стало рождение более шестидесяти песен. К сожалению, Геннадий Чебаков рано ушел из жизни.

Светом душевной теплоты в разные годы согревали меня люди, имена которых знают все: Римма Казакова, Николай Круговых, Алесь Карлюкевич, Владимр Липский, Людмила Кебич, Эдуард Зарицкий, Борис и Галина Вайханские.

Древний красавец Гродно в моей судьбе стал второй родиной. Его историю я изучал не только по книгам, радиопередачам. Я вдыхал сосновый настой на неманском берегу, бродил по старинным улицам города, поднимался на Замковую гору, молился в Коложской церкви... Именно здесь рождались строки:

Нет в городе этого места дороже,
Чем наша старинная церковь Коложа.
Сюда идут люди побыть, помолиться,
Святыне минувших веков поклониться.
И я пред Коложей стою и волнуюсь,
Великим творением предков любуюсь.

В 2003 году Гродненский горисполком издал мою книгу «Нарисую город Гродно» к 850-летию города. Иллюстрации к ней сделали давние мои друзья — учащиеся Гродненской художественной школы, которую возглавляет И. Грицкевич. Эту замечательную идею — увидеть стихи поэта и родной город глазами детей — продолжили в 2016 году в новой моей книге «Здравствуй, Гродно».

Есть у меня, по шутливому определению Юрки Голуба, «трехтомный самиздат». Это объемные книги отзывов после многочисленных встреч с самыми разными читательскими аудиториями. Как пример приведу только одну запись, сделанную в детской библиотеке — филиале Гродненской областной библиотеки имени Е. Карского: «Ваши произведения согревают, радуют, приглашают в мир детства.

Спасибо за Ваше мужество и оптимизм».

Во время моих выступлений я слышу дыхание детей в тишине зала, когда читаю стихи о войне, о моей судьбе. Радуюсь вместе с ними, когда они заразительно смеются, слушая веселые стихи. А когда заканчивается встреча, дети, еще час назад настороженно встречавшие необычного человека, бегут ко мне, окружают и стараются положить ладошки на плечи, руки… Так на фотографиях и выходят: веселые, задорные, с растопыренными пальчиками, прикоснувшимися к поэту.

Сегодня мои стихи и рассказы вошли в двадцать четыре авторские книги, вышедшие в разных издательствах. Стихи и рассказы включены более чем в сорок коллективных сборников, ряд учебников и методических пособий. По моим стихам составляются сценарии праздников, проводятся семинары для воспитателей и учителей. В Гродненском Гуманитарном колледже — филиале Гродненского университета имени Янки Купалы — проходит ряд мероприятий по моему творчеству. Библиотеке колледжа присвоено мое имя.

Нет большей радости для писателя, когда его творчество востребовано. И я, как и многие мои товарищи по перу, горжусь своими достижениями и наградами. Только что прошел третий съезд Союза писателей Беларуси, который поставил перед нами новые задачи. И я с новым вдохновением буду трудиться, чтобы дать жизнь новым книгам.

Война поступила
Жестоко со мной:
Глаза опалила
Взрывною волной.
С тех пор я не вижу
Ни солнца, ни туч,
Но в сердце горит
Вдохновения луч.
Он путь озаряет мне
Жизненный мой,
И я не сбиваюсь
С дороги крутой.
Иду неустанно,
Не тлею, горю —
Стихи и рассказы
Я детям дарю.

Виктор КУДЛАЧЕВ



ЖДАН-ПУШКИН Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

ЛУЧИЦКИЙ Михаил Александрович. Родился в 1972 г. в Минске. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Печатался в республиканских периодических изданиях. Живет в Минске.

МИХАЛЬЧУК Наталья Александровна. Родилась в 1979 г. в Могилеве. Окончила Могилевский государственный университет им. А. Кулешова. Автор поэтических сборников «Коралловый ветер» и «Нежность». Руководитель литературного объединения «Натхненне». Живет в Могилеве.

ТКАЧЕВ Василий Юрьевич. Родился в 1948 г. в д. Гута Рогачевского района Гомельской области. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища СА и ВМФ. Прозаик, драматург, публицист, критик. Автор многих книг. Живет в Гомеле.

ЯНЬ Гэлин. Родилась в Шанхае. Окончила Колумбийский колледж (Чикаго) по специальности «художественная литература» со степенью магистра искусств. Автор более 20 книг, изданных в Китае, Тайване, Гонконге, США, Великобритании и других странах и переведенных на шестнадцать языков. Обладатель более 30 литературных и кинонаград. По многим ее произведениям сняты кино- и телефильмы, поставлены радиоспектакли. Живет в Берлине (Германия).

